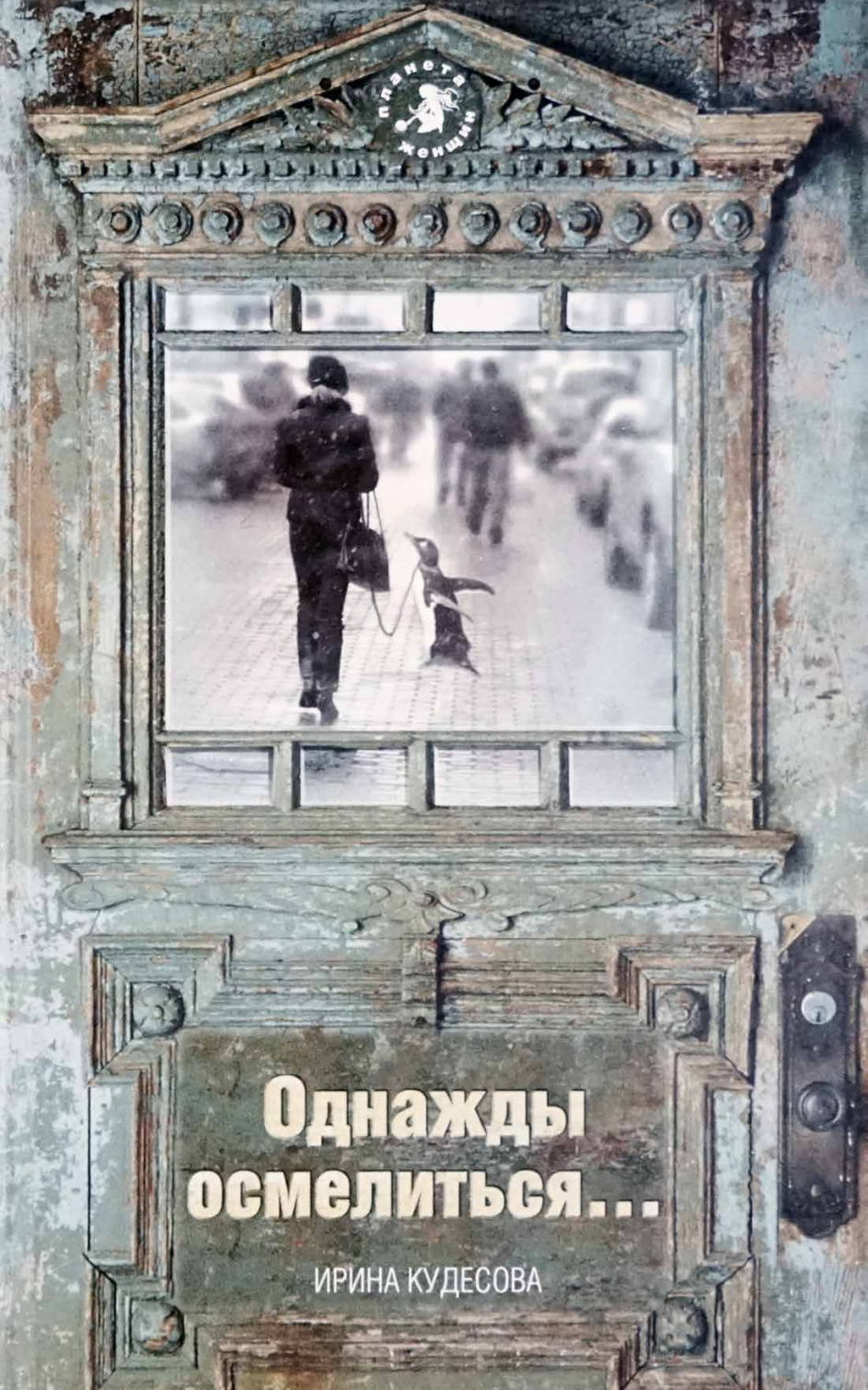

Однажды осмелиться...
ИРИНА КУДЕСОВА


планета
женщин

планета женщин

Однажды осмелиться...



ИРИНА КУДЕСОВА

Москва
Эксмо
2008

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
К 88

Оформление серии *А. Марычева*

Кудесова И.
К 88 Однажды осмелиться...: Роман / Ирина Кудесова. — М.: Эксмо, 2008. — 320 с. — (Планета женщин).

ISBN 978-5-699-26324-0

Основа мироздания — пара. ОН и ОНА. Именно поэтому мы все стремимся найти свою «вторую половинку». Однако как понять, что она — именно твоя, только для тебя и предназначена? Кто-то, связав свою судьбу с судьбой другого, лишь через некоторое время начинает понимать, что их союз — ошибка... Как часто мы промахиваемся с выбором. И наше заблуждение оказывается фатальным для нас самих и наших близких. Но как быть тому, кому довелось избежать роковых ошибок... потому что он никогда не отважился на поиск? И что делать тем, у кого судьба вообще ни с кем не «связывается»? Вообще...

Ответы на все эти вопросы — в увлекательном любовно-психологическом романе Ирины Кудесовой.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-26324-0

© ООО «Издательство «Эксмо», 2008

´ Автор выражает благодарность
Борису Рыскину и Алексею Мишину
за бесценную информацию о жизни полярников.

Часть первая
КЭТРИН

1

«Молли распахнула дверь и замерла на пороге. Перед ней стоял высокий брюнет в безупречном костюме. Волосы его были зачесаны назад и переливались на солнце. «Это он, — подумала Молли. — Я ждала его всю жизнь».

— У вас сдаются комнаты? — обратился незнакомец к Молли, и на лице его мелькнула усмешка. Он заметил волнение Молли.

— Да... — пролепетала Молли, чувствуя, как по щекам растекается яркий румянец.

— Можно посмотреть?

Мать строго-настрого запретила Молли оставаться одной в комнате с мужчинами, приходящими смотреть комнаты. Молли всегда звала с собой младшего брата Шона, он был мускулистым юношей и мог постоять за сестру.

— Заходите, — сказала незнакомцу Молли, и голос у нее на мгновение дрогнул. — Подождите, пожалуйста, внизу. Я сейчас вернусь».

— Что вы ищете на моем столе?

Кэтрин стояла в дверях: изо рта у нее, как у драконихи, вырвался дымок: «Что вы ищете?..» Курить уходила.

Оленька вздрогнула.

— Вы меня напугали. Я карандаш искала. И... зачиталась.

Кэтрин прошла к своему столу, села, спрятала рукопись в папку.

— Это... так. Сочиняю в свободное время. Чушь, конечно, но денежки капают. А что, вам понравилось?

Оленька замялась.

— Ну... живенько так.

— А по существу?

— По существу... Ну вот, к примеру, у вас через строчку имя героини повторяется.

— Да?

Кэтрин вытащила рукопись из папки и надела огромные свои очки в толстой оправе (Оленька каждый раз думала — сейчас как перевесят они, и ткнется уважаемый сочинитель дамских романов прямо в собственное творение).

— Да, и еще слово «комната» — два раза в одном предложении.

— Один, два, три, четыре, мм, мм, мм, восемь. Восемь раз «Молли». А строчек...

Кэтрин мычала, считала строчки. Оленька смотрела на нее и думала — натуральная старая дева. Вот повезло же — весь день с такой чучелой нос к носу сидеть. Хорошо хоть в наставницы не напрашивается. Даже наоборот — уважает! — бросилась строчки подсчитывать. Теперь через раз исправит «Молли» на «она» и выйдет еще хуже.

— Двенадцать.

Оленька ничего не ответила. Да что тут ответишь. Кэтрин сняла очки, сунула их в пузатый футляр и решительно клацнула им.

— Уээл... я пошла. Вы еще поработаете?

Оленька кивнула. Как только Кэтрин ухнула входной дверью, Оленька схватилась за телефонную трубку.

2

Володик обещал заехать через час. В общественном транспорте Оленьку мутило, но это было единственным, что беспокоило на девятой неделе беременности. Муж работал недалеко от издательства, где Оленька несла нелегкую службу корректора.

Завозил и увозил. Собственно, иначе не пошла бы она сюда вкалывать за гроши. На днях первую зарплату дали: вычли все, что могли. На прошлой работе платили раза в три больше, да что вспоминать. Выпроводили, вежливенько так — как только узнали, что дите наклевывается. Обставили — не подкопаешься.

Издательство находилось на первом этаже многоподъездной «сталинки» и имело персональный вход с крыльцом. Сперва следовало миновать высокие железные ворота, ведшие во двор, — тяжелые, черные; затем — пройти через двор наискосок. Желтая табличка в форме раскрытой книги гласила выдавленными буквами: «Издательство «Глобус», 9.00—18.00, пон.—пят.». Это для оптовиков.

На «Глобус» Володик наткнулся случайно. Решили прогуляться с товарищем в обеденный перерыв: потягивая пивко, погреться на несердитом солнышке бабьего лета. Как только заприметили ворота, свернули с тротуара.

— Володь, в таких дворах старушенции на лавках сидят, как птицы у Хичкока. Сейчас под обстрел попадем.

— Да ты посмотри, какая красотища!

Красотища — это три дикие яблони, уже скинувшие свои недоношенные плоды. И плоды эти — мелкие-зелененькие, недалеко от худосочных матерей упавшие, — покрывали землю: толпились, теснили друг друга — яблочный детский сад на прогулке. Никто не трогал их, и это показалось странным.

Володик наклонился, поднял парочку.

— Вот и закусь.

«Закусь» свела обоим челюсти кислой хваткой.

Обследовали дворик, ни одной бабки не обнаружив (плюс), но и ни единой скамейки тоже (минус). Посреди двора жались друг к другу детская горка и качели. На качелях примостился голубь, удобно вцепив коготки в трещину на рассохшейся доске.

— Кыш! — изгнал Володик птицу. С качелей вход в издательство просматривался как нельзя лучше. — А что это там за табличка такая...

Оленьку взяли сразу же, за глаза. Кому охота работать за копейки.

А была ли охота у господина директора оплачивать отпуск по беременности, Володик выяснять не стал. Зачем нервировать начальствие раньше времени.

3

Помещение Оленьке не понравилось. Вход, коридоришко, разветвляющийся на аппендиксы, как суковатая палка. (Клеть, где кукуют два переводчика и корректор, — в конце, направо.) Типичная бывшая коммуналка. Стены выкрашены салатовой краской — Оленьке до подбородка; выше — девственная побелка, проводишь пальцем, и на подушечке — облако.

Оленька терпеть не могла высокие потолки. От них каморка (три стола лицом друг к другу, три стула, три лампы, тумбочка с чайником) казалась неуютной, холодной. Столы — старые, деревянные, с заедающими ящичками по правую руку (один обязательно перекошен). Днем все выглядит неопрятно, обветшало; смеркается — темнота скрашивает углы, драпирует потолок, и на островке света от настольной лампы оживает канцелярский мирок (разноцветные ручки, пузатый ластик, многодетное семейство тщедушных скрепок) — так куда веселее.

Третья появлялась редко и надолго никогда не оставалась. Так, забежит, пошуршит бумагами в заедающих ящичках и — прочь. Правильно: чего переводчику высиживать в офисе?

А вот вторая, грымза, высиживала. Оленька не решалась спросить, чего ж эта Кэтрин (надо же, придумала себе кличку в духе своих романчиков) каждый день является сюда, как на работу. Сидела бы дома и ваяла, ведь нет же. И благо бы подружки у нее тут были. Да кто с такой дружить-то станет. Губки — гузкой, вид типа как у самой умной. А брови не щипаны.

Ну что там на голове и одевается как, это даже не обсуждается. Да, и в довершение всего — очки из бабушкиного комода.

Приходит эта кикимора и торчит весь день. Не к девяти, ко-

нечно, но к одиннадцати подгребает. Бумаженции свои раскладывает. На Оленьку — ноль внимания.

Оленьке, правда, не до страшилы. В первый же день по макушку работы навалили — корректорша покинула поле брани (о, брани наверняка было предостаточно), хорошенько полоботрясничав. К тому же ни много ни мало, а две недели утекло со дня ее бегства, к тому моменту как Володик предстал перед директором. («Бог есть», — сказал тот, закрыв за Володиком дверь.)

Дела у издательства шли неважнецки. Маленький гордый «Глобус» пушил хвост, вереща в рекламном проспекте, что несет в массы (внимание на большую букву) Литературу всего земного шарика, что само по себе было смешно — ввиду наперсточных размеров верещащего. На самом деле он ограничивался тремя-четырьмя языками, в основном озадачивая переводчиков с английского и во имя этой самой Литературы выкручиваясь самым банальным образом.

Точнее, перелицовка на великий и могучий чего-нибудь розовопузырчатого давала материальную возможность выпустить следом нечто нетленное. И от несчастных толмачей требовалось, как говорится, немалое искусство переключать мозги с мусора на классику. Ну или на то, что метило в классику туманного будущего.

Директор был человеком исключительной вежливости. В коридоре всегда здоровался за руку. Спрашивал, как дела, как муж. Конечно, не от души, но все равно Оленьку это трогало. Она вообще имела репутацию чувствительной девочки.

Директор был на кого-то похож, Оленька никак не могла сообразить, на кого именно. Он, не снимая, носил мягкий пиджак песочного цвета, и тот вкупе с рыжими кустами на директорской голове (остатки разграбленной временем роскоши) и чуть отвисающей мясистой нижней губой рождал у Оленьки смутные и приятные воспоминания.

Помимо директора в конторе числилась наборщица: классический случай «Вас много, а я одна». Вносила Оленькину правку в тексты, верховодила файлами. А также выполняла роль директоровой секретарши. Девица ко всему безразличная и вечно утомленная. Кэтрин она терпеть не могла, потому что та не желала сама набивать на компьютере переводы, которые, как в допотопные времена, писала на листочках.

На этой почве — нелюбви к Кэтрин — они и сошлись. Не то чтобы сошлись — так, иногда болтали в курилке. Оленька все собиралась завязать с сигаретой, но с часу до полвторого она физически не могла находиться на рабочем месте, и ей ничего не оставалось, как заглянуть в секретарский аппендикс и беззвучно, глазами, спросить: «Курить идешь?»

Курилка была зоной, куда не совался вездесущий Хомяков. Менеджер-завхоз (он же тайный шпион директора, о чем знали все, даже уборщица) не переносил табачный дым.

В курилке Оленька в основном молчала. Секретарша вяло выдавала последние новости, затем заявляла, ткнув окурок в ведерко с песком: ну ладно, работы полно. И уходила, оставляя Оленьку одну в дымном мареве.

Но на сей раз вышло иначе.

4

— Работы полно, пойду.

Оленька оттянула рукав водолазки, стрелки сообщали: болтаться тебе без дела еще двадцать минут. Девать себя некуда: на улице холодно, в курилке противно. На прочей территории — Хомяков. Секретарша выдала подобие ухмылки:

— Твоя все трескает?

Оленьке и в голову не приходило, что кто-то догадывается о ее страданиях.

— А ты... откуда знаешь?

Секретарша снова кривенько улыбнулась.

— Да трудно не знать. Запах котлеток иной раз аж до господина директора доносится.

И тут Оленьку прорвало:

— Ровно в час, вообрази, вытаскивает свои кульки. В них, конечно, все протекает, поэтому кулек в кульке, а тот кулек в следующем кульке. Меню ее я уже выучила. Или котлеты с пюре, или сосиски с тушеной капустой. Ни дня покоя — один раз котлеты воняют, другой — капуста.

Здесь требуется пояснение. Обедать Оленька ходила к Володику (семь минут пешком; «корпоративная» копеечная столовка). Но там пускали только с двух, до того можно было разглядеть в замочную скважину белоснежные скатерти и плавающие с подносами начальственные пиджаки (Володик сказал). Вернувшись из курилки в пропитавшееся котлетным духом логово, Оленька около получаса находилась на грани голодного обморока: в животе так скребло, а аромат так дурманил, что даже колени слабели. Дорвавшись до столовки, она творила на подносе вавилонскую башню из вазочек с салатами и дуэта первое-второе, нахлобучивала на стакан с соком булку и еще хлебушка брала возле кассы. Володик смеялся и объяснял ее раж причиной естественной и логичной: «Оленька, как родишь, посажу на диету...» Наивный.

— А мне она, — секретарша достала из пачки сигарету и снова закурила, — переводы свои приносит. Типа, у нее компьютера дома нет. Говорю — скажите Хомякову, он вам поставит какую-нибудь старую машину, все равно в офисе день-деньской сидите. Раскричалась — какое вы имеете право! мне! профессионалу! это не моя работа — по клавишам стучать! То есть до нее не доходит, что можно, как другие, сразу на компе чирикать.

— А ты директору не говорила?

— Да Васильич от одной мысли, что она может отвалить, если что не по ней будет, в ужас приходит. Это же не человек, а переводная машина. Сюда приходит — работает, вечером дома работает и в выходные тоже. Она мне такими порциями таскает, что

иногда я сомневаться начинаю, а спит ли она вообще. Ну и Васильич над ней трясется. Трогать категорически воспрещается.

— Слушай, а зачем ей это надо-то? Ну, переводить с утра до вечера. В Книгу Гиннесса метит, что ли?

Секретарша зевнула.

— Да мужика у нее нет, и все. Делать не черта.

Оленька подумала: то-то при ней рука не поднимается Володику звонить. Ну ее, еще сглазит.

— А-а-а... Мне даже кажется, от нее энергия какая-то черная идет.

Секретарша приоткрыла рот, чтобы зевнуть, но передумала.

— Да нет от нее никакой энергии. Просто она одинокая несчастная дура.

Окурок ткнулся головешкой в песок.

— Ну ладно, пойду. Работы полно.

Оленька кивнула и напоследок спросила:

— А ты не знаешь, чего это она себя по-английски величает? Совсем без мужика шарики за ролики зашли?

— Не, ее правда так зовут. Это из Хемингуэя, в каком-то рассказе у него героиня такая есть. Родители психи.

Кэтрин — шметрин, фу-ты ну-ты.

5

Валялись на диване, смотрели телевизор. Фильм был скучным. Последнее время Оленька мало читала — Володик относился к тому редкому типу мужчин, которые хотят все делать с женщиной вместе. Три года назад, до того, как они начали встречаться, Оленька могла позволить себе провести вечер с книжкой, теперь — нет. Володику становилось неуютно одному, он выдумывал мелкие отвлекающие маневры — то чаю попросит вежливо, то принимается восхищаться начавшимся фильмом, которому зачастую грош цена.

— Володь, а здесь есть Хемингуэй?

«Здесь» — это у мужниных предков. Одно время Володик,

как заправский паук, плел искусную сеть скандалов, целью которых было честно откусить от родительской королевской трехкомнатной (все изолированные, здоровенный холл) треть. А купив однушку, можно спокойно ждать у моря кредита. На работе туманно пообещали. Однако паучья деятельность Володика натолкнулась на ожесточенное сопротивление матушки. (Отец, тихий алкоголик, был регулярно изгоняем из дому и голоса не имел. Оленька вообще задавалась вопросом, а умеет ли он разговаривать.) Маман заявила, что отсюда никуда не поедет, она в жизни уже намыкалась, живите тут или идите снимайте. Тратить деньги на съем казалось глупым.

— Хемингуэй? Не знаю. А зачем тебе?

Оленьке не хотелось делиться этим. Имеет она право на свои невзрачные житейские секретики?

— А для работы нужно кое-что сверить.

Володик встал и ушел к родителям. Он только делал вид, будто фильм интересный.

— Все, что есть, — положил на столик перед диваном две книжки — одна толстая, другая тонкая.

— Мне рассказы нужны, — сказала Оленька и отодвинула в сторону потрепанного *Старика с его морем*. — А вот эта... подойдет.

6

«Старину Хема» Оленька читала сто лет назад и вынесла из него только то, что там все просто, нудно и непонятно. Непонятно, зачем написано. И обрывается внезапно. И разговоры ни о чем. И еще — много про войну, а Оленьке не нравилось жить в книжке, где убивают.

Она пролистала рассказы, надеясь, что мелькнет имя Кэтрин. Не мелькнуло.

— Нашла? — Володик привалился сбоку, вывернув голову к телевизору и распластав пятерню у Оленьки на животе. На животе, который был пока незаметен.

— Нет. Я на работу возьму.

План прост: положить книгу на столе, с краю. Книга — наживка. Останется только ждать, когда рыба заглотит крючок. «Старик и море» в миниатюре.

7

Володик распугал всех Оленькиных подруг. Не специально, конечно. Просто ходил за ней, как коза на веревке: общался со всеми доброжелательно, но как-то исподволь давал понять, что Оленька теперь уже не самостоятельная единица. Что «я» превратилось в «мы», и это естественно, а как же иначе. Некоторых оно возмущало, у других вызывало здоровую зависть. Подруги рассосались — к тому времени как Оленька заметила, что проводит свободное время исключительно в обществе мужа. И ей это не понравилось.

Нет, с Володиком было все замечательно. Дальше некуда. Привозил — увозил, встречал — провожал, переругался на ее прошлой работе с злокозненным начальством. Планировал, куда отдыхать ехать. Где справлять ее день рождения. Что к столу покупать. Частенько сам готовил. Следил, чтобы не кончались зубная паста и туалетная бумага. А в родительскую ванную с переездом Оленьки повесил ей персональный шкафчик, потому что подставка перед зеркалом была завалена всяким хламом его маменьки, от косметики до бигудей. В шкафчике нашлось место для всего, включая прокладки, редевшую армию которых Володик пополнял новобранцами, приобретенными вместе с жидкостью для мытья посуды и плавленым сыром. Оленьку этот факт ужасно нервировал, не надо ведь границы переходить. Пусть мои месячные будут окружены ореолом тайны. «Но я же все равно иду в магазин», — оправдывался Володик. То ли он не отдавал себе отчета в своих действиях, то ли и вправду думал, что они теперь единое целое.

Матушка его прокомментировать ситуацию отказалась, заявив, что Володенька всегда был заботливым мальчиком, а при-

вычка покупать товары первой необходимости — это у него с детства. Потому что он был ответственным за то, чтобы мыло не кончалось. «Чтоб оно за вами мчалось», — хмыкнула Оленька. Мадам не поняла.

Да и Оленькой Оле не очень нравилось зваться. Хотя... все равно.

8

Не то чтобы Оленька не хотела ребенка. Хотела, понятно. Но попозже. Ребенок срочно понадобился Володику. Ясное дело, он был старше Оленьки на девять лет. На прошлой работе мотался по командировкам, даже змею ел в Гонконге. В Африке с джипа в антилоп целился. В свое время играл в рок-группе. Был знаком с Кинчевым: один раз выпивал с ним в большой компании. Словом, Володик мог позволить себе дитя. А у Оленьки — ничего за спиной, кроме учебы. Ни змеи, ни антилоп, ни Кинчева. И таблеток она не пила, как дура.

А потом вот это «не пущу», в ночи, после любви-то. Родная, я так хочу, чтобы у нас... так хочу... «Я так хочу, чтобы мыло не кончалось... чтоб оно за нами мчалось...» Вот привязался мотивчик! Так ведь сказал «не пущу» и не пустил. Заболтал, зашептал. Мягким валенком на горло.

Ну ладно. У других и этого нет.

9

Книжку Оленька положила на край стола, ближний к кикиморе. Удочка заброшена, осталось ждать клева.

— Ольга, у вас не найдется писчей бумаги? У меня один лист остался, а Хомяков отъехал.

— Ну что вы, Кэтрин, бумаги у меня полно. Подойдете?

И рыба клюнула. Схватила крючок зубищами, задергала, глазюками вот так завращала:

— Ольга, вы читаете Хемингуэя?

Оленька степенно так кивнула. А что, мол. Хочу и читаю.

— А что именно?

— Рассказы, — безмятежный ясный взгляд на крокодилицу.

— А-а... — разочарованное. — У него хорошие рассказы, да.

Хвать бумагу и назад к себе. Опять строчит. Шифруется, значит.

— Кэтрин?

— Да? — не поднимая головы в очищах.

— А вы сами любите этого писателя?

Задрала голову, внимательно посмотрела.

— Вам кто-то что-то сказал?

— Нет.

Опять внимательно посмотрела.

— Я его терпеть не могу. Вас устроит такой ответ? — вперилась в бумажки.

— Нет. Вы ведь сказали, что у него хорошие рассказы.

Глядела секунд пять, не отрываясь. Натуральная очковая змея.

— У него хорошие рассказы, но я их не люблю.

Почирикала еще пару минут свой перевод, ручку отбросила — и шасть в курилку.

«Психанула», — подумала Оленька не без злорадства.

10

Если человек несимпатичен, это главный повод не входить в его положение.

— У нас война, — сообщила Оленька секретарше. — Я попыталась выяснить насчет имени, так она меня чуть не искусала. Это что, засекреченная информация?

— Ну типа, — неохотно отозвалась секретарша. (Вообще, она все делала неохотно. Однажды Оленька заглянула к ней и увидела на столе тарелку с веткой фантастического винограда. Секретарша смотрела в экран компьютера и совершала поступа-

тельные движения рукой между ртом и тарелкой. Налитые соком ягоды складывались ею в рот безучастно и походили на прекрасных девушек, чудищу пожертвованных; от них даже костей не оставалось. Оленька подумала — жаль такое добро переводить.) — Вообще, насчет ее имени это Хомяк разнюхал.

Хомякову было дело до всего. «Ты что ешь?» — спрашивал он у Оленьки, когда та запивала таблетку. «Таблетку, не видишь?» — «А что за таблетка?» — «От головы». — «Что, голова болит?» — «Ну». — «А чего болит?» — «Не знаю, хочет и болит». — «Наверно, вчера легла поздно?» — «Ну не рано». — «А что делала?» Вот такой любознательный человек. Отвязаться от него было невозможно. Он подслушивал телефонные разговоры: осторожно брал трубку в соседней комнате и замирал. На правах менеджера и правой руки директора прочитывал всю корреспонденцию, приходившую на адрес редакции; знал, какой переводчик над чем работает и когда сдаст текст; в его ведении были все финансовые отчеты. Директор Хомяковым дорожил не меньше, чем Кэтрин. Им он платил лучше, чем остальным, но, если разобраться, Кэтрин увеличивала общие надои розовопузырчатого чтива вдвое, так что получала по заслугам. А Хомякову шла надбавка за вездесущность. И, помимо директора, он был единственным в издательстве, не называвшим по-тихому «Глобус» «Жлобусом».

Нехитрое прозвище Хомяк ему шло. Правда, он был щуплым и походил скорее на мыша. Но, по удивительному совпадению, мордочка у него и впрямь отдавала чем-то хомячьим: как будто некогда круглое лицо немного сдулось и по бокам образовались вялые брылья. Бусины темных глаз довершали картину. Что до тельца, то можно сказать, что Хомяк просто худой. Болел.

Откуда Хомяк разнюхал про Кэтрин, спрашивать было бесполезно. Называлось это «по своим каналам».

В этот день Кэтрин ушла, не попрощавшись.

Холодная война была официально объявлена.

11

Не то чтобы война. На следующий день ничего особенного не произошло. Заявилась в одиннадцать, «Здравствуйте, Оля» — красную сумку из кожзаменителя на стол, черный плащик на вешалку — вжик «молнией» сумки: достала бумажки, очечник, клац — извлекла из него окуляры, разложила листы, оцепенела. Перечитывает написанное. Тишина.

«Черт с тобой, — подумала Оленька. — Не хочешь — не надо». Она уже с утра убрала книгу в заедающий ящичек. Дуновение воздуха принесло с собой знакомое, но непривычное в этих стенах благовоние. Запах плохо завернутой куриной лапы беспокоил Оленьку и гнал мысли прочь от корректируемого текста.

Несколько дней подряд крокодилица вела себя подчеркнуто вежливо и часто уходила курить. Но потом как-то все нормализовалось. А неделю спустя у Володика случилось на работе заседание, и он смог заехать за Оленькой только в половине девятого. И оставшись одна — только уборщица яростно тыкалась шваброй в ножки столов где-то в районе бухгалтерии, — Оленька вскипятила себе чайку, распечатала пачку печенья и полезла в ящичек, где лежала книжка писателя, которого она никогда не понимала.

12

Оленька листала страницы, не зная, что выбрать.

«В следующем году было много побед. Была взята гора по ту сторону долины и склон, где росла каштановая роща...»

...

« — Священник не хочет, чтоб мы наступали. Правда, вы не хотите, чтоб мы наступали?

— Нет. Раз идет война, мне кажется, мы должны наступать.

— Должны наступать. Будем наступать».

Какая скукота.

«Дивизия, которую мы обслуживали, должна была идти в атаку в верховьях реки, и майор сказал мне, чтобы я позаботился о постах на время атаки. Атакующие части должны были перейти реку повыше ущелья...»

Боже мой.

« — Вы все ее милые мальчики, — сказала Кэтрин. — Она особенно любит милых мальчиков. Слышишь — дождь».

Оленька чуть было не пролистнула страницу. Хм... четвертая глава книги второй... Пятимся к названию... Вторая глава первой книги... Стоп. «Прощай, оружие!»

Значит, никакой не рассказ, а романец.

« — Вы все ее милые мальчики, — сказала Кэтрин. — Она особенно любит милых мальчиков. Слышишь — дождь.

— Сильный дождь.

— А ты меня никогда не разлюбишь?

— Нет.

— И это ничего, что дождь?

— Ничего.

— Как хорошо. А то я боюсь дождя.

— Почему?

Меня клонило ко сну. За окном упорно лил дождь.

— Не знаю, милый. Я всегда боялась дождя.

— Я люблю дождь.

— Я люблю гулять под дождем. Но для любви это плохая примета.

— Я тебя всегда буду любить.

— Я тебя буду любить в дождь, и в снег, и в град, и... что еще бывает?

— Не знаю. Мне что-то спать хочется.

— Спи, милый, а я буду любить тебя, что бы ни было.

— Ты в самом деле боишься дождя?

— Когда я с тобой, нет.

— Почему ты боишься?

— Не знаю.

— Скажи.

— Не заставляй меня.

— Скажи.

— Нет.

— Скажи.

— Ну, хорошо. Я боюсь дождя, потому что иногда мне кажется, что я умру в дождь.

— Что ты!

— А иногда мне кажется, что ты умрешь.

— Вот это больше похоже на правду.

— Вовсе нет, милый. Потому что я могу тебя уберечь. Я знаю, что могу. Но себе ничем не поможешь.

— Пожалуйста, перестань. Я сегодня не хочу слушать сумасшедшие шотландские бредни. Нам не так много осталось быть вместе.

— Что же делать, если я шотландка и сумасшедшая. Но я перестану. Это все глупости.

— Да, это все глупости.

— Это все глупости. Это только глупости. Я не боюсь дождя. Я не боюсь дождя. Ах, господи, господи, если б я могла не бояться!

Она плакала. Я стал утешать ее, и она перестала плакать. Но дождь все шел».

13

Оленька вдруг вспомнила, что в детстве тоже не любила, когда над городом повисала эта серая сырая вата. Сам дождь ее не пугал, но от его ожидания становилось тревожно. Становилось не по себе. Ей не хотелось ни играть, ни смеяться. И как-то на даче мама оставила ее одну, уехала в городок за продуктами, а тучи набежали за считаные минуты, стало темно и душно. Оленька подумала, что мама уже не вернется. И еще ей показалось, что серая вата будет медленно опускаться, пока не достигнет земли, не придавит, не задушит. Оленька закрыла все двери в доме и спряталась в шкафу, среди маминых платьев — от них шел еле

слышный запах сирени, как от флакончика, стоявшего на окне в спальне. Оленька подумала, что от мамы остались одни платья и еще этот запах. Но скоро и того не будет. Хотя, может быть, Вата не полезет в шкаф. Оленька представила себе маму на велосипеде с ящичком для продуктов на заднем сиденье: она ехала по дороге вдоль поля, а Вата неумолимо опускалась на нее, как пресс. Оленька заревела и ревела до тех пор, пока дверь шкафа не распахнулась и ее дорогая, любимая мамочка — тяжело дышащая, с мокрыми волосами и прилипшим к телу платьем — не потащила ее наружу. Мама сперва колотила во входную дверь, но Оленька не слышала, ведь она ревела и шкаф наглухо закрыла. Маме пришлось лезть через окно: долго через форточку пытаться дотянуться до шпингалета... Оленьку она отыскала по реву.

«Я боюсь дождя, потому что иногда мне кажется, что я умру в дождь».

Оленька стала читать дальше и узнала, что героиню звали Кэтрин Баркли. И что Кэтрин — тоже — ждала ребенка.

14

Задевает обычно то, что тебя касается, прямо или косвенно. Оленьке была любопытна эта история с именем Кэтрин, но не более. Она стала читать дальше только из-за дождя. Никто и никогда не разделял ее тревоги, и вот какая-то книжная героиня боится дождя, как огня. Надо же.

Эта героиня удивляла ее. Удивляла, когда повторяла своему любимому: «Я хочу того, чего хочешь ты. Меня больше нет. Только то, чего хочешь ты. Ты моя религия. Ты для меня все на свете».

«Зачем? — спрашивала себя Оленька. — Зачем...»

Они там все время твердили — быть с другим единым. Она, эта Кэтрин, говорила: «Ведь мы с тобой только вдвоем против всех остальных в мире. Если что-нибудь встанет между нами, мы пропали, они нас схватят». И тот, другой, отвечал ей: «Им до нас не достать. Потому что ты очень храбрая. С храбрыми не бывает беды». Какую ерунду он ей болтал. И еще он находил такие про-

стые слова, слова, которых никогда не произнес бы ее Володя — он не был писателем, он не умел говорить просто и красиво. «Порой мужчине хочется побыть одному и женщине тоже хочется побыть одной, и каждому обидно чувствовать это в другом, если они любят друг друга. Но у нас этого никогда не случалось. Мы умели чувствовать, что мы одни, когда были вместе, одни среди всех остальных».

Временами Оленьке хотелось побыть одной, и она знала, что Володе обидно. И ребенка он сделал, чтобы покрепче ее привязать.

А вот у этих двоих ребенок получился случайно. И пока живот рос, они звали его «маленькой Кэтрин».

Задевает то, что тебя касается.

Примериваешь на себя, даже если это не твое.

Та, книжная, говорила, что не станет стричься до родов: слишком она толстая и похожа на матрону. Но после — непременно. Чтобы стать новой, другой: на радость *тому*.

Эти двое только и делали, что чирикали.

« — Милый, я так тебя люблю, что хочу быть тобой.

— Это так и есть. Мы с тобой одно.

— Я знаю. По ночам.

— Ночью все замечательно.

— Я хочу, чтоб совсем нельзя было разобрать, где ты, а где я. Я не хочу, чтоб ты уезжал. Я это нарочно сказала. Если тебе хочется, уезжай. Но только возвращайся скорее. Милый, ведь я же вообще не живу, когда я не с тобой.

— Я никогда не уеду, — сказал я. — Я ни на что не гожусь, когда тебя нет. У меня нет никакой жизни...»

Оленька не знала, хотела бы она услышать такое или нет. Вернее, она не знала, что с этим потом делать. Не знала, готова ли отрезать волосы для мужа. Не знала, будет ли ей страшно от мысли, что Володя ее разлюбит, потому что с животом она станет походить на матрону. Да и придет ли ей в голову подобная мысль?

Зато она знала другое. Знала точно, что ей не нравится назы-

вать мужа Володиком (а когда-то было по сердцу; когда-то). Володик: похоже на воздушный пузырек, оторвавшийся от дна наполненной водой ванной. Буль — и нет его. Знала: ей не хотелось, чтобы володики присасывались к ее жизни, как к своей собственной. Ей не хотелось, чтобы муж покупал ей прокладки. Хотелось, чтобы говорил: «Им до нас не достать. Потому что ты очень храбрая. С храбрыми не бывает беды». Пускай это ерунда и храбрые тоже умирают. Ей хотелось именно этого.

Но этого не было.

15

Наверно, все произошло оттого, что Оленька в глаза не видела ни одной Кэтрин. Помимо той, что сидела напротив...

Книга, начатая в пятницу вечером, была закончена в субботу к полудню.

Володик уехал с маман по делам и потом еще собирался заскочить на рынок. Живот у Оленьки пока не наблюдался, но ей уже запрещалось поднимать больше полутора килограммов и ходить дальше парка, начинавшегося через дорогу от дома.

Оленька, конечно, поехала бы к подруге Женьке, но в метро ее начинало мутить.

Осталась дома, читала, смотрела за окно на остывший парк, прикрывшийся сетью лысых веток, на проплешины газонов, где пожухлая трава уже сплелась с землей и подгнившими листьями. Дурацкая промозглая погода. Гуляющих в парке наплакал кот. Пожилые пары под ручку или тетки с детьми. Оленька поймала себя на мысли, что есть что-то, о чем ей не хочется думать. И сразу — перескочив через это «что-то»: и ей суждено вскоре ходить по темным дорожкам, между голых деревьев с мерзлыми ветками. У *него* к тому времени будет имя.

В отличие от Оленьки, Кэтрин, если не врет книжка, была храброй и ни разу не сказала, что боится рожать.

Оленьке пришло в голову, что кикимора, сидящая напротив нее, вовсе не кикимора. Это та же Кэтрин, только очень, очень

старая. Сколько ей сейчас — уж не меньше сорока пяти. Оленьке казалось, что сорок пять — это слишком много. Вернее, это много, когда у тебя никого нет.

Хомяков сказал, что у Кэтрин нет мужа и детей тоже нет. Зато есть полусумасшедший отец, а мать умерла. Поэтому она уходит на работу каждый день, дома можно чокнуться.

Оленька подумала, что эта, нынешняя Кэтрин, когда-то тоже резала волосы, творя свое маленькое волшебство, и говорила «Я хочу быть тобой», да жизнь такая гнусная штука. Чем дальше по ней, тем глуше отклик, кричи не кричи. Даже эхо уже не хочет быть тобой.

Просто книжная Кэт умерла при родах, а эту бог миловал. И вот, помилованная, живет она своей странной жизнью, утром кормит отца, днем сидит в каморке бок о бок с девицей, которой время от времени звонит муж, и они, видимо, счастливы. Вечером Кэт возвращается домой, кормит отца и снова пишет. Сочиняет копеечные романы о Молли или Долли, открывающих двери своих домов и сталкивающихся нос к носу с уготованным им счастьем. Она подписывает романы вымышленным именем и никогда не публикует их в своем издательстве. Потому что ей за них стыдно, потому что она им не верит.

Конечно, она похожа на очковую змею. И одета — хоть плачь, сплошная какая-то синтетика, обтягивающие тощее тело водолазки. Но ведь неизвестно, что сталось бы с той, бумажной Кэт, если бы она не умерла.

Оленьке вдруг стало страшно — как тогда, когда Вата опускалась на хлипкий дачный домик. Ей показалось, что роды — это та же Вата, от них не убежишь. И в шкафу от них не спрячешься. «Надо быть храброй, — сказала она себе вслух, дома-то никого не было. — Хоть храбрые и умирают».

Ей расхотелось думать о Кэтрин — настоящей и книжной. Ей расхотелось их жалеть. Да, ей было кого пожалеть. Себя. Как ни крути, ты один.

«У madame было кровотечение». При слове «кровотечение» к горлу подкатывает ком.

Не надо говорить, что сейчас другая медицина.

Разве в медицине дело. Просто ты на свете один, и, когда становится душно, никто не в силах открыть тебе легкие, чтобы вдохнуть в них кислород. Надо быть храброй. Или, может, не надо было читать эту книгу. Там мальчик родился мертвым, задохнулся, запутался в пуповине. Он был похож на свежеободранного кролика и не кричал, как же ему кричать.

Было странное чувство, что все это происходило с ней, или, может, не с ней, а с Кэтрин, когда она была молодая и не носила таких отвратительных очков.

Это она просила наркоз. Это она просила его еще и еще. И это у нее было такое серое лицо, когда в круге лампы «доктор зашивал широкую, длинную, с толстыми краями, раздвинутую пинцетами рану», а другой доктор накрывал ей лицо резиновой маской. И Оленька заревела на фразе «Это было похоже на картину, изображающую инквизицию».

Нервы, просто нервы. Она посмотрит какой-нибудь хороший веселый фильм, и все пройдет.

Только с Кэтрин уже не будет по-прежнему. Война окончена.

Прощай, оружие.

16

Кэтрин сидела, строчила — как всегда размашисто, без полей. Иногда подтягивала к себе толстенный словарь: нетерпеливо листала, затем вела пальцем по строчкам, ища слово. Возле лампы у нее стояла маленькая круглая штуковина для борьбы с пальцеслюнявленьем — коробочка с сырой губкой. Перед каждой атакой Кэтрин тыкала в губку перстом — так, будто хотела стол продырявить. Она переводила какого-то современного американского классика и заметно нервничала. Ей явно было не по нутру его скромное творчество.

В другое время вся эта сцена — особенно смачивание пальца — вызвала бы у Оленьки приступ раздражения. Но сейчас она

сидела и улыбалась, как блаженная. Она хотела заговорить, но не знала, с чего начать.

— Кэтрин?

Молчание.

— Кэтрин...

Задрала голову, глаза тучками затянуты: недовольна. После двухмесячной перелицовки всякой любовной мути имеет человек право выбирать автора? Она уж подобрала бы себе приличного. Приличного, а не модного. Ну что это такое, ей-богу: «Глаза его были мокрыми ранеными ковриками». И как толковать прикажете? А потом скажут — переводчик бездарь.

— Кэтрин... Вы заняты?

Нет, в бадминтон играю.

— Вы что-то хотели, Оля?

— Да... Я хотела... я хотела сказать, что жду ребенка.

Глаза все еще в тучках, но те быстро-быстро разбегаются. На смену — голубое удивление:

— Почему... вы мне доверяете?

— Я прочла «Прощай, оружие!», я так плакала. Будто это произошло со мной. Со мной и... с вами.

Кэтрин сняла очки.

Она смотрела на Оленьку и ничего не говорила. Потом как-то обмякла.

— Слушайте, Оля... Вы больше никому не признавались? Про...

— Про ребенка?

— Д-да... Молчите, я вас умоляю. Тут уши не только у стен, а даже у дверных петель.

Оленька улыбнулась:

— Хомячьи уши?

— Разные. Вы многого еще не знаете. Потом поговорим.

Надела очки, уткнулась в бумажки. Снова подняла голову:

— Они вас сожрут, если узнают. Им нужен корректор.

Больше она не сказала ни слова. Про пальцетыкательницу забыла и слюнявила палец всякий раз, когда лезла в словарь.

17

— Вы идете домой?

Кэтрин укладывала исписанные листы в сумку. Спросила, не повернув головы. Между ней и этой девчонкой пока ничего не было. К тому же за девочкой, похоже, муж заезжает. Ну и прекрасно. Ну и не о чем тогда говорить.

— Да.

Кэтрин взяла со стола очки, свои старые, любимые, нелепые очки, кому не нравится, того не спрашивают. Очечник весело клацнул.

— Разве за вами...

— Нет!

Оленька подумала, что они могут осесть с Кэтрин где-нибудь в кафе, на полчасика. Сейчас шесть, а Володик появится не раньше начала восьмого. У метро есть приятная кафешка.

— Ну раз нет, тогда идемте.

Входная дверь захлопнулась за ними, и их окатило волной холодного ветра. Вчера начался ноябрь.

Пересекли двор. Яблочки то ли дворник умёл, то ли сами разбежались.

Вышли за ворота.

— А... а что вы сейчас переводите?

— О, наверно, вы его не знаете. Вам что-нибудь говорит имя Ричарда Бротигана?

Оленька покачала головой. Нет, ровным счетом ничего.

— Он теперь у нас в моду входит. Руководство решило сборник рассказов издать.

— И как он?

— Отвратительно.

— А-а...

Кэтрин вдруг улыбнулась.

— Знаете, говорят, он унаследовал манеру Хемингуэя.

— Да?

— Нет, конечно. Просто то и дело пишет про дождь.

Как до нее достучаться, как объяснить ей, что теперь... Оленька подумала: а если сейчас торгануть своим страхом, сказать — я, как и Кэтрин Баркли, с дождем не в ладах, как и Кэтрин, всякий раз жду чего-то... ужасного, как и Кэтрин...

— Невелика заслуга.

— Что?

— Невелика заслуга, говорю, всюду дождь впихивать. Кстати, один рассказ мне понравился. Смешное совпадение: он называется «Машинистка Эрнеста Хемингуэя». Написан ясно, оттого и выигрывает.

— А обычно у него все мутно?

Кэтрин сложила губы знакомой гузкой: не то слово.

— Вот как вам, например, такая фраза: «Я утешал его, словно какой-то старый пылесос»?

— Пылесос?

— Угу.

— Пылесосы умеют утешать?

— Как видите. Еще как умеют.

— Особенно старые.

— Конечно. У них опыта больше.

— Опытный пылесос может на «телефоне доверия» работать.

— Похоже, там одни пылесосы сидят.

— Я никогда не звонила.

— А я... А хотите еще одну фразу?

— Конечно.

— По памяти цитирую... «Песни спотыкались в популярности, как сломанные птицы на лету».

Оленька сделала пораженное лицо.

— Так-то.

— И Антон Васильич собирается это издавать?

— Ему Хомяков напел. Хомяков в курсе всех тенденций.

— А почему песни спотыкались?

— Да там герои решили радио поджечь. И что-то там с песнями случилось, пока приемник горел.

— А-а.

— А про сломанных птиц я так и не поняла. Не знаю, как переводить. Может, написать «покалеченные» или «раненые»...

— А как в оригинале?

— Не помню. Вроде как сломанные. У него есть симпатичный рассказ — о том, как лужайка возле дома мстила хозяину за то, что он за ней не ухаживал. Пришли. Вы в метро?

Оленька растерялась. Она не знала, как пригласить Кэтрин в кафе. И надо ли. Когда люди каждый день друг другу глаза мозолят... Может, она и не захочет. Будет глупо.

— Я... нет. Мне вернуться надо, я вспомнила, что кое-что забыла.

— Хотите, я с вами вернусь?

И только Оленька собиралась предложить альтернативный вариант (кафе было прямо через дорогу), как Кэтрин охнула, посмотрела на часы и замотала головой:

— Нет, сегодня не могу, мне бежать надо. К отцу должна медсестра... прийти.

И последнее — «прийти» — она уже выдавила, как остатки пасты из тюбика.

«Сейчас пожалеет, что соткровенничала», — подумала Оленька. И — торопливо:

— Да? Ну так вас папа ждет, вы идите скорее, — и улыбнулась. Улыбнуться сейчас — это главное.

Кэтрин переминалась с ноги на ногу.

— Уээл... Ладно, пойду. До завтра. Спасибо за компанию.

Смешно. У Кэтрин была манера время от времени вставлять нелепое «well»: делала она это с нарочитой небрежностью, тянула гласную, будто пыталась языком выковырять «ириску» из зуба. Наверняка в каком-нибудь американском мыльном шедевре углядела.

— До завтра, Кэтрин.

Та сделала несколько шагов к метро, оглянулась.

— Оля? Оля, вы пока никому там не говорите. Даже этой подружке вашей.

— Она мне не подружка.

— Вы с ней курите!

— Я с ней просто курю, и все.

— Вот так не говорите ей. Она такая же, как все они. Вас сживут со свету.

— Меня уже сжили — на прошлой работе.

— Тогда вы были не виноваты. А здесь схитрили.

— Разве видно что-то?

— Чуть-чуть. Когда знаешь, то видно.

— Но они же не знают.

— Вот и молчите. До завтра.

Кэтрин ушла, а Оленька еще минуту стояла. Здесь, в закутке, не было ветра. Ветер мел вдоль улицы, и в него пришлось шагнуть все равно.

18

Скорее всего, раньше это была коммунальная кухня. Такая нелепая гигантская комната с мелкой плиткой на полу. Между бисером плиток — широкие цементные спайки: вид, как на заводской проходной. А ведь здесь люди еду себе стряпали, сплетничали, ссорились-мирились, в суп плевали. Хотя для этого паркет не нужен, уж точно. Сиротливые керамические квадратики выглядели неопрятно: в местах, где обычно топтались жильцы, нехитрый рисунок вытерся, а некоторые плитки потрескались или выпали. Окна в комнате тоже были несуразными: широкие, но начинающиеся где-то на уровне груди, забранные толстой пыльной решеткой. Они в упор пялились на детскую площадку во дворе и никогда не открывались.

Оленьке мама рассказывала, что когда-то у всех больших коммуналок кухонные окна имели две общие черты: они были грязные и без занавесок. Идешь по улице, голову поднимаешь и

вычисляешь кухни в пять секунд. Зачем только надо было их вычислять, непонятно.

Это помещение Хомяков хотел отдать под склад книг. Но склад у него уже был. Так что бывшая кухня стала потихоньку превращаться в свалку. Здесь стоял облупившийся стол с единственным выдвижным ящиком, два расшатанных стула, застрявшее в нижнем положении вертящееся кресло и две допотопные музыкальные колонки, некогда принадлежавшие Хомякову и сгоревшие: на них можно было сидеть и курить. Сюда сносили горшки с засохшими цветами: те почему-то не росли в «Глобусе». Валялось полдюжины книг семидесятых годов про волчий оскал мирового империализма. И еще ведро стояло — для окурков.

Когда в курилку вошла секретарша, Оленька с Кэтрин сидели каждая на своей колонке и болтали. Кэтрин рассказывала, как ездила в Чехословакию, еще в советские времена.

— Здрассьте.

Секретарша посмотрела на Оленьку, а затем скосила глаза на Кэтрин. Мол, чего это она к тебе привязалась?

Кэтрин взгляд поймала и замолчала. Сделала пару глубоких затяжек, ткнула недокуренную сигарету в песок:

— Пойду работать.

И ушла.

— Чего это... — секретарша уселась на освободившуюся колонку, — ей от...

Оленька повела плечом:

— Да, собственно, ничего. Я тоже пойду.

19

Теперь все было с точностью до наоборот: секретарша, столкнувшись с Оленькой в коридоре, вяло ухмылялась и молча двигала мимо. Кэтрин же, напротив, растаяла. Видимо, решила, когда Оленька ушла вслед за ней из курилки, что выбор сделан в

ее пользу. В действительности «выбор» тут был ни при чем: общего с секретаршей у Оленьки имелось не больше, чем с тайским королем. Просто не хотелось про Кэтрин судачить.

— Пойдемте, я покурю, а вы со мной посидите? — Дня два Кэтрин смаковала свою победу. Она гордо шествовала в сопровождении Оленьки по коридору, наверно надеясь встретить кого-нибудь из «врагов». Похоже, дружбу она водила только с директором.

В курилке дверь плотно прикрывали, усаживались на колонки возле окна. На детской площадке копошились карапузы.

— Кэтрин, а чем Лера из третьей комнаты занимается?

— Любовью.

— Гмм...

— Любовью с Хомяковым. Это он ее сюда притащил. Абсолютно бестолковая девица. «Помощник менеджера», а менеджер у нас известно кто.

— Хомяк... ов.

— Вы тоже заметили, что он похож на хомяка?

— Да, есть что-то. Только щеки висят. Ему туда крупы надо...

Кэтрин всплеснула руками.

— Он эту «крупу» себе горстями сыпет. Директор у нас лопух, сколько раз ему говорила, гнать надо Хомяка в шею. Лопух, лопух.

Кэтрин нервно затянулась сигаретой. У нее даже руки дрогнули. Оленька не понимала людей, путавших рабочие проблемы со своими собственными, и в беседу решила не углубляться.

— А знаете, Кэтрин, мне наш директор тоже кого-то напоминает. Только кого, вот все мучаюсь, не пойму. Но какое-то сладенькое ощущение от него...

— Это из-за пиджака.

— ?

Кэтрин встала с колонки и выглянула в коридор. Там никого не было.

За окном карапуз в цыплячьей курточке застрял посреди горки и ревел. Зацепился.

— Это из-за пиджака песочного и еще из-за губы. У него губа нижняя отвисает. И глаза навыкате, да?

Оленька засмеялась.

— Ну да, верно. Глаза.

Кэтрин помолчала, глядя в окно на орущего карапуза, и после сказала с неожиданным раздражением:

— А я ему говорила! Глаза не вправишь, но губу-то не раскатывай. Вывесит, аж десну видать. Тьфу. И пиджак свой таскает второй год, а до этого был похожий. Какое, вы сказали, ощущение?

— Сладенькое. Не знаю почему. Будто мне четыре года и лето в разгаре.

Кэтрин молчала, смотрела в окно, как снимали карапуза. Потом усмехнулась:

— Счастливое у вас было детство.

Оленька пожала плечами: детство как детство.

— В зоопарк кто водил, отец или мама?

Что за дурацкий вопрос.

— Все вместе ходили. Вообще-то я не помню, но у меня родители все вместе делают. Такие птички-неразлучки.

— А-а... — Кэтрин смотрела в окно с каким-то едва ли не остервенением. Детей увели, теперь там было пусто. — А вот у меня... — злобно так зырканула на Оленьку и осеклась. «Ненормальная», — подумала Оленька.

И вдруг все прошло. Лицо у Кэтрин сделалось спокойным, даже немного извиняющимся. В голосе — такая мягкая усмешка:

— Пойдемте поработаем, Оля. Не мучайтесь. На верблюда он похож.

И тут Оленьку смех разобрал, ведь верно, верно! Верблюд и есть! Кэтрин подождала, пока Оленька отсмеется, и все так же мягко добавила:

— Да. Так что у нас здесь зоопарк. Директор — верблюд, менеджер — хомяк, а все прочие — тут ведь одни тетки — глупые гусыни. Включая меня. Пойдемте.

20

Не обманула Кэтрин. Оленька вспомнила, уже когда засыпала, — такая вспышка в памяти: жжух! — и точно, лето, она, маленькая, стоит со сладким малиновым петушком в кулаке, а над головой — морда качается, рыжая губастая морда, частокол зубов, и мягкие разболтанные губы нехотя движутся туда-сюда. «Олюшка, пошли», — отец тянет за руку, Оленька сопротивляется. Мама смеется: «Вот как сейчас плюнет!» Ленивые губы шаркают друг о друга, над губами — большой шоколадный глаз, смотрит выпукло, с высоты. Над глазом — шоколадные же — ресницы. Все говорили, что у Оленьки ресницы длинные, но чтобы такое... Если верблюд глаз зажмурит (а в саду все так делают: реснички видать — у тебя девочка родится, а нет — мальчик), ресницы у него на полмизинца высунутся. «Значит, девочка будет у верблюда». С такими глазами, с такими губами, с такими ресницами разве может он — плюнуть?

Директор тоже не мог. Это выяснилось буквально на следующий день.

Кэтрин явилась в половине двенадцатого и заявила: «Уээл, сегодня идем к Антону Васильичу. Сдаваться». Оленька так и обмерла: ну вот тебе и Кэтрин-шметрин, доверишься человеку, а тот даже и не скрывает, что сдаст тебя со всеми потрохами.

— Зачем?

Кэтрин шмякнула на стол слоновый очечник, застегнула котлетный дух, высунувший уши из сумки (красный кожзаменитель, жуть):

— А затем, что лучшая защита — это нападение. Ни к чему директору получать информацию из вторых рук. А ведь донесут.

— Неужели и правда видно? — Оленька встала, одернула свитер.

— Скоро будет. И тогда нам капут.

Оленька смотрела на Кэтрин и ничего не понимала. Той было

явно что-то нужно от нее, а иначе откуда это поспешное «мы»? Ей-то, Кэтрин, какой капут?

— Уээл, идем в три часа. После обеда он особенно благостный.

Оленька вздохнула: пожалуй, тут Кэтрин была права — надо покаяться раньше, чем на то вынудят обстоятельства. Да, но как сказать? Вот так войти и брякнуть: «Антон Васильевич, я на третьем месяце, когда к вам устраивалась, была в курсе. Извините. Можно идти?» Кэтрин напялила очищи и добавила:

— Скажем, что у тебя шесть недель, ты только узнала. Мне он поверит. А уж потом подтасуем как-нибудь.

Да, Оленьке он, конечно, не поверил бы, при всем своем лопуховстве. А Кэтрин поверит.

— Я никогда не вру, айм дэсперетли онист, и он это знает.

Дэсперетли онист. Стоит ли начинать.

— Но ложь во спасение — это не ложь, а средство выживания.

21

Ровно в три поднялись и гуськом двинулись в дирекцию: впереди гусыня, позади гусенок.

«На месте?» — Кэтрин кивнула на неплотно прикрытую дверь (вокруг ручки — грязное окружье). Секретарша медленно встала, прошла к принтеру, взяла с него пачку листов:

— Ваше. У себя.

Кэтрин молча цапнула листы (на днях возмущалась: я потом еще и выверять должна!). Стукнула костяшкой пальца в дверь: «Антон Васильич, к тебе можно?» Оленька кинула взгляд на секретаршу и отправилась следом за Кэтрин.

Директор растерялся пуще Оленьки. Он, похоже, относился к тому разряду мужчин, для которых все «женское» — темный лес, куда лучше не забредать, еще ноги переломаешь/ют.

— Да, конечно, конечно. Понимаю...

Он ничего не понимал, кроме одного: скоро снова придется искать корректора, Хомяков заявит, что ставку не поднимет, а на такие деньги кто пойдет. Вот подкинуло Провидение Олю эту, но бог дал, бог и взял. Разве что какую пенсионерку заловить. Нет покоя... И тут Кэтрин объявила:

— Уээл, я сама займусь поиском корректора. У меня одна просьба только, Антон Васильич. Ты до времени Хомякову не говори. Ну знаешь же ведь...

Директор знал. И потому обещался молчать, как дохлый карп.

22

В тот же день Кэтрин набросала текстик и долго рылась в ящике стола, пока не нашла пожелтевший бланк газеты бесплатных объявлений. (К Интернету у нее доверия не было.) Анонс вещал: с марта открывается вакансия в быстро развивающемся Издательстве. Молодые специалисты приветствуются.

— Старичью просьба не беспокоиться.

— Кэтрин! Ты так написала?

— Это подтекст. Зачем мне клюшка за столом напротив весь день?

Оленьке смешно стало. А то Кэтрин сама не клюшка. Хотя... нет, конечно, нет.

Только с виду.

Телефон Кэтрин вписала свой домашний, поскольку над рабочим покачивались длинные и вострые уши.

«Звонить с 9.30 до 10.30 и с 19.30 до 22.00». Потом папа ложится спать.

— Будем отлавливать студентов — вечерников. Они защищаются в феврале, самое время. Тебе же рожать в апреле?

Оленька кивнула. Ей хотелось сделать для Кэтрин что-то хорошее.

23

Теперь каждое утро совершалось ритуальное действо. Оленька узнавала о появлении Кэтрин по приближающемуся позвякиванию в коридоре: та вышагивала, как солдат на плацу, ритмично шаркая рукой по карману плаща, где, видимо, лежала увесистая связка ключей. (Плащ затягивался поясом безобразно туго, превращая силуэт хозяйки в две пригнанные друг к другу чаши — одна стоймя, другая книзу, как кринолин.) Пока Кэтрин опустошала красную суму, Оленька смотрела на нее вопрошающе. «Ну?» — не выдерживала. Кэтрин изображала, что не понимает, о чем речь, потом махала рукой: «А, нет, никто не звонил».

Иногда Оленька спрашивать не решалась: Кэтрин являлась в мрачном расположении духа и молча усаживалась за свой стол, а то и вовсе хватала сигарету и выходила, не пригласив Оленьку. Видимо, дома с утра пораньше неприятности. Оленька делала вид, что ничего не замечает, а спустя час-другой Кэтрин обращалась к ней сама, как ни в чем не бывало, во вполне сносном настроении.

За час до ухода, около пяти, Кэтрин взяла манеру затевать «чай». К чаю неизменно прилагались сухари. Сухари с маком, сухари с изюмом, просто сухари. Оленька всякий раз деликатно съедала по одному и в первый же выходной попросила Володика, чтобы тот в своем вояже по магазинам не забыл прикупить печенья и конфет. Володик записал на бумажку и не забыл.

За «чаем» велись беседы. Говорили обо всем, что в голову приходило, да и вообще Кэтрин было что рассказать. Отдельной темой шли «ляпы» Бротигана.

А один раз Кэтрин будто невзначай спросила: «Так тебе... тебе понравилось *A Farewell to Arms*?» Впервые Кэтрин заговорила об этой книге (которую Оленька, кстати, таскала в сумке, все собираясь почитать в дороге рассказы).

— Понравилось?.. Не знаю, кажется, мне этого читать не стоило.

Кэтрин кивнула:

— Да. В твоем положении... Но сейчас от родов не умирают. — И зачем-то добавила: — При всем желании.

Оленька промолчала. Она сидела напротив Кэтрин, в круге настольной лампы стояли две чашки с чаем, похожий на спущенные штаны полиэтиленовый мешок, из которого глазели изюминками сухари, лежала горстка конфет «Причуда» и нераспечатанная пачка печенья. Было тихо и уютно. И совсем не хотелось рассказывать про дождь, который лупил в книге по оконным стеклам, а на самом деле — ей по сердцу, про страх перед ним, про Вату, зависающую над землей перед его приходом, и о том, что душно ей от этого, и еще душно оттого, что загнана в угол, что не хотела ребенка так рано, что муж слишком близко садится на диване, что она чувствует себя неблагодарной свиньей, но ей не надо столько близости, потому что «вместе» — это рядом, но не вплотную, как умеют ее родители... И когда голос Володика в телефоне сообщил: «Нас отпустили пораньше», она обрадовалась: «Заходи сейчас». Предложила Кэтрин подбросить ее до метро, но та отказалась.

24

— Хай! — бодрое американское «Hi!» Кэтрин произносила так же, как и знаменитое «Well» — с потугами на прононс. — Клюнула рыба!

Кэтрин ворвалась в комнату довольная, бухнула суму на стол (плеснулся душок: сегодня сосиски), развязала тугой пояс (похолодало, но Кэтрин продолжала таскаться в своем ненаглядном плаще, поддевая лишнюю кофту; можно было себе представить, какая жуткая одёжа напяливается зимой).

— Уээл, девица через три с половиной месяца защищается, учится на вечерке, то что надо. Вежливая. Я ей сказала, что корректор уходит в декретный отпуск, но вернется (Кэтрин вопросительно посмотрела на Оленьку, Оленька кивнула: она была благодарна Кэтрин). В четверг смотрины.

На «смотрины» Оленьку не допустили. Она сидела в комнате, когда дверь приоткрылась и всунулась хомячья физиономия.

— Слушай, это кто там у Васильича сидит?

Оленька повела плечом:

— А я почем знаю?

Хомяков недовольно шмурыгнул:

— Ее Кэтрин притащила. Я видел. Колись.

Оленька сделала круглые глаза, и грызун, потоптавшись, канул. Поверил, иначе бы живой не уйти. В коридоре послышалось: «Не знает!» — и четыре ноги утопали.

Кандидатка в корректорши начальству пришлась по душе (ему и говорящая жаба подошла бы, лишь бы грамоте разумела), претензии у девочки были на нуле: нет опыта. После защиты диплома она отправится на каникулы, «с марта можете мной располагать». Посмотрели ее оценки. Твердая хорошистка. Кэтрин устроила ей проверку: ни одной ошибки. Красота. Оленьке даже както ревниво сделалось.

25

А потом Володик заболел. Утром отвез Оленьку, а около полудня позвонил и сказал, что с работы отпущен, очень плох. Он уже накануне вечером расчихался (когда подбирался чих, со священным ужасом вскакивал и несся вон из комнаты). Пару раз за время разговора смачно чихал в трубку, и Оленька по инерции отворачивала ее от себя.

— Зайка, я вот только не знаю, где ты обедать будешь и кто тебя домой отвезет.

— Насчет обеда я что-нибудь придумаю.

Володик приободрился:

— А отвезет мама, я с ней поговорю. Только придется на работе задержаться, она в пробках не ездит, ты же знаешь.

Перспектива торчать в конторе до девяти, а потом возвращаться в обществе Володиковой маман Оленьку не воодушевила

ни вот настолечко. Но спускаться в метро она боялась: как-то недавно поехала, и так затошнило, так муторно было и противно... не хотелось повторять. «Я еще позвоню», — каркнул Володик и в третий раз чихнул.

— Муж заболел? — Кэтрин не отрывала глаз от своих листочков.

— Угу.

— Уээл, я через полчасика буду обедать, можешь присоединяться.

— Но я с собой ничего не...

Кэтрин наклонила голову и поглядела на Оленьку поверх очков, как это делают старые училки и супермены.

— Приглашаю. У меня две котлеты и гречка. Спроси тарелку у секретарши.

26

Еды на двоих оказалось мало, догнались сухарями с печеньем. Впервые котлетный дух щекотал Оленьке ноздри шаловливо, а не назойливо; ласково, а не нахально. Володик был выведен из строя на неделю, не меньше. «Завтра принесу что-нибудь из дома», — решила Оленька, уписывая парную котлетку.

— Невероятно вкусно.

— Гу га гэ пгафифифал.

— ?

Рот у Кэтрин был забит гречкой, кус котлеты оттопыривал щеку наподобие флюса. Дожевала, закатив глаза и совершая колебательные движения кистью руки: мол, сейчас. Повторила:

— Ну я же профессионал.

И пояснила: на заре туманной юности окончила кулинарный техникум; между прочим, в приличных местах потом работала. Зачем пошла? На кухне с двенадцати лет была за главную и каждый день выслушивала, что руки не оттуда растут. Назло выучилась.

— А-а... — поддержала Оленька беседу, собирая остатки подливы хлебушком.

Хотелось сказать: «Кэтрин, ты чудо», но сдержалась. А то получилось бы, что это знак животной благодарности.

27

День прошел безоблачно, в пять затеяли чаек.

Кэтрин грызла сухарь (она делала это уморительно, как собака или старушенция, у которой сохранились только коренные зубы, и голову даже немного наклоняла). Оленька подумала: «Сейчас спрошу».

— Кэтрин?

— Э? — хрясть, хрясть.

— Почему у тебя такое странное имя? То есть не странное, а необычное. Это же из книги, да?

Кэтрин держала в руке обмылок сухаря (обсосала) и смотрела на Оленьку. Этот вопрос ей задавали, наверно, раз четыреста. Наконец, сухарь был отправлен в рот. Кэтрин несердито пожала плечом:

— Знаешь, в каком году я родилась? В шестидесятом. «Прощай, оружие!» в Союзе вышло за год до моего рождения. И все были просто помешаны на Хемингуэе.

— Я думала, что Ремарк...

— Ремарк — да. А за ним — «папа Хем». А потом и от него ничего не осталось, когда Фолкнера перевели. Обозвали «литературой для юношества». Правда, это уже позже, в семидесятые. А когда я маленькая была, да. Всех умиляло это имя. Все знали, что Кэтрин — из «A Farewell to Arms». Ты что-нибудь слышала о «черном двухтомнике»?

Оленька ничего не слышала.

Кэтрин вздохнула и принялась рассказывать, как бы нехотя, но потихоньку заводясь, как старый пропеллер. В этот вечер Оленька выяснила для себя кое-что, о чем ее поколение помнить не могло, а предыдущее уже подзабыло.

«Черный двухтомник», первый переводной сборник Хемингуэя, вышел в пятьдесят девятом году, редактором был Иван Кашкин, ударение на последний слог, не все знают. Целая «кашкинская плеяда» переводчиков появилась, ну, неважно. Важно, что дело было после двадцатого съезда, и оттого — воздух свободы, и свитера эти хемовские грубой вязки, бороды, пьянки, разговоры с мутным подтекстом, многозначительные такие разговоры, часто ни о чем, но в духе «папы». У него все время говорят, говорят, короткие такие реплики, ничего конкретного, недосказанность — мать интуиции. И еще эти яркие краски у него, запахи, звуки. И переживание... всего. И «настоящие мужчины». Он вроде и сам был таким вот «настоящим» — четыре войны за спиной, охотник, рыболов, спортсмен. Кричали о его мужественности, а ведь застрелился, дуло — в рот, и оба курка спустил для верности, ну да не о том речь. Слышали, слышали они друг друга, его герои. Без слов слышали. А чего стоила его «любимая женщина»! Его герой, видите ли, любимую женщину ценил превыше всего. Не партию, не комсомол, не стройки «коммунизьма». Ну или, скажем, не президента Америки. Отсюда тоже — попсовая популярность. Цитатками перекидывались, портрет в дому держали, где он в свитере своем и при бороде.

— Терпеть не могу портрет этот. Он там на добренького рождественского деда похож. Вот в «черном двухтомнике» у него совсем другое лицо.

— Какое?

— Трагическое, какое... — передразнила Кэтрин Оленьку, непонятно почему. С воодушевления она внезапно перешла на брюзжание. Оленька подумала, что надо сказать что-нибудь миролюбивое.

— Ну... интересно. Может, покажешь, если в гости пригласишь? Заодно посмотрю на книжки эти легендарные.

И тут Кэтрин победно заявила:

— А у меня их нет!

Она ждала вопроса — как так, в доме нет книги, которая имя

ребенку дала. Но Оленька молчала. Тогда Кэтрин добавила-то ли с деланым безразличием, то ли потеряв запал:

— Я их сожгла.

Оленька не знала, что сказать. Поскольку, как известно, она была чуткой девочкой, ей представлялось очевидным, что не надо взламывать чужие шкафы и вытаскивать из них скелеты. Сами вывалятся. Или не вывалятся. Еще незнамо, что лучше.

— Понятно... — протянула она деликатно. И добавила идиотское: — А родители не были против?

Кэтрин уже двадцать пять к тому времени исполнилось, мама давно умерла. Отец же так до сих пор и не хватился книжек своих. В тот день прямо под окном их квартиры мальчишки подожгли контейнер с мусором. Запах гари шел вверх, добрался до последнего этажа. Дома никого не было. Кэтрин сняла с полки книги и швырнула вниз. Попала.

— Одна камнем полетела, а вторая раскрылась, страницами задергала.

— А-а... — Оленька подумала, что Кэтрин ждет, когда ее спросят, зачем она это все. И тогда придется копаться в чужом бельишке — ясно, что не из хулиганских помыслов Кэтрин имуществом разбрасывалась. А Оленька не любила знать лишнее — сегодня тебе задушевно излагают печальную повесть, а завтра ты уже в курсе того, что тебя не касается, и вызываешь у болтуна приступ аллергии. Поэтому она повела в сторону:

— А что, книжки в свое время редкими были? Или так?

Конечно, Кэтрин повелась. Прекратила кривить лицо и принялась рассказывать, судя по всему, семейную легенду — о том, как папа в пятьдесят девятом году ездил с приятелем в Подмосковье, чтобы купить в сельском богом забытом магазинишке заветный двухтомник. И как оказалось, это был только один экземпляр. Приятели начали великодушно отнекиваться один в пользу другого, и бабка, стоявшая за прилавком, достала из кассы десять копеек — бросайте, мол, жребий, интеллихенты. Бросили — двухтомник достался будущему Кэтриновому батюшке. А когда назад ехали, ливанул дождь, знаменитый дождь а-ля Хемингуэй,

и у приятелей не было ни зонта, ничего. Каждый сунул по книге под свитер, так и бежали по полю, вымокли насквозь. И это было здорово.

— А еще такая частушка в народе ходила:

К литературе страсть имея,
Аж пол-Москвы объездил я,
Купил, прочел Хемингуэя,
Не понял ни хемингуя.

На финальной строчке Кэтрин хитро улыбнулась.

Ее настроение колебалось, как пламя свечки: это могло стать довольно утомительным, но не детей же Оленьке с ней крестить.

28

Зазвонил телефон — Володикова маман сообщила, что в курс дела введена, Володик спит, она с работы зайдет домой (пешком два квартала), покормит хворого и к девяти заедет в издательство, «будь наготове». Оленька посмотрела на часы: полшестого. Торчать одной в пустом кабинете.

— Тебя ж сегодня отвозить некому, — Кэтрин вошла, позвякивая вымытыми чашками.

— В девять заберут. Посижу, почитаю нашего друга Эрнеста. — И Оленька потянула из сумки упитанную книжицу.

Кэтрин смотрела на Оленьку несколько секунд, потом подвела итог:

— Первое. Можно поехать ко мне. А от меня уже пускай забирают. Второе. Хемингуэй имя Эрнест терпеть не мог. Примерно как я — свое... Уээл, едешь или нет?

Оленька не знала. Спускаться в метро было страшновато: замутит и вывернет сухарями. Или того лучше — она впадет в панику, ей станет душно, еще и в обморок хлопнется. С другой стороны, долой страхи. Не зависеть же теперь полгода от Володика. Да и свекровь не будет битую неделю сюда таскаться. Надо рискнуть и поехать.

Что-то еще останавливало, настораживало ее. Она не могла

нащупать, что именно. Ей хотелось бы поглядеть, как живет Кэтрин, — из простого любопытства; но любопытство — слишком дешевое чувство. По-настоящему, нечего ей у Кэтрин делать. Они всего лишь сотрудницы. И хотя все это походит на зарождение дружбы, Оленька плохо себе ее представляет, дружбу эту. Нет у нее ничего общего с — хоть и милой — Кэтрин.

Но ведь оно лучше, чем три часа «сидеть наготове».

— А ты где живешь?

— Возле Старого Арбата, — небрежно так.

— Да ты буржуй.

Похоже, Кэтрин ничуть не гордилась, что живет там, где обитателям спальных районов и не снилось преклонить голову. Пожала плечом:

— Уээл, едешь?

29

То ли путь оказался недлинным, то ли у страха глаза велики, но Оленька перенесла поездку ни моргнув, ни охнув. Вышли на «Смоленской», потопали по булыжнику старой улицы. Оленька не была на Арбате сто лет, но сейчас время для прогулок выдалось неподходящее: дождь хоть и не капал, но воздух казался влажным, дул сырой ветер, и на обычно такой пестрой, радостной улице никто не останавливался, все семенили куда-то, погрузив холодные носы в щекотную шерсть шарфов. Кэтрин молчала, знай себе шагала вперед, отмахивая рукой и звякая ключами в кармане.

— Как серо, — не выдержала Оленька. — Я помнила Арбат другим. Нарядным и веселым.

Кэтрин хмыкнула.

— Знаешь американского поэта Уоллеса Стивенса?

Оленька не знала.

— У него есть очень точные строчки: «Мир уродлив, и люди грустны». Вот это — правда. А твой Арбат — игра памяти.

Что за ерунду она говорила. Придет весна, и выползут на

солнышко музыканты, скоморохи всякие. Народ потянется. Все опять оживет. Это в начальных классах проходят. Тема называется «Смена времен года». Вообще, не стоило, наверно, тащиться к этой Кэтрин. У нее, похоже, прилив хандры — может, иссякнет через четверть часа, а может, и нет. Оленька решила, что больше словечка не скажет, пока та не одумается.

Свернули в переулок, протопали немного, и Кэтрин толкнула входную дверь.

В подъезде было темно и пахло сырыми камнями, старым жильем. К лифту вело несколько стертых ступеней. По стене плющом ползли железные почтовые ящики, у некоторых были оторваны дверцы. Оленька недавно побывала в таком доме — ходили в гости. И в гостях этих она чувствовала себя неуютно: высокие потолки, которых она не любила, видавший виды паркет. Запомнила тонкую трещинку, бежавшую по беленой стене вверх, и широкий холодный подоконник из серого камня с маленькими желтоватыми вкраплениями, на который она опиралась, высунувшись в окно.

Кэтрин нажала оплывшую кнопку лифта, — как и двадцать лет назад, детишки поджигали все, что хоть как-то горело. Перила, плетущиеся за лестницей вверх, казались прокопченными, как сосиска, забытая в гриле. Лифт завыл и пополз: сквозь решетку было видно, как он неспешно приближается — погромыхивая и отдуваясь. Кэтрин молчала.

И только когда вошли в кабину (ручка, тысячами ладоней отполированная, тяжело подалась, дверь с лязгом захлопнулась — остались же еще монстры, неспособные отвориться сами), Кэтрин сказала:

— Говори громко, папа плохо слышит.

Оленька кивнула, лифт дернулся и потащился вверх — как полное ведро, которое медленно вытягивают из колодца. Цепь натянута до предела, накручивается на ворот, мелко дрожа: сейчас сорвется. Вот как не вытянет их невидимая рука, полетит ведро со всей дури вниз, цепь загремит, разматываясь, бешено закрутится ворот...

Уф, вышли.

Кэтрин достала ключи, открыла один замок, второй. Крикнула в темноту коридора: «Папа, это я!» И Оленьке: «Вон тапки».

Здоровенные клетчатые тапки со стоптанными пятками, байковые, серого цвета. Стелька стерта дочерна, противно. Но делать нечего — пол холодный.

— Проходи ко мне, я сейчас.

Оленька шаркает к дальней двери, крашенной белой краской. За дверью — узкая комната. Книжные полки, полированный шкаф, полированный столик, два неуклюжих стула с высокими спинками — польская мебель начала семидесятых, такая у бабки стоит, когда-то жутко модной была. На шкафу — старая мягкая игрушка, собака с висящими ушами. Один глаз выпал, и на его месте белое чистое пятнышко. Компьютера и правда нет. Маленький телевизор: вздернутые металлические усы. Покрытая пледом кровать. Полысевший паркет, под столиком — ковер, вернее, какое-то недоразумение с узорами. На стене картинка из янтаря: рыжее деревце, рыжий домишко, рыжий холмик вдалеке. Книги валяются где попало. Много знакомых, из «Жлобуса» натащенных. Продавленное кресло завершает картину. Лепота.

Но Оленьке все равно. Это же не ее жизнь. Да и потом, каждый живет как умеет.

— Кофе будешь?

Оленька кивает.

— Давай я тебя сперва с папой познакомлю. — Кэтрин колеблется мгновение, затем ухмыляется: — Посмотришь на человека, который искалечил мне жизнь.

30

Нет. Только не это. Только не семейные дрязги. Только не фамильные секреты, скелеты и гробы. Только не это.

Да почему надо было выбирать именно ее, Олю, для этих откровений? Будто у нее своих проблем нет.

Теперь придется улыбаться людоеду, орать ему в ухо («плохо слышит»), переминаться с ноги на ногу, поджимая пальцы, потому что в глубине тапка свалялась какая-то гадость.

Людоед лежит, до подбородка затянутый одеялом. Взгляд отсутствующий.

— Папа, это моя сотрудница Оля.

Людоед молчит.

— Здравствуйте, — Оленька смотрит на Кэтрин и взлетает на два тона: — Здравствуйте!

Голова выплевывает какой-то звук. Видимо, приветствие.

Оленька переминается с ноги на ногу, поджимает пальцы. Сесть бы и снять тапки.

— Папа, мы идем ко мне пить кофе, не волнуйся. Отдыхай.

Кэтрин говорит голосом человека, пытающегося перекричать проносящийся поезд. Ответом ей — недовольное сопение. Кэтрин не обращает внимания.

— Уээл... будешь знакомиться с Петей?

Петя? Попугай, что ли? А, ну да, тут же братец в наличии. Младший, надо полагать.

— Ну когда придет... конечно.

У Кэтрин в глазах — чертики, явные такие, аж копытца видны.

— А он здесь. Откуда ему приходить, лоботрясу. Он ведь не работает, тридцать с лишним лет мужику. Сидит у меня на шее. А сейчас ни за что не вылезет из норы. Он чужих... не очень.

Вот где зоопарк.

— Может, тогда и не нужно? — Оленька снова поджимает пальцы.

Но уже поздно. Кэтрин не остановится, пока не закидает ее костями.

— Если его хорошо попросить, он может выпить с нами кофе.

— А-а... почему просить надо?

— Он стесняется.

31

Бедная, бедная Кэтрин. Жить с людоедом и недоумком. Да что — жить! Жрать им готовить, убирать за ними. Личной жизни — ноль. Даже минус единица. Поневоле начнешь строчить романы про Молли, которая сдает комнаты незнакомцам.

Петя открывает сразу же. Будто стоял за дверью и подслушивал: его комната — смежная с папиной. Каморка. Оленька входит и застывает, даже забывает про тапки: пальцы распускаются, ну и ладно.

— Вот это да!

Всюду, на всех поверхностях лежат, сидят, стоят большие, маленькие, малюсенькие ежи. Ежи деревянные, ежи из дутого стекла. Ежи плюшевые и резиновые. Ежи из глины. Синие, зеленые, желтые с малиновым ежи. Ежи с предметами в лапках и без, с усами и без усов, упитанные и худые. Игольница «Еж». Еж заводной: гребет лапами по воде. Еж для карандашей. Еж из конструктора. Огромный мягкий еж с толстыми, набитыми поролоном «иголками». Еж — пищалка. Еж — пепельница. Еж улыбающийся. Еж — ниточка вместо рта. Еж — глазки пуговки. Еж в комбинезоне. Еж в блузке и юбочке. Просто голый еж.

— У меня их двести семьдесят четыре штуки. И еще трех Кэтрин к Новому году обещала.

Игривый взгляд в сторону сестры: не забыла ли? Нет, помнит. Хотя, конечно, и артачится:

— Мы еще поглядим...

Всем известно, первое слово дороже второго. Бояться нечего.

— Кофейку с нами выпьешь?

Симпатичная девушка (как ее, Оля?) вертит в руках Жужу.

— Это Жужа.

Девушка жмет ежу лапу, смешно:

— Здравствуйте, Жужа.

— Если ему надавить на живот, он жужжит.

Девушка Оля жмет Жужу, все смеются.

— Утробный звук.

Петя радостно кивает.

— Я буду с вами кофе!

Оля поворачивается к Кэтрин:

— А у вас неполная коллекция! Кэтрин, твое упущение. А как же Станислав Ежи Лец? А Ежи Гротовски? А...

Петя встревает:

— А ведь есть еще морские ежи!

— И противотанковые! — подхватывает девушка Оля.

Кэтрин — вечно она все испортит:

— Этого нам только не хватало. Пошли кофе пить.

Петя берет с собой куклу-перчатку: еж тоже кофе будет.

32

Говорить не о чем. Петя держит ежа на руке и дергает его головой в разные стороны. Еж «пьет» кофе. К кофе поданы сухари с маком.

— Не хочу кофе, — «голосом ежа» говорит Петя. — Хочу пива.

Оленька улыбается шутке, Кэтрин сосредоточенно сосет сухарь.

— Хочу пива! — капризно кричит еж и дергает лапками.

— Угомонись.

Оленьке неловко, что на Петю цыкают при посторонних (при ней). Наверно, ему неприятно.

— Петя, а что же это у вас еж, получается, алкоголик?

Петя трясет головой:

— Конечно! Как все ежи.

— А-а... — Оленька вежливо улыбается. Типа, смешная шутка.

— Не верите?

Оленька замирает в улыбке:

— Ну как же, верю.

— Нет, не верите. Я сейчас вернусь.

Еж снят с руки и брошен на кровать у двери. Петя исчезает.

— Статью тебе будет читать, — меланхолично заявляет Кэтрин.

— Может, не...

Петя возвращается, победно помахивая вырезкой из газеты.

— Оля! Слушайте внимательно!

У Пети почти такие же очищи, что и у Кэтрин. Статью он отставляет на расстоянии вытянутых рук.

— «В Великобритании растет число ежей-алкоголиков. Как заявил представитель Британского общества защиты ежей, животные пристрастились к пиву, которое садоводы-любители выставляют в мисках в целях борьбы с прожорливыми улитками-слизнями»...

У Пети уже брюшко, да и вообще он упитанный. Щечки. На щечках — щетина. Лоб с залысинами. Дальше — ежик («Кэтрин стрижет покороче, чтобы на дольше хватило»). Застиранная футболка и треники: на одной штанине перетерлась штрипка. Тапки.

— «Напившись, ежики теряют способность сворачиваться клубком. Они засыпают где придется, лежа на боку, что превращает их в легкую добычу для птиц»...

— Кэ-этрин! — слабый клекот из-за стены. Петя повышает голос:

— «В Великобритании, напоминает Dutsche Welle, ежи находятся под защитой. За жестокое обращение с этими животными законом предусмотрено тюремное заключение сроком до шести месяцев или существенный денежный штраф».

Кэтрин встает и уходит к папе.

— Надо же, — говорит Оленька.

— Так-то, а вы не верили!

Молчание.

— А я сам — еж! Видите, колючий.

Петя вытягивает поросший подбородок.

— Вам надо в Англию ехать. Вы там будете под защитой.

— Да! — Петя оглядывается на дверь. — Я бы от них всех уехал.

Возвращается Кэтрин.

— Петя, иди теперь к себе. Нам надо поговорить.

Петя мнется. Он весь день сидел у себя.

— Если тебе скучно, отправляйся работать, а не торчи дома. Оля, он, между прочим, медбрат. А уколы папе делать отказывается. Я сестру из поликлиники вызываю, деньги плачу.

— Папу колоть не буду, — бычится Петя. Обиженно поднимается и выходит, не оглянувшись.

— Он к папе очень привязан, — Кэтрин достает сигарету, открывает форточку. — А мать толком не помнит. Мамой я ему была. Вот, вырастила на свою голову.

Из-за двери — приглушенный голос:

— Екатерина Васильевна, прекратите на меня жаловаться.

Кэтрин и ухом не ведет. За дверью топчутся, потом все стихает.

— Ему четырех не было, когда мама умерла. И наступило у меня «счастливое отрочество». Тебе двенадцать лет, а ты и швец, и жнец, и на дуде игрец. Папа больше не женился, вообще никогда не приводил никого. Это меня травмировало бы. Потому что *я* тут была хозяйкой.

Кэтрин замолчала, затянулась сигаретой. Оленька осторожно начала:

— А почему тебя Петя сейчас...

— По паспорту я Екатерина. Петя всегда меня по паспорту зовет, когда злится.

— Но...

Кэтрин сморщила лицо, раздавила сигарету в пепельнице (еж), перебила:

— Это все папа. Откуда мне было знать, что у меня в свидетельстве о рождении стоит? Я только и слышала — Кэтрин, Кэти, Кэт. Маме, кстати, эта игра не нравилась, но потом она сдалась. Для меня Екатерина — пустой звук.

— Но ты... ты же сказала, что терпеть свое имя не можешь!

Кэтрин поджала губы — было непонятно, хочет ли она продолжать разговор. Оленька подумала, что надо позвонить домой, сказать, чтобы свекровь в «Жлобус» не тащилась.

Кэтрин сощурила глаза, и вкупе с поджатыми губами лицо сморщилось в гусиную гузку.

— А я назло.

— Кому?

— Самой себе. Пусть будет хуже.

— Кому, тебе?

— Да! — гордо заявила Кэтрин. — Все равно моя жизнь кончена.

«Началось», — с тоской подумала Оленька.

33

Оленька сама не знала, деликатна она или просто бесхарактерна. К примеру, у мужа была отвратительная манера гладить ее по голове, он просто в раж входил. Но она молчала. Не хотела его огорчать. И еще он называл ее Зайкой. Ей всегда казалось, что животные прозвища в семье — признак вырождения этой самой семьи. Как можно называть мужчину котиком и испытывать к нему нормальное, а не зоофилическое влечение?

Оленьке не нравилось считать себя бесхарактерной, поэтому в своих размышлениях она остановилась на деликатности. А поскольку деликатность бродит неподалеку от сострадательности, Оленька сострадала. Много и часто. Правда, с появлением Володика, разогнавшего очередь к жилетке, она как-то потеряла сноровку. А вот сейчас все разом вернулось. И Оленька нутром чуяла, что тут не маленькая тележка, а воз. И тащить ей этот воз на себе, а как же не тащить, Кэтрин сколько из-за нее бегала.

Начало стандартное. Оно всегда вот так: общее заключение («жизнь кончена») и взгляд будто бы погасший, смиренный такой. А там, в глубине зрачка, огонек плотоядный: «Пожалей меня, а то пожалеешь, что не пожалела».

И вроде бы уже сама не знаешь, кто тут жертва.

Оленька снова подумала, что надо бы позвонить домой. Но

момент был совсем не подходящим. Только бессердечное чудище может утрясать свои бытовые проблемы, когда у ближнего кончена жизнь.

— Ну что ты, не кончена, — Оленька бодро так посмотрела. — Это этап.

На самом деле сдается ей, что Кэтрин недалека от истины. Но язык не поворачивается согласиться.

— У меня этот этап уже тридцать лет продолжается. С тех пор, как мама ушла...

— А мама...

— Она болела долго. Знаешь, я потом даже злилась на нее, что она нас «бросила». Дети, они же жестокие. В конечном счете, я ее не очень хорошо помню. И вот теперь я... уээл, да что говорить.

Диагноз ясен: погрязшая в домашних делах и дрязгах немолодая тортилла. А вот если бы Кэтрин приодеть, постричь, брови повыдергивать... Если она сменит трагические интонации в голосе на что-нибудь призывное... То, может быть, не прынц, но вполне сносный джентльмен с сединой в бороде и с бесом в ребре заинтересуется. К тому же Кэтрин живет возле Старого Арбата.

Попытка, как известно, не пытка.

— Кэтрин, слушай, тебе пора собой заняться. Что ты обслуживаешь этих...

— «Эти» — мои близкие.

— Да, конечно, но ты и о себе подумай. Тебе надо на людях бывать, а не дома сидеть, по вечерам-то. Что ты тут высиживаешь? — Оленька решила разрядить обстановку к месту ввернутой шуткой: — Может, яйцо какое высиживаешь, а? Покажи хоть...

Лицо у Кэтрин начало вытягиваться, как в кривом зеркале. Оленька подумала, что сказала что-то очень, очень, очень лишнее.

34

Этот взвизг звучал бы смешно — в другое время и в другом месте.

— Нет у меня никакого яйца! И никогда не будет!

У Оленьки возникло непроизвольное желание прикрыть живот руками. Вот оно что. То ли она виноватая теперь будет, что беременна, то ли Кэтрин присуседиться пытается, носится с Оленькой как с торбой писаной, а на самом деле — не с Оленькой, а с ее животом.

— Кэтрин, тебе только сорок. Женщины и в сорок пять рожают.

— Женщины, но не я! И не первого они рожают. И им есть от кого.

А может, она старая дева? Почему нет?

— Кэтрин, тебе надо выходить... Людей видеть поча...

— Он меня бросил, мой Коля. Уже месяц как не звонит. Бросил.

Вот оно что. Интересно бы на этого Колю — одним глазком...

— А-а... Экая свинья.

Кэтрин схватилась за сигарету.

— Нет! Не свинья! Просто он меня никогда не любил, все время за жену прятался — Машу нельзя травмировать, Маша друг и товарищ, Маша то, Маша сё. А я, значит, так — для антуражу.

Типичный камерный мерзавец. Морочит двум бабам головы. А любит только себя.

— Его одна работа интересует. Туда командировки, сюда... Ему некогда трубку даже снять. А я когда ни позвоню — занят, говорить не может. Звонки домой исключены. Сидела, ждала каждый вечер, как прикованная. А теперь и не жду уже.

Кэтрин познакомилась с Колей на прошлой работе, он там делами издательства воротил, совсем не маленького издательства. Идею об увольнении он ей и внушил («чтобы внимание не привлекать»). Антон Верблюдович, там же работавший, затеял

«Глобус», Кэтрин была предпослана роль примы. Чего не согласиться.

— Слушай, а пусть бы он тебе сделал ребенка, и мог бы отваливать.

Всё против Кэтрин: Коля на побочного отпрыска не согласен, да и у Кэтрин здоровье уже не то, когда-то был выкидыш, а сейчас и подавно случится какая-нибудь гадость. К тому же Коля пропал после телефонного скандала. Оно, конечно, ни к чему было, но ведь тут только глухонемой не раскричится: когда Кэтрин поймала его, он уже две недели как молчал и увиливал («Абонент не отвечает или временно недоступен, попробуйте перезвонить позднее»: совет для идиотов). Она хотела расставить точки над «i», как ей казалось. И зачем-то расставила. Коля сказал, что расходиться надо мирно и что позвонит, как только время выкроит. Тогда они и поговорят, а сейчас он не может, у него летучка через двадцать минут и ему поесть надо.

— Эта Маша весь день сидит с детьми, а вечером он приходит, и еды нет. Она, видишь ли, утомилась. — Кэтрин уставилась в одну точку. — Я хочу сдохнуть.

35

Разве поможешь человеку, свой земной путь продолжать не желающему? Если даже и на словах только. Ведь спасение топящихся — дело неблагодарное.

Оленька это прекрасно знала, но каждый раз, подобно обученному сенбернару, копающему снег в поисках замерзшего в горах путника, она рыла, рыла, пыталась добраться до сердцевины, докопаться до червя. Жизнь у Кэтрин была не сахар, но что-то еще, что-то еще в ней горчило. Попади Кэтрин к людоедам на дикий остров — никто ее не тронул бы. Она казалась горькой даже на вид.

— Кэтрин, мне надо позвонить.

Ответом — молчание.

Оленька встала.

— Где у тебя телефон? — бодренько.

— Уже уходишь?

— Я только свекрови позвонить. А то она...

— В коридоре на тумбочке.

Шарк, шарк. Что же свалялось в тапках? «Инна Григорьевна, я с работы уехала, вы не могли бы...» — «Что тогда голову морочишь про метро, в центре пробки допоздна, поезжай домой, у какой такой ты сотрудницы?»

Володик в объятиях Морфея, судя по всему. А то не поздоровилось бы свекровушке.

— Кэтрин, мне скоро надо будет идти.

— Иди.

— Ну я еще посижу немножко.

Куда же после такого «иди» потащишься. Потом все локти себе искусаешь — совесть замучает.

— Смотри, а то дождина ливанет.

— Да? Ну тогда...

— Нет, сиди. Я тебе зонт дам. У нас есть лишний.

— А-а... Ну ладно.

— Кофе еще будешь? Вообще-то мне скоро папу с Петей кормить. Если хочешь...

Если хочешь, пошли на кухню, я буду готовить, а ты рядом сидеть. А потом — занудная трапеза с непременным чаем в конце (чайник закипает целую вечность, а к чаю все те же сухари с маком). Сидишь, как на четырех ежах. Нет уж.

— Кэтрин, меня дома съедят. Давай посидим минут пятнадцать, и я пойду.

— Как хочешь.

«Как хочешь» — безразличное такое. Другими словами: «никаких обид, никаких, я ж понимаю, что тебя ждут, ты всем нужна, тебе есть кому звонить, у тебя семья, у тебя ребенок, даром не сдалась тебе старая тетка, зануда, проблем полон рот, тебе с ней скучно, не терпится слинять, но ты отступаешь с достоинством, — в то время как хочется побежать, да? Побежать сломя голову от тетки, которой только и остается, что сдохнуть».

Внезапно стало не о чем говорить. Оленька потопталась у двери, подошла к книжной полке, на которой стояло несколько групповых фотографий: какие-то люди, совершенно неинтересно, кто такие.

— Кто это, Кэтрин?

— Коллеги. С той работы.

— А Коля есть тут?

Слова из нее — как клещами. Оно было надо?

— Нет. Нет Кѳли.

— А-а...

Подошла к окну, в сырой темноте негромко шелестело.

— Кажется, дождик.

— Я же сказала, что дам тебе зонт.

— Да это я так...

Кэтрин помолчала, глядя в сторону, потом бросила — с вялым таким вызовом:

— А я вот умру в дождь!

Беременным очень полезны подобные разговоры.

— Ты прямо как Кэтрин Баркли говоришь... — Оленька подумала и добавила: — Я тоже дождь не люблю.

— Кэ-этрин! — задребезжало из соседней комнаты.

— Папа проголодался? — с надеждой спросила Оленька.

Кэтрин посмотрела на нее и не ответила. Вышла за дверь, крикнула в пустоту:

— Петя! Подойди к отцу, я занята! Петя-я!

И это «Петя-я» — как мольба, как хныканье. Поскольку запросто может не выйти.

Видимо, вышел, потому что Кэтрин вернулась в комнату, села в кресло, вся ушла в него, продавленное.

— Мне тринадцать было, когда я «A Farewell to Arms» прочла. И тогда же поклялась себе, что никогда не заведу ребенка. Жить хотелось.

— Кэтрин, ну мало ли кого как зовут! Это же книга, просто книга.

— Не мало ли. Я знала, что она — это я. И я прожила ее

жизнь от начала и до... конца. Вот так. И когда она умерла, я умерла тоже. И я очень, очень боялась, что у меня случится ребенок. Я даже сказала себе тогда, что ни за что не выйду замуж. Да... Так и вышло. Накаркала.

— Но...

Оленька не знала, что сказать. И правда, в тринадцать лет чему только не поверишь. Когда она сама, маленькая, сидела в шкафу и вдыхала запах сирени, шедший от маминого платья, ведь тоже навоображала невесть чего. Что мама не вернется, что Вата ее схватит. Отец остался в городе, и ему ничего не грозило. Он узнал бы все уже потом. Оленька представляла, как он плачет, и ей ужасно было жалко себя. И маму, конечно. Вот и Кэтрин поверила этой безбожной книге, надо запретить такие — напичканные несчастьями. Довольно всего этого в жизни.

Кэтрин смотрела на Оленьку и кусала губу. Потом бросила:

— У тебя же с собой?

— Что?

— «Прощай, оружие!» у тебя с собой?

— А, да.

— Можешь принести?

Оленька кивнула, пошла в коридор.

Кэтрин ждала ее, качала ногой.

— Давай.

Оленька села и посмотрела на часы. Без пяти девять. Дома будет не раньше десяти. С тех пор, как к Володику переехала, так поздно она еще не возвращалась. В смысле, одна не возвращалась. Оленьке захотелось домой.

Кэтрин листала книгу, искала что-то. Потом нашла.

— Послушай.

— Кэтрин, я же читала...

— Все равно послушай. Послушай, как *я* это тогда слышала. Воображала себя прелестной Кэтрин Баркли, влюбленной в... как его... мистера Генри, он же Хемингуэй. Я купалась в этой их любви. Я была уверена, что и со мной такое случится. А как же не случиться — я же Кэтрин. Даже мечтала фамилию поменять.

Помнишь, она сидела в парикмахерской, ее завивали, и его это волновало? Никого в то время не волновало, как я одета, как причесана. Мне было почти четырнадцать, я уже хотела нравиться, но вместо этого ходила за братом, как нянька, и даже носить мне нечего было: отец мной вообще не занимался. Меня считали просто нянькой. А в книге меня любили. Меня любили, понимаешь?

Оленька кивнула.

— Нет, ничего ты не понимаешь, — Кэтрин заложила открытую страницу пальцем и снова начала листать книгу. — Вот! Вот, смотри!

Она принялась читать — с выражением, с умилением.

« — Знаешь, милый, я не стану стричься до рождения маленькой Кэтрин. Я теперь слишком толстая и похожа на матрону. Но когда она родится и я опять похудею, непременно остригусь, и тогда у тебя будет совсем другая, новая девушка. Мы пойдем с тобой вместе, и я остригусь, или я пойду одна и сделаю тебе сюрприз.

Я молчал.

— Ты ведь не запретишь мне, правда?

— Нет. Может быть, мне даже понравится.

— Ну, какой же ты милый! А вдруг, когда я похудею, я стану очень хорошенькая и так тебе понравлюсь, что ты опять в меня влюбишься.

— О, черт! — сказал я. — Я и так в тебя достаточно влюблен. Чего ты еще хочешь? Чтоб я совсем потерял голову?

— Да. Я хочу, чтоб ты потерял голову.

— Ну и пусть, — сказал я. — Я сам этого хочу».

Кэтрин подняла глаза, они чуть блестели.

— А помнишь, она говорила: «Никакой «меня» нет. Я — это ты»? Помнишь?

Оленька кивнула. На самом деле она помнила только, что ей все эти патетические фразы ужасно не нравились. Наверно, Кэтрин иззавидовалась бы, узнай, как ведет себя Володик: никакого «его» нет, верно подмечено. И что в этом хорошего, скажите на

милость? И еще Оленька подумала, что странная штука жизнь — раздает подарки не тем, кто их просит.

— А вот! А вот еще! — Кэтрин вошла в раж. — *«Понимаешь, милый, я счастлива, и нам хорошо вдвоем. Я очень давно уже не была счастлива, и, может быть, когда мы с тобой встретились, я была почти сумасшедшая. Может быть, совсем сумасшедшая. Но теперь мы счастливы, и мы любим друг друга. Ну давай будем просто счастливы. Ведь ты счастлив, правда? Может быть, тебе не нравится во мне что-нибудь? Ну что мне сделать, чтобы тебе было приятно? Хочешь, я распущу волосы? Хочешь?»*

Кэтрин всхлипнула. То ли от умиления, то ли нервы сдали.

— Ну что ты... — Оленька приподнялась со стула, не зная, как поступить. По руке, что ли, погладить ее?

— Сиди. Сиди, я тебе сейчас прочту то, что хотела. А ты посмотри, посмотри, что я чувствовала. Я же не ждала подвоха, я же глупая была, я же еще не знала, что мир так уродлив, что кругом одно сплошное дерьмо. Да не перебивай ты меня! Я то и дело смотрела, сколько оставалось до конца этой сказки, я думала, что подрасту и напишу продолжение — о том, как они жили счастливо, какие дети у них были замечательные, мальчик и девочка, мальчик моряком стал, а девочка врачом. И я представляла себе, как все будут читать эту книгу, и думала, что надо название придумать не хуже, чем это. Знаешь, какое я название придумала? Знаешь? К нам бабка из деревни приехала, в таких полуваленках. Папа засмеялся и сказал, что эти штуки называют «прощай, молодость». И я так обрадовалась, решила, вот отличное название — «Прощай, молодость», — сразу видно, что это продолжение «Прощай, оружия». А там герои будут уже старыми: тридцатилетними. И книжку я собиралась об их детях написать.

У нее снова начало закипать на глазах — она провела по ним тыльной стороной ладони, вытерла руку о юбку.

— Я не ожидала подвоха. Я ничего не ожидала! Просто читала, и все! Ты помнишь, что там в конце? Нет, я тебе прочту. А ты сиди и слушай. Слушаешь? Слушаешь?

— Да.

Не надо было давать ей книгу.

Кэтрин помедлила, сглотнула — тяжело так сглотнула.

« — У madame Генри было кровотечение.

— Можно мне войти?

— Нет, сейчас нельзя. Там доктор.

— Это опасно?

— Это очень опасно.

Сестра вошла в палату и закрыла за собой дверь. Я сидел у дверей в коридоре. У меня внутри все было пусто. Я не думал. Я не мог думать. Я знал, что она умрет, и молился, чтоб она не умерла. Не дай ей умереть. Господи, господи, не дай ей умереть. Я все исполню, что ты велишь, только не дай ей умереть. Нет, нет, нет, милый господи, не дай ей умереть. Милый господи, не дай ей умереть. Нет, нет, нет, не дай ей умереть. Господи, сделай так, чтобы она не умерла. Я все исполню, только не дай ей умереть. Ты взял ребенка, но не дай ей умереть. Это ничего, что ты взял его, только не дай ей умереть. Господи, милый господи, не дай ей умереть»...

Кэтрин плакала. Нет, не плакала — она ревела, как ревут дети, еле проговаривая слова, растягивая их, бурля соплями в носу.

Оленька тоже заревела.

36

« — Уходите отсюда, — сказал я. — И та тоже.

Но когда я заставил их уйти и закрыл дверь и выключил свет, я понял, что это ни к чему. Это было словно прощание со статуей. Немного погодя я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем».

Оленька ехала в метро. Она специально перечитала концовку.

Несколько сонных личностей дремали в пустынном вагоне.

Оленька подумала, что завтра сделает что-нибудь хорошее для Кэтрин. Например, купит ей цветок. Она сто лет не покупала цветов.

Они пойдут куда-нибудь. Например, в симпатичный барчик

недалеко от «Пушки», где когда-то Володик нервно признавался ей в любви, глотая коньяк цвета густого меда: рука подрагивала, и долька лимона билась о стенку стакана. За спиной у него была сцена, и Оленька краем глаза смотрела, как гитарист ловко перебирает пальцами по струнам. Оленька с удовольствием вернулась бы туда. Можно посидеть с Кэтрин, музыку послушать. Пускай развеется.

Можно в Дом художника с ней пойти.

Или в кино. Отчего бы не в кино.

37

На тетке было несколько кофт и телогрейка. Пока Оленька выбирала цветок, тетка топала и обнимала себя на манер смирительной рубахи: крест-накрест. Оленька подержалась за один, другой холодный живой ствол. Это было так непривычно — разглядывать, доставать из узкого длинного ведерка нежную маленькую вселенную, где среди лепестков заблудилась, замерзла микроскопическая мушка... «нет, не то». И Оленька все никак не могла выбрать, пока тетка не вытащила из гурьбы соцветий белую розу, совсем небольшую, и стебелек был утыкан едва жесткими иголочками, небольно вонзавшимися в пальцы.

На работе Оленька первым делом направилась в курилку и извлекла из лежащего в углу хлама пыльную пузатую вазочку — узкое горлышко, а потом — будто ваза присела на корточки; дно было замшелым, ну да все равно.

Сперва поставила цветок Кэтрин на стол, рядом с лампой. Вазочка запотела от холодной воды, и Оленька подложила под влажное дно сложенный вчетверо лист бумаги.

Кэтрин задерживалась. Оленька вдруг подумала, что, если сейчас кто-нибудь зайдет в комнату, сразу станет ясно, откуда роза. И это вызовет здоровое удивление. Встала, перенесла тяжеленькую вазочку к себе. Цветок отбрасывал еле слышный запах — так отбрасывают тень, что-то совсем, совсем неуловимое.

Кэтрин и к обеду не явилась. Оленька развернула свои бутер-

— Кэтрин, я же тебя понимаю. Веришь, нет — я в детстве думала, что тучи живые. И что они когда-нибудь на землю опустятся и задавят нас. А молнии — это от злобы, что у них пока не получилось. Так что и я, если хочешь, боялась умереть от дождя.

Кэтрин ковыряла сухарь — тянула ногтями изюминку, но та не поддавалась.

— В тринадцать лет я слабо себе представляла, как дети делаются. Поэтому «просто» боялась забеременеть. Откуда-нибудь. У меня долго никого не было, я от кавалеров как черт от ладана шарахалась. И когда кто-то принимался названивать и цветы дарить, мне казалось, что вот она, беда в ворота. А потом я все-таки залетела, как молодежь говорит. В двадцать пять. И плохо так было, тошнило, и я все думала — оно. Ну и не доносила, то ли спазм у меня от страха случился, то ли еще что. Но тогда это облегчением стало. Там еще получалось, что роды на осень приходились, ну ты понимаешь. — Кэтрин кинула в чашку таблетку искусственного сахара, та зашипела, пошла пузырьками. — Ненавидела я этот дождь, а вот теперь мы с ним соседи по лестничной клетке.

Кэтрин отхлебнула чая. Оленька молчала.

— Знаешь, есть соседи, с которыми всю жизнь в одном доме живешь и привыкаешь к ним, к их странностям. Дед обитает дверью напротив, и когда у тебя в семье скандал, он в курсе дела. Он знает, во сколько ты домой возвращаешься и кто к тебе ходит. Ему делать нечего, и он в «глазок» глядит, когда лифт на этаже останавливается. И говорит он тебе всегда одно и то же, часто именно то, чего ты слышать не желаешь. Ну, какую-нибудь свою стариковскую гадость. Вот и дождь этот дурацкий для меня — как тот старикашка. Приходит и шуршит за окном: нет ребенка, нет ребенка. Или лупит по стеклу: одна, одна. Так и слышу: Кэтрин, Кэтрин, Кэтрин. Ненавижу это имя, эту книгу, отца своего ненавижу, покалечил меня. Это из-за него, только из-за него я проиграла жизнь. И старикашка всякий раз напоминает. Хоть я и так помню. Но это как пальцем в рану. Уээл... привыкла.

Она говорила скорее устало, чем горько.

Оленька подумала, что Кэтрин совсем не истеричка, как ей показалось два дня назад.

— Заберешь цветок?

41

«Вытащить бегемота из болота» оказалось задачей куда более легкой, чем думалось Оленьке. Кэтрин готова была идти куда угодно, она звонила Пете и давала ему строгие указания по поводу папиной кормежки. Сходили на выставку в какую-то разрекламированную галерею (не понравилось) и на показ мод молодых дизайнеров (Оленькина однокурсница Юля пригласила). Юля оглядела Кэтрин, и Оленька подумала, что глупее глупого было тащиться туда, где с одеждой не шутят. Кэтрин все просекла, стянула губы в нить и затаилась. Разговорить ее удалось только на обратном пути.

— Кэтрин, ну ты же сама знаешь, что махнула на себя рукой. Займись собой, в конце концов. И выброси ты этот дурацкий плащ, ему сто лет в обед.

— Нормальный плащ.

— И не затягивай его так, на тебя смотреть больно. Тебе дыхание не спирает, нет?

— Талия — это все, что у меня от молодости осталось. — Кэтрин помолчала и ехидно добавила: — Это потому, что я не рожала!

Типа, недолго тебе радоваться, разнесет так, что мало не покажется.

Оленьке расхотелось давать Кэтрин советы. А на следующий день она сказала, что ей надо к мужу, болеет как-никак.

42

Потом Володик вышел на работу и снова стал забирать Оленьку.

ла бы нормальная жизнь. — Губы поползли. — Вот скажи мне, зачем я живу?

— Кэтрин, ну как я могу...

— Не можешь, правильно. А знаешь, почему?

— Ну и почему?

— А потому что тебе все равно.

— Кэтрин, прекрати.

— Уээл... Ясно мне все.

И Оленька понимала, что надо помалкивать, но не выдерживала, закипала:

— Что? Что тебе ясно?

Кэтрин не удостоивала ее ответом. Отставляла чашку, сажала на нос окуляры.

У нее делался вид переводчика, чрезвычайно поглощенного своим нелегким трудом.

44

Кэтрин взяла манеру звонить по выходным.

— Ну? Что делаешь? — спрашивала умирающим голосом.

Чтобы ее развеять, Оленька принималась рассказывать какой-нибудь фильм, принесенный Володиком из проката и просмотренный «вот только что». Потом как-то удавалось избавиться, «завтра увидимся — поболтаем». Завтра, на работе.

В «Глобусе» про Оленькину беременность уже знали. Никто в глаза не шипел, да и что шипеть, ведь нашли замену-то. Когда Кэтрин надувала губы (без этого никуда), Оленька боялась, что та возьмет да и «потеряет» телефон юной корректорши. И даже бросила в запале, мол, я не удивлюсь, если...

Кэтрин обиделась. Она по-настоящему горько обиделась. Это было видно.

Да, она была занудой. Малость тронутой. Какой угодно, только не подлой.

В тот день Оленька попросила Володика заехать попозже и очень мило посидела с Кэтрин в кафе у метро.

45

Когда живот прилично вырос, Оленьке позволили брать работу на дом. Володик приезжал в редакцию, забирал тексты, сдавал вычитанное. Кэтрин звонила, справлялась о здоровье.

Потом у Оленьки начался отпуск по беременности, и она просто сидела дома, спала много. Кэтрин ненадолго оставила ее в покое, а потом взялась за старое.

Услышав в телефонной трубке первые брюзжащие переливы, Оленька торопливо заявляла, что явился Володик (свекровь) и ему (ей) срочно надо позвонить. Кэтрин, не будь дура, смекала, что дело нечисто.

— Хочешь от меня избавиться, да?

— Нет, Кэтрин, что ты. Просто муж обещал одному мужику с работы, что до... девяти что-то там ему сообщит. — И добавляла недовольным тоном, чтобы совсем запутать: — В этом доме я даже не могу по телефону поболтать!

Кэтрин не верила. А Оленька не решалась просто положить трубку.

— Пока? — мямлила она.

— Все ясно, — заявляла свое коронное Кэтрин.

— Кэтрин, я не могу говорить. Я тебе звякну.

Оленька не звонила. Вернее, звонила, но редко. Чтобы все-таки проведать.

Когда трубку брал папа, Оленька говорила «извините» и давала отбой.

— Я твоего отца боюсь, — признавалась она. — После того, что ты рассказала...

— Ты мне звонила! — Кэтрин так радовалась, что Оленьке стыдно становилось. — Да я же дома была, просто телефон не услышала! Весь вечер просидела, проскучала. А папу ты не бойся.

Конечно, Оленька не боялась. Но «папа» позволял ей сказать с почти чистой совестью: «Я тебе звонила».

Другими словами: «Я о тебе помню».

Другими словами: «Ты не одна».

И еще другими словами: «Ты не *сдохнешь*, Кэтрин. А если... то это будет не к нашей радости».

Вот какая начинка у примитивной фразы «Я тебе звонила». А папа — это всего лишь непреодолимое препятствие. Ничего страшного. В другой раз поболтаем.

46

— Тебе нельзя волноваться! Я скажу ей, чтобы она телефон наш забыла! — Володик кипятился, долго же до него доходило. Подруг разогнал, а Кэтрин чуть не прощелкал. — Я думал, она взрослая женщина, у вас деловые контакты! На тебе лица нет!

Конечно, лицо на Оленьке было. Только серенькое такое лицо. До родов оставались считаные дни, на Оленьку то и дело накатывали волны тихого ужаса. Она всегда боялась боли.

Тут-то ей и понадобился Володик. Он сидел с ней, держал за руку, говорил что-то мягко и уверенно. «Мне страшно», — мямлила Оленька. И он всякий раз отвечал ей что-нибудь вроде: «Ну ты же у меня храбрый заяц» или «Ну я же с тобой».

В тот день Кэтрин позвонила, когда он был еще на работе. А Оленьке так хотелось внимания, прямо сейчас.

— Кэтрин, я боюсь. Мне сегодня снилось, что ночь, я бегаю с животом по каким-то пустынным улицам, ищу больницу, вот-вот рожу, а кругом пустыри, и в домах нигде окна не горят, и муж куда-то пропал. Захожу в будку, пытаюсь звонить маме, и попадаю на какую-то старуху, и почему-то все хочу узнать у нее, наш ли это номер, а она хихикает и не говорит... И еще собака за мной уцепилась. А я думаю — вот родится у меня ребеночек, а собака его и съест. Я закрылась в будке и решила, что там и стану рожать. И последнее, что помню, — будто уже все начинается, и глаза собачьи через стекло. И в глазах что-то такое нечеловеческое...

— Да... Не к добру.

— Что?

— Не к добру, говорю, сон. Но, может, обойдется. Сегодня у

нас... пятница? Мда. Сон с четверга на пятницу... А я дозвонилась Коле. Только что.

— А-а...

— Оля, он даже трубку не взял! Я слышала, отчетливо слышала, сказал секретарше: «...ня нет».

— Нянет? — тупо повторила Оленька.

— В смысле «меня нет», я обрывок слышала. Что я ему сделала?

— Я не знаю, Кэтрин, — Оленьке захотелось лечь. Она подумала, что и правда — сон с четверга на пятницу, жди беды.

— Значит, не знаешь.

— Нет. Никто никому ничего не делает. Просто все кончается когда-нибудь.

Кэтрин вздохнула. Так вздыхают, набрав много воздуха и выпуская его короткими порциями, потому что в горле ком и ком мешает.

Обе молчали, и Оленька решила, что первой и слова не скажет. Но играть в молчанку было глупо.

— Ты еще на работе?

— Да, — загробное. — Сейчас домой потащусь.

— Ну давай.

Молчание.

— Кэтрин. Пройди по улице, развейся.

— Там холод собачий.

Собачий. Глаза через стекло.

— Кэтрин, иди домой, а завтра созвонимся.

— Не хочешь со мной говорить?

Когда пришел Володик, на Оленьке было лицо. Только серенькое такое.

47

Оленька сидела у окна и рассеянно смотрела, как ребятишки в парке играют в салочки. Одна девочка всякий раз, когда ее догоняли, останавливалась и закрывала голову руками.

Воскресенье. Вечернее солнце.

Когда зазвонил телефон, Оленька позволила мужу подойти, снять трубку и сказать: «Ее нет».

Она знала, что Кэтрин не поверит, но ей было все равно.

48

«Роды прошли успешно», — однообразно сообщала свекровь, наяривнй номер очередной подружки. И бурное: «Я теперь бабушка, можешь себе представить?»

Совсем другой мир — памперсы, игрушки, а там, в самой глубине этого мира, — теплый комочек. Степа родился с длинными черными волосиками и крохотными ресничками.

Володик взял отпуск на месяц и сидел дома, нянчился, в прямом смысле слова.

Оленька приходила в себя, хотя выспаться никак не удавалось. От свекрови пользы было ноль, зато много суеты. Постоянно приезжала мама, иногда — с отцом. Свекор притащил в дом заводного медведя, хищно вращавшего глазами, и Степа плакал всякий раз, когда медведя заводили. Не мог привыкнуть.

Восемь месяцев, как один день.

Оленька как-то присела на диван, начала вспоминать. Год назад (будто в прошлой жизни) она работала в «Глобусе-Жлобусе»: Хомяков, Антон Верблюдович, секретарша (как ее?), Кэтрин.

Кэтрин больше не звонила, после того, как Володик...

Даже после родов.

Ну и... ладно.

49

Володика по работе услали на три дня в Нижний Новгород, он обещал позвонить, как в гостиницу заселится. Когда раздался телефонный звонок, Оленька была уверена, что это...

— Хай!

— ...Кэтрин?

— Я ненадолго.

— Кэтрин! Молодец, что позвонила! А я все думала тебе набрать... но, знаешь, так к вечеру забегаешься, сил нет. Как ты?

— Да у меня все о'кей.

— Правда? Вот здорово. А ты...

— А я насчет денег. Премию тебе выписали. Всем выписали — за прошлый год, и тебе тоже. Скажи мужу, чтобы заехал, забрал.

— А много?

— Нет, конечно.

— А-а... Ну и на том спасибо. Я ему скажу.

— Только пускай завтра приезжает. Последний день выдают. Хотела тебе раньше позвонить, но не до того было.

— Да нет, Кэтрин, спа...

— Говорят, у тебя мальчик.

— Степа.

— Хороший мальчик?

— Конечно, хороший... Кэтрин, хочешь, как-нибудь заезжай.

— Не знаю... Некогда мне.

Как-то странно она разговаривала. Больно... благодушно. Оленьке вдруг захотелось поболтать. Немножко.

— А как там моя последовательница?

— Корректорша? Нормально. Приятная девочка.

— А что...

— Уээл... мне идти надо. Муж скоро вернется, а у меня еще ничего не готово.

— Кто? — переспросила Оленька.

50

— Ты замуж вышла?

Кэтрин ответила с глубоким безразличием в голосе:

— Нет. Не замуж. Просто живем вместе. Зачем мне замуж? Я ж не девица девятнадцатилетняя.

— Правильно, — подхватила Оленька. — Бумажки — ерунда. А это случаем... не Коля?

Неужели за восемь месяцев Кэтрин умудрилась познакомиться, полюбиться и съехаться? Нет, это мог быть только знаменитый Коля.

Кэтрин помедлила:

— Да.

— Что, из семьи ушел?

— Ушел.

— А почему? — глупо спросила Оленька.

— Потому что я забеременела.

— Кэтрин!

— Да.

— Кэтрин, ну какая ты молодец! Вот видишь? Видишь? Я же тебе говорила! И как ты? А вы что, снова тогда встречаться начали?

— Начали, — Кэтрин была довольна; довольна, как обожравшийся рыбы кот. — Уже пять месяцев. Живот огромный.

— Ну уж и огромный. Помнишь, у меня...

— А у меня — огромный! Коля крупный мужчина!

— Кэтрин, ну ты чего, тебе нельзя нервничать. Огромный так огромный.

Кэтрин сразу успокоилась и сказала миролюбиво:

— Пойду я. Не забудь мужа в бухгалтерию заслать.

Оленька вспомнила, что завтра днем собиралась заехать мама — на пару часиков. Пока она будет здесь, можно смотаться в редакцию. Деньги нужны.

51

Выходя из дома, Оленька заметила зонт, который когда-то одалживала у Кэтрин, да так и не вернула: торчал из-под свалки барахла на обувном ящике. За окном серой марлей полоскалась осень.

— Мам, дождь идет?

Мамин плащ был прохладным, но не сырым.

— Нет, но зонтик возьми.

Оленька сунула Кэтринов зонт в сумку и выскочила на улицу.

Ей так приятно было просто идти к метро, давно она никуда дальше парка не выбиралась. Пускай сыро и серо. То-то Кэтрин удивится, ее увидев. Надо же, как все сложилось, жизнь штука непредсказуемая... Правда, Коля жук еще тот, надо думать: явился на готовенькое. Квартиру, сказала Кэтрин, продадут (прощай, Старый Арбат), купят две большие в Марьино, в одном доме на разных этажах (Петю с папой с глаз долой, но не вон из сердца). Да оно так для всех лучше... И голос у Кэт изменился сразу. Если все будет хорошо, можно «дружить семьями». Кэтрин нормальная тетка. Просто она была очень несчастной, и тут, конечно, мертвый взбесится. А теперь с ней говорить — одно удовольствие. Деловая такая — «муж вернется, а у меня ничего не готово». А как она про плащ сказала... «Ты была права. Коля его выбросил. У меня теперь новый. Бежевый. Только вот на животе еле сходится». — «Ничего, — сказала Оленька. — Через четыре месяца сойдется». И они засмеялись.

Много ли бабе для счастья надо.

52

Когда Оленька вышла из метро, небо было мышиное, влажное. Казалось, там, наверху, медленно наклоняли гигантское алюминиевое ведро со стылой водой. Оленька побежала вдоль бледно-желтых фасадов и пять минут спустя нырнула в калитку, прорезанную в высоких чугунных воротах. Проскочила через двор: на земле под дикими яблонями уже валялось несколько яблочек. На детской площадке бабушка уговаривала внука идти домой, а тот кричал «Не пойду!» и даже ударил бабушку лопаткой.

Оленька дернула тяжелую дверь и оказалась в знакомом узком коридорчике — суковатая палка: сучок справа — бухгалтерия, чуть дальше слева — дирекция, еще дальше справа — нора Хомяка. Оленька стукнула в бухгалтерию.

Бухгалтерша с неизменной бледно-рыжей химией ела беляш, откинувшись в кресле.

— Олечка! Сколько зим! Ну как малыш?

Оленька рассказала немножко. У бухгалтерши на подбородке осталось масляное пятно от беляша, но Оленька не решилась сказать об этом. Она взяла деньги и спросила:

— А Кэтрин здесь?

Конечно, Кэтрин была тут, конечно.

Оленька дошла до их комнаты, там никого не оказалось. На своем столе она увидела ворохи бумаг и подумала, что новая корректорша никуда не годится. У Кэтрин на столе ничего не лежало, только пузатый очечник и ручка. «Наверно, только притопала», — подумала Оленька и положила на край зонтик. А когда выходила, столкнулась в дверях с молоденькой девочкой.

— Извините, — девочка села за Оленькин стол, — вам кого?

— Не знаете, где Кэтрин? — спросила Оленька вежливо, поймав себя на мысли, что здороваться с малолеткой неохота.

— Она вышла покурить.

— Спасибо.

Кэтрин курила, как правило, когда психовала. «Что у нее еще стряслось? — Оленьке пришло в голову, что Кэтрин поругалась с мужем. Скажу ей, что в ее положении о куреве забыть надо». Оленька почувствовала себя зрелой, опытом умудренной.

Она заглянула в курилку, но там никого не было. За окном совсем посерело, и комната походила на склеп. В окне Оленька увидела Кэтрин: та сидела на качелях посреди пустой детской площадки с сигаретой в руке. Похоже, вышла, пока бухгалтерша выспрашивала про ребенка.

Оленька остановилась у окна.

Кэтрин вглядывалась в небо, задрав подбородок. Лицо у нее ничего не выражало. На ней был ее черный плащик, как обычно,

туго стянутый поясом, отчего нижняя часть плаща походила на убогий кринолин. Кэтрин не двигалась, просто сидела и смотрела вверх, окаменевшая, как статуя. Потом по стеклу, прямо у Оленьки перед глазами, саданула первая косая капля. Кэтрин поднялась, отбросила сигарету и направилась к крыльцу.

Оленька слышала, как стихли в конце коридора шаги. Немного погодя она пересекла совсем потемневшую комнату, толкнула неподатливую дверь и пошла домой под дождем.

Часть вторая
ОЛЕНЬКА

1

— Кто ее спрашивает?

Будто он не знал кто. Стоял в передней перед зеркальной дверью шкафа с телефоном в руке. Зеркало отражало усталую физиономию. Усталая физиономия, и на полу — белый детский носочек.

— Ах с работы... А вы в курсе, сколько времени? Будьте любезны, после одиннадцати звоните ей только на мобильный.

Вот так смотришь в зеркало и чувствуешь себя дерьмом. Полным дерьмом.

— Не отвечает? А что вы от меня-то хотите? Ее нет.

Твою жену зовет к телефону хам, с которым она путается, и ты прикидываешься, что раздражен из-за позднего звонка.

А что еще делать? Дуэль? «Господин Главный редактор, или как вас там, пожалуйте к барьеру». У Степки как раз пара пистолетов завалялась, палят пластмассовыми шариками. Довольно больно. Можно на сабельках из фольги поупражняться.

Четвертый месяц абсурд этот длится. Хотя что тут абсурдного? Будто он не знал, что сбежит она, поздно, рано ли. Выходит, что не так и рано оно все закрутилось. Степке скоро пять.

Забыла в сумке мобильный, ускакала к Алене. Сидит там третий час. Она или является после полуночи, или у Алены торчит. Иного не дано. А мобильный весь вечер — тирлинь-тирлинь — придушенно. Если сейчас зазвонит — ответить.

Сказать: встретимся, что ли, Главный редактор? А, Николай Сергеич?

Откажется — значит, трус. Значит, дела ему до Ольки нет. Согласится...

Тирлинь-тирлинь.

Дернуть «молнию» на сумке, нырнуть рукой в нутро, тирлинь-тирлинь звонко выплескивается. Где ж этот телефон... Пальцы шарят во внутренностях: ручка, кошелек, блокнот, платочки бумажные, упаковка лекарства, флакончик духов (сам выбирал). Тирлинь-тирлинь, еще чуть-чуть — и автоответчик включится. Подхватить неловкими пальцами: маленький дамский телефончик, скользкая рыбешка, вырывается, переливается, верещит.

Смелость это или отчаяние?

— Алло.

В телефончике, в серебристой рыбешке, — замешательство. Но трубку не бросили.

— Простите? Я думал, что на мобильный звоню. На сей раз.

Удивительное дело. Голос спокойный. Низкий, можно сказать, красивый голос, но главное — твердый. «На сей раз», — с такой дружественной усмешкой. Мол, не хотел более беспокоить, прости великодушно, брат, ошибся. Этот тип будто в дом к кредитору звонит, а не к человеку, у которого рога скоро под шапку не влезут. По его милости. А вот ему, Володе, не по себе.

— На сей раз — на мобильный. Ольги нет... Слушайте... Я знаю... Я хотел бы...

В серебряном телефончике тишина, но она наполнена чем-то. Чем только, не понять.

— Я встретиться хотел бы. С вами.

Пауза. Никак на том конце думают — пойти сохатому навстречу или вышутить его.

Затем — ровное:

— Хорошо. Завтра я буду в редакции, скажем, в половине третьего. К трем уже народ начнет подтягиваться. Полчаса устроит?

— Да.

Пауза.

— Ее действительно нет. Она у подруги, на другом этаже.

— У Алены?

Осведомлен, черт. Или это демонстрация силы? «Знаем мы все про подруг, и какой кафель у вас в сортире, тоже в курсе. Наблюдали». Чего ж ему теперь церемониться. Карты на столе, король-дама-валет.

— Вы хорошо информированы.

Еще одна короткая пауза. Самое время завестись и затеять перепалку.

— До завтра.

Не успел ответить — трубку положили.

2

С Аленой Оленька познакомилась во дворе — гуляла со Степой, а Алена вывезла на коляске Юлю. Алена шла по тротуару со скоростью задумавшейся черепахи, смотрела в небо. Коляска — пузатая сиреневая, увешанная рябящими в глазах финтифлюшками, мечта младенца, — катилась, подцепив на колесо невесть откуда взявшийся жухлый лист.

Оленька заулыбалась Алене издалека — мамаши, чад выгуливающие, популяция особая, они быстро сходятся, у них всегда есть тема для разговора, они нужны друг другу. Им скучно. Оленька скучала не меньше прочих, и даже больше: дом был новый, полупустой, и рядом стояли два подобных; гулять приходилось порой в полном одиночестве. Степа страдал в первую очередь. Ему было невесело до такой степени, что, завидев сиреневое чудо на колесиках, он бросился к нему, непонятно на что надеясь. Вдруг оно явит нечто говорящее, способное кататься с горки?

Алена не видела ни Оленькиных приветственных улыбок, ни топавшего навстречу Степана. В коляске поверх одеяла лежал листок бумаги и карандашик. Маленький карандашик из ИКЕА. Алена сочиняла стихи.

Когда стихи лились легко, она бросала все, недопеленывала Юльку, картошку варившуюся забывала на плите, и они шли тре-

щинами в высохшей кастрюльке: злые жгучие картошины. Потом Юлька допеленывалась, картошка стыла: Алена бродила с улыбкой блаженной, ждала, когда можно будет перечитать. Сразу никогда нельзя, надо отстраниться, чужие глаза нацепить, отвлечься, отвыкнуть от текста. Стихи она никому не показывала. Вообще никому. Потому что если окажется, что нехороши они... Нет, лучше подождать еще три года. Как тридцать стукнет, она соберет самые лучшие и отправит в какой-нибудь толстый журнал. И тогда все выяснится. Тридцать лет — рубеж: начало нового, старому конец. Или дальше идти, в новом качестве, или — уже больше никогда ни строчки, никогда.

Алена катила мягко покачивавшуюся на рессорах коляску, Юлька посапывала, по небу ползло растрепанное, будто со сна, облако, и Алена пыталась приручить этот образ — облако, задремавшее над океаном и проснувшееся над уродливыми городскими высотками: изумленное, спешащее прочь. И Оленька прошла бы мимо этой странной блондиночки, и не случились бы полночные посиделки на Алениной кухне на головокружительной высоте двадцать первого этажа, и разговоры, и все-все, если бы Степа не вцепился в край сиреневой коляски с криком: «Кто в теремочке живет?» — Алена очнулась, Оленька схватила Степу, Юлька захныкала, а Степан, обесенев, заладил страшным голосом: «Хомяк! Хомяк!» — и пытался запустить пятерню в коляску.

Юльку прозвали хомяком, а Степана записали в женихи. В тот день жизнь дала замечательный крен: Оленька приходила с работы, укладывала Степу и взмывала в лифте на двадцать первый этаж. Володик (последние два года неохотно отзывавшийся на Вовку) поначалу обрадовался новой компании, в первый же вечер позвонил Оленьке на мобильный и отрапортовал: Степка спит здоровым детским сном, я поднимусь к вам ненадолго?

Его встретили сдержанно. Он обошел небольшую двушку, до ума, как и все квартиры здесь, не доведенную, но уже обжитую (когда весь день сидишь дома, чего ж не обжить), похвалил планировку (кто ж ей на все это деньги дал?), восхитился видом из окна и поймал злобный взгляд Оленьки.

Оленька ратовала за верхние этажи, а он настоял на третьем, на одной из двух квартир, выходивших окнами на крышу пристроенной к дому аптеки. Размером этот козырек представлял собой площадку, на которую мог спокойно сесть вертолет, и начисто перекрывал вид из окна. Аргументы у Володика были железные: напополам с соседями получим в пользование огромный кус, о котором другие жильцы только мечтать будут. Летом там можно загорать, обедать на свежем воздухе, Степке наливать резиновый бассейн. Гостей слишком много? Пожалуйте на крышу. Зимой в снежки можно играть, буквально из дома не выходя. А еще поставим кадки с искусственными цветами, и круглый год за окном будет райский сад, поливать не надо. Словом, уговорил, заболтал, как обычно.

Яйцо шмякнулось точно на вынесенный столик, на нежно-голубую скатерть по случаю приема гостей. Рассесться не успели: Володик демонстрировал доставшуюся с колоссальной скидкой душевую кабину (две внушительные царапины на дверце), Оленька была на кухне, а вот Степа крутился возле стола на козырьке. Видимо, хулиган метил в Степана, не соображая, что яйцо, пролетевшее не один десяток метров, оборачивается камнем, из пращи пущенным. Обедать на улице расхотелось.

Великовозрастный балбес какое-то время еще переводил продукты, но потом был пойман на очередной тренировке в меткости. В качестве приманки вытащили на козырек Степанов бассейн, и Володик отправился в засаду — на лавку напротив дома. Не прошло и получаса, как приманка сработала: с девятого этажа полилась тонкая молочная струйка, быстро разбивавшаяся на капли, относимые ветром прочь от цели. Ввиду такой незадачи в ход пошел весь пакет: почти полный, он впечатался кирпичом в бассейн и погнал за борта волну, булькая и изливаясь белым. Едва насладившись зрелищем, злодей дальновидно балкон покинул: повинуясь условному рефлексу, вот-вот выскочат хозяева и начнут задирать головы.

Володик ожидал увидеть тринадцатилетнего обалдуя и был сражен, различив на балконе косматого старикана. Звонок в

дверь на девятом результатов не дал: в логове завозились и затихли. Ближе к вечеру Володик снова поднялся на этаж. Открыли сразу: приятная женщина улыбалась, вырвавшийся на лестничную клетку сеттер прыгал вокруг, и было ужасно неловко объяснять причину визита. Володик мялся, и приветливое выражение на лице женщины сменилось на озабоченное. «Видите ли, я живу на третьем этаже...» — начал было, но женщина перебила: «Кидается?» — «Да», — с облегчением констатировал Володик. «Та-а-ак», — угрожающе протянула она, обращаясь куда-то в нутро квартиры. Оборачиваясь, она приоткрыла дверь, и там, в глубине, на мгновение мелькнули седые патлы и испуганные глаза. Женщина выскользнула на лестничную клетку. «Вы уж нас извините. Мы же специально выбрали сторону с козырьком. Он на старой квартире прохожим покоя не давал, и запирали его, и продукты — под замок, всё без толку. Он целый день дома один, скучает. А тут, думали, у него повода не будет... — Женщина внимательно посмотрела на Володика и внезапно окрысилась: — А зачем вы на крышу лазаете? Это запрещено. И пожилого человека провоцируете. Я на вас жалобу могу подать». Володик опешил: «Это вы — на меня жалобу?» — но тетка пихнула руки в боки, и жест Володик понял правильно. Он отступал, а тетка шла не него волной, трындя: «Что вы тут себе выдумали? Крыша аптеки к вам отношения не имеет! Я вот сообщу кому надо, хитрые какие, рассчитали, квартирка с прицепчиком будет?» (Формально тетка была права. Козырек находился полуметром ниже пола. Володик не поленился, смастерил лесенку с широкими ступеньками, с низкими перильцами — чтобы Степа не свалился. «Кто там следить станет», — размышлял Володик, записываясь на квартиру.) «Он вас отучит шастать по крышам!» — это было последнее и, надо сказать, пророческое, что слышал Володик, уносимый лифтом вниз. Кто этот «он», так и осталось неясным — то ли отец, то ли дед женщины. А может, какой приблудный бедный родственник в маразме. Чего только не бывает.

— Какая красотища тут у вас! — протянул Володик, отходя от окна, и осекся.

— Да-а... — неопределенно отозвалась хозяйка. — Чаю?

3

Алена все заметила. Как ее новая знакомая наблюдала за мужем, замершим у окошка: ждала, чтобы перехватить взгляд, а тот, другой, это чуял и тянул время, но потом все-таки — маленькая дуэль, жалко мальчика, надо предложить ему чаю.

Оленька была ей симпатична. Худенькая брюнетка, прозрачная, этакий крупный кузнечик, угловатый, с острыми коленками. Проговорили час — все больше о детях и еще о доме, о том, что жильцов мало, что скоро, наверно, начнут топить, что вид из окна чудесный, чудесный. В этой Оле была какая-то горечь, какая-то нервная она была немного — вот когда встала у окна и повторяла это «чудесный», что-то не то было в этой Оле. И имя ей не шло, оно хорошо для блондинки, солнышка, что за Оля из такого «кузнеца»? И ведь не хотела, чтобы муж поднимался, непонятно почему. А он вполне мил, не красавец, но и не противный; правда, брюхо уже как квашня лезет, ну да не самое страшное это.

— Володя, вы, наверно, кредит на работе взяли? Оля сказала, у вас трешка. Цены-то какие.

— Не взял, — Володик следил, как бежит из носика заварной китайской чашки гранатового цвета чай, — а выгрыз я этот кредит. Мы теперь в долгу как в шелку. А... а вы? Тоже? Или отложить удалось?

Оленька подумала — еще б о зарплате спросил. Нет воспитания, так уж не будет.

— А мне любовник купил.

— А!

Алена перехватила два взгляда: растерянный — новой знакомой и какой-то неидентифицируемый — ее мужа.

— Он у меня хозяин сырного заводика в Нижнем Новгороде.

— А!

Это «А!» — они уже хором.

— Вообще-то он женат, у него две дочки. Но мне уж больно ребенка хотелось. Это я к тому, что жить тут одна буду.

Оленька подумала: «Какая смелость».

«Сумасшедшая баба», — постановил Володик.

«В нокаут их, что ли, отправить?» — прикидывала Алена, когда новая знакомая сама напросилась:

— У него дочки маленькие, да?

На самом деле, незачем это всё — с чужими. Растрезвонят по дому, потом ни пройти ни проехать. Хотя «кузнечик» премилый, да и сам, видать, с проблемами.

— Маленькие? Да... маленькие...

А впрочем, какая разница. Пускай думают, что хотят.

— Только не дочки, а внучки. Но внучки от дочек, да.

— А!

— Все шестьдесят пять.

— Все?

— Любовнику моему.

— А!

Алена любила словечко «любовник», — как и прочие, что так слух коробят. «Сожитель», например. В этих словах есть правда. Простая, одноклеточная, но правда.

«Сумасшедшая баба», — повторил про себя Володик.

4

Иосиф Александрович Кочур, за год до Большой войны рожденный, был назван в честь Вождя. Имя свое он не любил, но не потому, что испытывал неприязнь к еврейскому народу, это имя породившему; просто оно казалось ему незвучным, глухим каким-то, да и опять же, Вождь некоторым мерещится, хотя некоторым и Бродский.

В Алену Иосифу Александровичу верилось с трудом. Мираж не исчезал вот уже два года — невольно поверишь, но уж слишком красиво. Когда познакомились, ему было шестьдесят три, а ей двадцать пять. Поначалу думал — деньги ей нужны, затем осенила мысль, что с самооценкой у девчонки нелады: с ровесниками не выходит, а здесь молодостью брать можно. Потом гадать перестал: привязался, решил, будь что будет. Единственно, жену травмировать нельзя, не для того она годами по гарнизонам за

ним, военным, — сайгаком, не для того семь лет назад выхаживала его, в аварии раскроенного, чтобы после за дверь выставили, как сгоревший телевизор. Вдобавок: у девочки блажь пройдет, и что тогда? Дети отвернутся, внуков не видать, одному до конца топать.

Когда Алена объявила, что беременна и аборт делать не собирается, Иосиф растерялся. Идея ее переезда в Москву появилась не сразу; поначалу он думал купить ей квартиру здесь же, в Нижнем, однако все сомневался. Город, конечно, немаленький — полтора миллиона, — но он человек известный, и без того тайные встречи нет-нет да и грозили стать явными. Однажды шофер отвез домой, Иосиф потаился в подъезде пару минут и двинулся на поиски такси; при попытке поймать машину был взят с поличным — старшей дочерью. Объяснил, что забыл в офисе мобильный, а ему на него вечером будут звонить, звонок важный. Но не гонять же десять раз шофера. Дочь умилилась папенькиному человеколюбию и заявила, что поедет вместе с ним, ей надо «поговорить без мамы». И ведь поехала. На полпути мобильный затренькал, звонила обеспокоенная жена. Пришлось изображать рассеянного и для верности впечатления изобразить «потерю» болтавшихся на носу очков. («Стареет отец», — сказала потом дочь матери, а та передала Иосифу, с грустной улыбкой.)

Иосиф молодел, пускал из-под заскорузлой коры веселые зелененькие побеги. Жизнь прыгала звенящей монеткой: он научился отправлять эсэмэски, слал их пригоршнями, чирикая на птичьем языке латиницы, перекашивавшей любую ласкательную фразу; врал дома, ссылаясь на новую разработку, требующую времени и поездок. Оказалось, что, как в молодости, некуда податься. Видеться в общественных местах было рискованно (гостиницы включены); Алена жила с бабкой, и вариант «гостей» представлялся поначалу невозможным: ехали на природу, на дачу. Потом начали встречаться в других городах: Иосиф летел в Петербург («пять встреч за два дня, никакого покоя!»), а следующим рейсом приземлялась Алена. Париж и Уфа раскрывали им объятия. А потом их раскрыла и Аленина бабушка.

Назвать бабушкой Нину язык не поворачивался. Когда появилась Алена, ей было всего тридцать семь (мать родила Алену в двадцать, а вот бабуля отличилась: в семнадцать лет уже вовсю стирала пеленки, обманутая в лучших чувствах морским офицером). Алена звала Нину просто по имени. На момент знакомства Алены с Иосифом Нине исполнилось шестьдесят два, баба-ягодка едва. Едва, но, прошу заметить, ягодка. К противоположному полу у Нины интерес наблюдался перманентный, и когда она в один дождливый день явилась домой раньше обещанного, то застыла на пороге кухни, увидев сидящего с вилкой в руке «очень еще ничего» Иосифа. На столе стояла жестяная банка ананаса в сиропе, и Алена с Иосифом вылавливали из нее бледно-желтые пахнущие медом полумесяцы. Иосиф тоже оцепенел, не донеся полумесяц до места назначения.

— Нина Петровна, моя бабушка, — не моргнула глазом Алена. — А это мой научный руководитель, профессор Кочур. Помнишь, я тебе о нем говорила?

Нина помнила, но, похоже, что-то путала. Алена зачем-то полезла в аспирантуру и там сдуру связалась со строгим преподавателем, который взялся за нее засучив рукава: даже на дом пришлось ездить несколько раз. Только вроде бы это женщина была. Фамилия точно Кочур, Алена еще говорила, что скоро «окочурится» и порывалась из аспирантуры позорно сбежать.

— Здрассьте, — Нина благоговела перед суровыми мужчинами: когда вот так вот зыркнет — и душа в пятки. — Алена, ну что ты сразу — «бабушка, бабушка». Ну где ты тут бабушку видишь? — Нина вопросительно хихикнула. — И тебе что, угостить разве нечем? Я сейчас.

И она потопала якобы мыть руки, а на самом деле, как сама говорила, причепуриваться. А что? Может быть все, что угодно. Выглядела она лет на двенадцать моложе своего возраста, а что до идеи, будто мужчина в летах всегда себе юницу найдет, так это слова. Юницам юнцов подавай — кому нужен антиквариат? А если какой дурочке и приглянется, дурочка взрослому человеку на один зуб, так что тоже не конкуренция.

Алениным научным руководителем была Ольга Эгидиюсовна Кочур, супруга Иосифа. Это к ней Алена ездила на дом, где и состоялось роковое знакомство.

— Не выпадай из инициалов «О.Э.» и говори о поэзии, — успела шепнуть Иосифу Алена, когда Нина, сменившая тапки на туфли, вплывала в кухню.

Иосиф встал и отвесил легкий поклон.

— Оо...сип Ээ...мильевич.

— Как Мандельштам! — воскликнула Нина.

5

Эти забавные эпизоды стали припоминаться Алене после ухода гостей. А ведь бабушка втрескалась в Осю не на шутку. Он был годом старше, что, впрочем, ее только огорчило: помнится, в сорок семь Нина отхватила себе тридцатипятилетнего лоботряса, который прожил у нее полгода, после чего был выдворен; а совсем недавно она была замечена в парке в обществе соседа с первого этажа — тот еще подарочек, — в сорок шесть выглядит на шестьдесят четыре, одна волосина с другой аукается, брюхо как у беременной. И вот теперь Нине понадобился Иосиф, вернее, Осип Эмильевич, профессор кафедры экономики и менеджмента Волжской академии водного транспорта, жуткий «зверь».

— Люблю я таких мужиков, Алена, люблю. С виду приветливый, этакий галантный. Но на деле...

— На каком таком «деле»? — Алене и смешно было, и неловко. Все-таки бабушка.

— Ты же сама говорила — «окочурюсь», «окочурюсь»... — Тут у Нины потемнели глаза. — Я сама была бы не против — *«окочуриться»*...

Мужчины давно замечали Нине — в порыве страсти у нее темнели глаза. Это завораживало «пациента». (Почему Нина называла ухажеров «пациентами», Алена так и не выяснила.)

В тот первый вечер Нина настрогала бутербродов (к готовке она склонности не имела, как, впрочем, и Алена: они жили в су-

ровых походных условиях) и принялась выяснять у Иосифа, пишет ли тот стихи. Отрицательный ответ ее удовлетворил.

— Вообразите себе несчастного с фамилией, скажем, Гумилев. Ведь ему заказано сочинять. Вам, как Осипу Эмильевичу, тоже нежелательно... — Нина помедлила. — А мне вот можно.

Наступила тишина, и чуткий Иосиф уловил «волну».

— А вы, наверное, и сочиняете. Угадал?

— Угадали!

Нина ждала, что гость попросит «почитать вслух» и она откажется. Но под конец, если все будет так же мило, «сдастся». Прочтет ему «Белую чайку» и «Где ты, любовь?».

Иосиф скосил глаза на Алену и понял: ни в коем случае ничего не просить. Никаких чтений. Ни за что.

Он кашлянул и промолчал.

Нина отнесла молчание к внутренней суровости «пациента», потемнела глазами и, не желая оставлять тему, сообщила:

— А вот Алена тоже стишками балуется. Это у нас наследственное. Только она никому не показывает. Даже и не просите читать. Что до меня, то я никогда не против. Для кого пишем-то? Для людей...

От этого «пишем» Алену передернуло. Нина уже без малого полвека неутомимо строчила всякую белиберду типа «Белой чайки» или «Замерзшего сердца». «А какие еще чайки бывают?» — как-то спросила Алена и получила исчерпывающий ответ: «Чайка — это птица. А белая чайка — это символ. Символ женской души, ждущей своего...» («пациента», — продолжила про себя Алена).

Свои стихи Алена показала Нине лишь однажды, давно еще. Была раскритикована в пух, и с тех пор никто написанного Аленой не видел. Как-то в компании ее попросили прочитать что-нибудь, и она выбрала — вместо собственных — пару стихов Лоуэлла, которого никто не знал и которым никто не проникся. Пока читала, фисташки грызли. Алена вынесла из этого, что пичкать никого не надо ни своими опусами, ни даже любимой английской поэзией. Сама она писала просто потому, что это была ее форма

существования. Без гуляющих в голове рифм жизнь казалась бы ей, наверно, бледной. Да еще и это — от прожитого дня остается след, наскоро нацарапанные строчки, а значит, никуда он не канул, этот день, он не бесцельный, не бесследный. Взять Лоуэлла: его дни тихонько стоят у нее на полке. Дождливые, солнечные, ветреные — гарвардские дни пятидесятых...

«Гарвардские дни». Для нее это просто два слова, красивое созвучие. Но слов достаточно: ей никогда не хотелось слоняться по земле. Ведь реальность всегда в хвосте у воображения. Свою картину мира Алена рисовала сама: ее любимая Эмили Дикинсон писала стихи, вообще не выходя из дома, жила затворницей, а знаменитой стала.

Алена сближалась с людьми неспешно, и часто до дружбы дело не доходило. С Олей-кузнечиком с третьего этажа, размышляла она, пожалуй, вышло бы приятельство. Правда, поводов для общения пока никаких, кроме как — книжки. У Оли их много, переводных, с прошлой работы. Конечно, сейчас чего только не найдешь в Интернете, но «бумажная» книжка всегда приятнее. Кузнечик заскочит на днях, занесет. Странная они пара с этим Володей. Какой-то он... никакой. А Оля — будто обожглась только что, будто бежать ей надо, боль остановить. Да вот не бежит почему-то.

Именно из-за этого они и могли бы сойтись. Будто температурящий кузнечик вызывал любопытство у диковатой Алены, не умевшей ни знакомиться, ни поддерживать отношения.

Алена постоянно задавала прямые вопросы и говорила правду, которую не просили. И когда Оленька снова пришла на ее кухню — с обещанными книжками, Алена поставила на стол тарелку с кубиками сыра, заварной чайник с каркаде, кисленьким «красным чайком», от которого скривился сосед Володя, — а Алена только его и пила, — и, разливая по чашкам гранатовую жидкость, осведомилась, будто речь шла о погоде:

— Не скажешь, что ты с ним делаешь?

6

Знала «об этом» только подруга Женька да мама. Да и те, похоже, не связывали причину со следствием: «это» — с поспешным замужеством. Значит, никто и не знал.

Иногда хотелось выговориться. Но еще чаще — забыть. И не в милом, полусонном мирке новой знакомой вываливать все это. Когда Алена сказала, что квартиру ей купили, первой мыслью было: вот еще одна беспроблемная. Обидно, когда ты никуда выбраться не можешь, похоронен под кредитом на годы, а другим все в лапы сыпется, только подставляй корыто. На днях на работе рассказывали: один прикупил подружке трехкомнатную возле Садового кольца, понятно — ремонт, мебель... Но мало того: еще и сестрице подружкиной хатку приобрел — правда, не в центре. И не потому, что с сестрой шуры-муры, а чтобы кралю свою ублажить. Вот так, а тут даже в несчастную Турцию не съездишь, этот зануда все до копейки откладывает. Таким, как Алена, не понять.

И об «этом» незачем ей говорить.

— Что я с ним делаю? Предлагаешь пузатого кошелька найти?

Поймала удивленный взгляд.

— Ты о моем Осе?

В словах — никакой агрессии. А все-таки неуютно — от прямоты такой.

— Нет... То есть... ну, тебе просто повезло...

Глаза Алены стали еще удивленнее:

— Мне? Повезло? Не тебе, у кого семья есть, близкие люди рядом, а мне? Я одна в чужом городе, в четырех стенах, любимый человек далеко, у него своя жизнь, да и немолод он уже. Шутишь?

Вот так и все. Все думают, что ей, Оле, страшно повезло с мужем. Всё в дом, ребенком занимается, никаких закидонов.

— Знаешь, Алена, может, я и променяла бы свою историю на твою. Тебя же... любят?

Алена улыбнулась.

— По моим наблюдениям, муж твой к тебе ве-есьма привязан.

— Слишком. — Оленька смотрела в чашку с рубиновым чаем. — Для меня это слишком. Я хочу, чтобы мне не хватало.

Оленька потом вспоминала этот их первый с Аленой разговор — она подтащила табуретку к окошку, села так, чтобы поглядывать в усыпанную огнями пропасть. Вспоминала это свое вырвавшееся «не хватало», когда с Николаем завертелось, думала — ведь точно: именно того и жаждалось — чтобы звонким было, чтобы вяленой рыбой не тянуло. С Вовкой даже начиналось обыденно, ухаживал он непразднично, ужинать приглашал к себе, а там маман сидит, скучает, «ботфортом качает». «Как ваши успехи, деточка?» — будто дело ей есть до ее успехов. И — весь вечер в обществе Вовкиной матушки, а потом еще домой тащиться на ночь глядя, тискаться в машине, потому что дома оно как-то не того: маман. С Николаем же всего казалось мало, все было ярко и желанно. Тогда меньше полугода оставалось до него, до Николая Шлыкова, главного редактора журнала «Холостяк».

— Боком тебе твои желания выйдут. Кажется, Юлька хнычет. Я сейчас.

Оленька осталась одна, смотрела вниз, на желтую нитку дороги под конвоем фонарей. Думала о том, что выхода-то нет: или «желания боком», или всё как прежде. «Боком» ей уже однажды вышло, потому и за Вовку выскочила, как ошпаренная. «Скелет в шкафу», который, может, она когда-нибудь и вывалит Алене — если дружба сложится. А сейчас даже вспоминать смелости не хватает. Когда — как рыба ртом — воздух, и больно, и страшно, и ни к чему.

7

— Ребенок не в состоянии за себя постоять! Вовка сам не мужик и мальчика воспитать неспособен, только и может что в игрушки играть. У них новое развлечение: один гоняет радиоуправляемую машинку, а другой в нее шариками стреляет из пис-

толета. Младшая группа детсада в квартире. Знаешь, Алена, почему Степан про «дурдом» спрашивал?

Две недели назад Оленька не обратила внимания на осторожный вопрос Степана, не заберут ли его в дурдом. Володя засмеялся, а Оленька хмыкнула: «В дурдом заберут меня». Она уже восемь месяцев работала корректором в журнале «Дом и офис», и от статей о ксероксах, шкафах-купе, планировке помещений в голове у нее воцарился пугающий мыслительный штиль. С этой работы надо было бежать, но куда? Тут хоть платили терпимо и допоздна не держали. Правда, на хорошие деньги все равно не приходилось рассчитывать — оттуда, где их платят, в полшестого не ускачешь, а до семи ей надо быть в саду. И так она прибегала последняя, порой воспитательница, уже заперев двери, переминалась с ноги на ногу у калитки, а рядом грустил Степан.

В этот раз Оленька не опоздала: номер сдали, она ушла на час раньше и даже домой успела заскочить. В раздевалке копалась девчушка, а мама ее поторапливала. Степа прибежал и убежал — карандаши собирать. Девчушка начала жаловаться маме, что «Димка плюется и толкается, и еще обзывается какашкой». Этого Диму приняли в сад не так давно, Оленька как-то видела его — противный мальчик, одет кое-как. «Он только тебя так называет?» — обеспокоилась мама. «Нет, всех, — сообщила девчушка и покосилась на Оленьку. — А Степу вашего зовет блохастым». — «Блохастым?» — Оленька опешила. «Да, — авторитетно заявила девчушка. — Блохастые дети никому не нужны. Поэтому Степу забирают позже всех. Димка говорит, что однажды не заберут и тогда Степа поедет в дурдом». — «В дурдом? — Оленька видела из коридора, как в зале Степан складывает карандаши в коробку: один за другим. И глупо спросила: — Почему?» Девчушка посмотрела на свою маму, пожала плечами: «Потому что в дурдоме живут блохастые дети, которых мамы не любят». — «Лена, ты не выдумываешь?» — осторожно вступила мама, которой было явно неловко. Ребенок отрицательно помотал головой. Желание прикрикнуть на копавшегося Степана пропало.

Если чужой ребенок не сказал бы, никто бы и не знал.

На улице Оленька остановилась, села на корточки перед сыном.

— Почему ты мне ничего не говорил про Диму?

Степан молчал, разглядывал ботинки.

— Ты что, поверил ему? Ты поверил, что мама тебя не любит? Как тебе пришло в голову, что я могу не прийти за тобой?

Степан отвернулся.

— При чем тут «не в состоянии за себя постоять»? Он же думал, что этот Дима правду говорит. — Алена терла плиту, на которую по обыкновению что-то пролилось.

— А как он мог такое подумать?!

Алена не отвечала, потом бросила:

— Слушай, Оль, мы с тобой сколько времени знакомы? Месяца четыре?

— Ну... да. Это ты к чему?

— Да нет, так просто. Давно хочу тебе сказать, но не решаюсь.

Оленька оторвалась от созерцания машинки, бегущей по пустынной дороге далеко внизу.

— А что?

— Ты же знаешь, я всегда говорю правду. И мне уже полтора месяца не по себе. Понимаешь, не хотела тебя огорчать...

— Ну?

— Обещаешь не психовать?

Оленька нетерпеливо кивнула.

— Галю с одиннадцатого помнишь? Ну у нее еще сын Юра, толстячок такой.

— Чего ж не помнить. И что?

— Да ничего. Они уже полтора месяца с твоим мужем... ну... встречаются. В общем, ты не переживай.

Вот вроде бы и не нужен, вроде бы раздражает — а какой приступ ярости.

— Ревнуешь? — усмехнулась Алена.

Ревность ли? Скорее удивление и досада. Да еще и неожиданно так. Хотя оно всегда неожиданно.

— Нет. Просто противно, что он из меня дуру делает. А ты...

— А я? А я — ничего. А ты вот поверила.

— То есть...

— То есть, когда четырехлетнему пацану авторитетно заявляют, что он блохастый и потому его просто невозможно любить, он верит.

— Аленка, ты чего, разыграла меня?

Алена озадаченно пробормотала:

— Я вот думаю, почему — «блохастый»? Может, «плохастый»?

— Этому Диме, наверно, как-то барбоса бездомного не дали погладить, потому что тот «блохастый»... Значит, никому не нужный.

— Слушай, а может, не «блохастый», а «лохастый»? Доверчивый, в смысле...

— А я вот с его родителями поговорю. Ммм... Разыграла ты меня хорошо.

— Поговори-поговори. А ребенок у тебя молодец. Все в себе держал. Мужичок. Уважаю. Нам такие женихи нужны.

Переговорить с родителями малолетнего задиралы не удалось. Во-первых, за ним всегда приходила бабушка, папа отсутствовал в принципе, а мама не выходила из запоя. И во-вторых, Степан на следующий день после прояснения ситуации что-то такое сказал зарвавшемуся Диме, что тот потом злобно плакал в юбку воспитательнице, повторяя «сам такой». Судя по отрывочным сведениям, Степан указал обидчику на неоспоримый факт, что мама за оным вообще не является, и кто тут блохастый, видно невооруженным глазом. В дурдоме как раз новый заезд. Наверное, что-то в этом духе.

8

До встречи с главным редактором журнала «Холостяк» Шлыковым Николаем Сергеевичем оставалось полтора часа. На работе Володик без толку досидел до полудня, а потом сказался больным, что, впрочем, было недалеко от истины. Доехал до «Смоленской», один раз даже нарушив правила, и припарковался в соседнем с издательской конурой дворе, едва не поцарапав бампером новенький темно-зеленый «Опель». Затем отправился на поиски кафе. Одно время он по вечерам приезжал сюда, забирал Оленьку — пока не выяснилось, что кто-то из редакции, кажется, Сергей, живет буквально по соседству, в Южном Чертанове. И что ему нетрудно до Бутова домчать, подбросить сотрудницу домой: нечего Володику, как заведенному, на ночь глядя таскаться на «Смоленку» и спящего ребенка одного дома оставлять. Послал же господь этого Сергея.

В кафе народу кот наплакал, Володик забрался в уголок, возле внушительных размеров картины, изображающей парящий в воздухе баклажан. Стены были темные, какого-то баклажанного же цвета, и кафе больше походило на ночной клуб. Заказал бокал «Будвайзера» и принялся тщательно разглядывать шедевр живописи. В баклажане все было прекрасно, и Володик подумал, что если Шлыков скажет сейчас, что от Оленьки не отступится, что серьезно все у них, то... Стоп, не с того начал. При чем тут вообще Шлыков? Не он, так другой появился бы. Пять лет назад... будто не понимал он пять лет назад, чего она так поспешно выскочила за него. И ведь не хотела, «давай сперва поживем вместе», пришлось нагородить огород, наобещать с четыре короба и еще чуть-чуть. Долго готовился, привел ее в этот бар на «Пушкинской», живая музыка, самое место для уговоров. Вина ей взял, а себе... коньяк, кажется. Стакан в какой-то момент показался тяжелым, а коньяк — да, это был коньяк, — противно горчащим. Говорил, а она смотрела — вроде бы в лицо, но как бы сквозь. Потом догадался — сзади сцена была, вот она на нее-то и глядела, на музыкантов, но только не сразу поймешь. Хрупкая она такая сидела, никогда никого так не хотелось защитить, да

защищать-то следовало от нее самой, видимо. Что-то у нее случилось там, раньше, в прошлом, лучше не спрашивать — захочет, сама расскажет. Но не в прошлом дело-то, нет. В ней, все в ней. Ребенка ей сделал, а она, опять же, не хотела, говорила, мир не видела, ничего не видела, вот ты, ты в Каире был, там, где пирамиды, змею ел в Гонконге, а я... Да что такого в этом Египте, а от змеи вообще чуть не вырвало, вот дурочка, рвется куда-то, а что ей там надо? Заботился, до последней мелочи все ей покупал, подруг распугал... Ну а раз распугались, то что они за подруги. Женька тогда осталась, только и о ней уже не слыхать. Еще какая-то потом появилась, с работы, на двадцать лет старше, в проблемах вся и с американским именем. Но само отвалилось. И вот теперь Алена. Было время, когда он Ольку буквально ревновал к ней. Злился, думал: Алене делать не черта, сидит дома с ребенком, на всем готовеньком, старикан ее обслуживает, чего бы не болтать. Понятно, что про Шлыкова ей все известно, он, Володик, выглядит идиотом. Похоже, у этого господина прямотаки масса достоинств: деньги есть, голос бархатный, не иначе как ямка на подбородке прилагается. Начальник ко всему. Олька так и не пожелала познакомить с ним: приезжал за ней — ни разу не позвала в подвал (издательством его язык не поворачивается назвать). Сидел в машине, куковал: вот-вот выпорхнет. А упырь, конечно, не высовывался.

И ведь сам, своими руками их свел, знал бы...

— Еще пива... Если можно.

Откуда этот вечный извиняющийся тон? Неудобно беспокоить, понимаете ли. Бармена, соседа, продавщицу. Самыми любимыми всегда будут магазины самообслуживания. И еще не хватало, чтобы в таком тоне — со Шлыковым.

Посидеть минут тридцать, и можно идти. Как и что говорить, не ясно... Но нечего сетовать: никто за ухо сюда не тянул. И ведь смелостью это не назовешь, просто ужасный конец лучше, чем ужас без конца.

Принесли пиво, пустой бокал забрали. Даже не заметил, кто был — парень или девушка. Вернее, заметил и сразу забыл.

мужской журнал, нацеленный на молодых и свободных от обязательств. У них-то на журнальчики деньги имеются.

И сколько претензий! Ведь выпендриться надо. Поначалу думали назвать «Последний холостяк» (типа «застрелитесь все, а я до победного буду держаться — никому ничего не должен, никаких пут семейных, сам по себе, крутой»). Потом кого-то у них в команде (все, ясное дело, «не обремененные») осенило — быстренько утвердили логотип, из которого слово «последний» выпало естественным путем: журнал нарекли «Xolastяком». Ведь додуматься до этого бреда надо! Глаза сломаешь, пока прочтешь.

И такая она счастливая ходила, из «Дома и офиса» уволилась сразу, там отнеслись с пониманием, не она первая. Потом еще пару месяцев ей поминал, как она не желала спускаться от Алены, заявила в трубку: «Работу интересную на блюдечке принесли? А каемочку не заметил? Голубую?» И они обе засмеялись, он слышал, Алена тоже фыркала, дура набитая. «Дура набитая» — это он тогда себе сказал. А как он злился, когда Олька Алену на Новый год притащила! — не посмотрела, что родители придут и что вообще-то праздник семейный. Мало того, Алена привела малахольную «родственницу из Подмосковья». Олька, наивная, говорит: не скучать же им поодиночке. Да Алена с удовольствием «скучала» бы, но престарелый хахаль погряз в законных радостях и из дома вырваться мог только первого января.

Сидели все за столом, а потом Олька с Аленой пошли Степана укладывать и — нету их. Через полчаса отправился на поиски: полным ходом идет примерка шмоток. Всё, никто им не нужен. Посмотрел выразительно и дверь прикрыл. Вернулся за стол, отец уже хорош, петь порывается, мать тихо бесится. Да еще и у «родственницы из Подмосковья» рот не закрывается. Настроения никакого. Одна злость.

Спроси, к кому он Ольку больше ревнует — к Алене или к Шлыкову, не скажет. Со Шлыковым пока еще неизвестно что, увлечение, страсть, уляжется как не было. А к Алене она бежит по любому поводу, даже когда с ним, с Володиком, можно посидеть-подумать — нет, ей надо на двадцать первый этаж, «на ми-

нутку». И минутка в два часа растягивается. Причем Алена — кошка, которая сама по себе. Даже интересно было бы почитать, что она там пишет. Так ведь даже Ольке не показывает.

Одно время он был уверен, что Алена его не переносит — вот хоть бы раз зашла (на Новый год спустилась-таки, редчайший случай). И когда Олька про каемочку на блюдечке спросила, именно это взбесило — что рядом Алена фыркнула. Типа, он идиот. Или, мол, хочет Ольку выманить.

Может, и идиот — раз терпит все это. И выманивал бы, да бесполезно.

Надо бы подумать, что Шлыкову говорить и как бы перед ним не стушеваться. Да только пора уже.

Он расплатился и вышел.

9

— Не понимаю я тебя, Алена. Неужели тебе со старцем... весело?

Оленька, по обыкновению, сидела возле окна, таращилась на огоньки внизу. Алена так и говорила: «Ну что ты таращишься, ничего там нет, сядь, как человек, в кресло». Оленька отмахивалась, у нее-то в окошко — одни сугробы на козырьке да задник неоновой вывески со словом А...ЕТПА («К» не горит) и змеей, роняющей в чашу скупые капли яда.

— Как ты сказала? «Со старцем»?

Алена стояла в профиль — мыла посуду, — и было непонятно, задело ее или нет.

— «Со старцем»... — Алена фыркнула (она не смеялась, она фыркала, и Оленька ужасно любила эту ее манеру). — «Старец» твоему Володе сто очков вперед даст. Ты хоть с ним спишь?

Разные они были. Оленька открывалась тяжело, но привязывалась быстро, Алена — наоборот. Алена задавала свои прямые вопросы и не смущалась отвечать, когда ей той же монетой сдавали. Но все это — только на словах. На самом деле Алена зорко охраняла свое личное пространство, и Оленька чувствовала —

есть темы, которые не надо поднимать. Нет, Алена не поморщится, ответит, но холодно или, чаще, цинично. О родителях она отозвалась сдержанно, похоже, к кому была привязана, так это к Нине, что числилась подругой и по совместительству бабушкой. У Алены была сестра, но они не общались. Тему семьи затрагивать не рекомендовалось. Стихи просить — тоже напрасный труд: натыкаешься на: «Зачем тебе?». Вроде бы и правда, не больно-то и надо, но как-то обидно получается. Осю — «старца» — Оленьке за четыре месяца так и не представили, хотя он бывал наездами раз в две-три недели, на день-другой. «Завтра Иосиф приезжает», — сообщала Алена, и это значило только, что вечерней посиделки не будет. Оленька напрашиваться на знакомство не решалась, да и к чему. Сидеть с «папиком» и беседовать о погоде. Но все равно было неприятно, что Алена — вот так. То есть спрашивать «Ты с ним спишь?» она тут как тут, а подпустить к себе поближе — ни-ни.

— Сплю. Изредка.

Алена фыркнула:

— Да уж. Не очень-то он у тебя аппетитный. Брюхо как у буддийского монаха, — она кивнула на стоящее на полочке нэцке.

Оленьке не нравился этот разговор. Будто в брюхе дело. Хотя оно, конечно, радости не прибавляет. И вообще, не о том она говорила, когда спросила, весело ли со «старцем».

— Я предпочла бы сорокалетнего с брюхом, нежели тощего за шестьдесят.

— Вижу, как ты предпочитаешь. Изредка.

Любила Алена все к банальности свести. И это раздражало. Потому что не койкой единой жив человек.

— Алена... Я о том, что люди с возрастом успокаиваются. Мне кажется, что в шестьдесят уже должна быть обременительной вся эта беготня — переезды из Нижнего в Москву, звонки, эсэмэски. «Тайны». Ты ни разу не попросила меня посидеть с Юлькой, — значит, вы и не ходите никуда. Вот я и спросила — весело ли тебе.

Алена молча домыла чашку, села в кресло. До тех пор, как

Ося перевез их с Юлькой в Москву, ей уже приходилось отвечать на этот вопрос. Видимо, сам собой напрашивается.

— Ты читала Энн Секстон?

— Руководство по половой жизни для американских тинейджеров?

Алена фыркнула.

— Да, неподходящая фамилия для поэтессы. Она была ученицей Лоуэлла. Ну Лоуэлла-то ты знаешь?

Оленька кивнула, исходя из мысли, что не надо никого нервировать.

— Она была малость не в себе, Секстон, в психушке лежала, а лет в пятьдесят закрылась в гараже и отравилась выхлопными газами. И есть у нее стихотворение, «Храбрость» называется. Если найду в этом бардаке, дам тебе прочесть. Тебя касается. Так вот, там помимо прочего говорится о старости. Когда жизнь ценить начинаешь, когда все, может, в последний раз. Что-то типа: «Когда со старостью сведешь знакомство, каждая весна подобна станет острому мечу, любовь подобна будет лихорадке». Шестьдесят пять — это, конечно, не старость, но, знаешь, никто так отношениями со мной не дорожил. Никто так ярко не воспринимал все. Я для него подарок, с неба свалившийся. И если мы никуда не ходим, так ведь оттого, что нам друг друга хватает, да и времени у нас обычно немного, чего ж его терять. Знаешь... у нас вообще не так уж много времени, еще и поэтому он мне дорог. У меня, веришь ли, даже чувство вины перед ним какое-то.

«Чувство вины» — с этими словами всплывает нечто в памяти, знакомое — такое неуютное, тяжелое, не ухватишь как следует и не сбросишь, волочешь за собой, как ядро на ноге. Что это было? Когда? Ах да — Кэтрин.

Кэтрин, под конец залгавшаяся в своем отчаянии. «Муж», «две квартиры в Марьино», «беременность». Кэтрин... очищи, плащ кринолином, папа и брат — два ядра, ко дну тянущие. Этот урод, по которому она сохла. Любовные романчики, что она писала. Четыре года прошло. Бедная Кэтрин.

— И тебе нравится этот... экстрим? Ведь в таком случае для тебя тоже... как там? «весна как меч, любовь как лихорадка»?

Алена усмехнулась.

— Тебе так и не терпится, лихорадки этой. Утомительна она.

— Ты-то от нее не лечишься.

— Лечиться от живого чувства?

«Живое». А Вовке скажи — не поймет, о чем речь.

Для него «все тихо-мирно — вот и ладненько».

А живого хотелось бы.

Да где его сыщешь.

Помолчали.

— А что там, ты сказала, про меня? У Секстон? Правда, ужасная фамилия.

— Ну вообще-то там про всех нас. Про всех.

Оля пожала плечом:

— Ты сказала, «Храбрость» называется? Это не про меня, я даже дождя боюсь.

— Который с молниями?

— Который с тучами. — И перехватив насмешливый взгляд: — Имею право! Это не запрещено.

Алена подумала: вот интересно — только что сидела себе Олька-кузнечик на табуретке, поглядывала в окошко, чаек из чашки тянула: держала ее, как белка — орех. И вдруг — бац! — захлопнулась, будто старая книга, едва пыль не летит. Сейчас укусит. Тучек она боится.

Вся в шоколаде, вот и позволяет себе нервы выворачивать.

— А кто тебе его выписал-то, твое право на страх?

Опешила, смотрит с удивлением.

— А чего ты еще боишься, кроме дождика и тараканов?

Вот эти благополучные раздражают. Все у нее есть: муж, души не чающий, дом, ребенок... Понятно, что этого мало. Потому-то и бегает каждый день сюда, и сидит на этой табуретке, держит чашку, как белка — пальчики длинные, тонкие, за душу берет. И жалко ее, благополучную, потому что с собой не в ладу, и не поможешь ей, только если всю ее жизнь под откос пустить — то-

гда и очнется, лапками засучит. Вот если бы ей, Алене, позволено было бояться, может, она тоже... боялась бы. Тучек и паучков. А то у нее страхи слишком утомительные: что из больницы позвонят — в точности как тогда, когда у Оси сердце схватило на улице, или что у Юльки опять будет приступ астмы — ночью: ребенок задыхается, а ты спишь. Или что стихи окажутся бездарными — это тоже страшно.

— Ален, чего ты от меня хочешь?

Когда Алена становилась агрессивной, как сейчас, Оленька сразу отступала — знать бы, по какому поводу у подружки приступ. Ничего ведь «такого» не сказано.

— Да что я могу хотеть. Просто мне кажется, тебе пора чемоданы собрать и самой попытаться выжить. Тогда хоть страхи будут более-менее обоснованные.

Ну что она, Алена, в этом понимает... Вот Кэтрин... с ней можно было — о таком. Хотя, конечно, лучше Алена со здоровой психикой и страстью поучать.

— Боюсь я чемоданы собирать.

— Догадываюсь.

— И в болоте этом увязнуть боюсь.

— А страшнее что?

Сто раз она задавала себе этот вопрос: что страшнее — всю жизнь с Вовкой проторчать или сунуться в неизвестность — в без малого тридцать лет, с ребенком. А Степке-то каково? И на что жить? И с кем? Одной? Ждать кого-то? Искать? Когда, где? В Интернете вылавливать завалявшихся мужчинок? Только не это.

— Я не знаю, что страшнее, Алена. Наверно, первое.

— Тепло в болотце?

Сидишь как на допросе. Но и не уйдешь: есть в Аленке что-то, сила какая-то; действует, как дуда на удава.

— Не понимаю, что ты предлагаешь?

— Я предлагаю не бояться. Всего-то.

Так и запишем: с завтрашнего дня холодным потом не покрываюсь. Храбрый заяц вышел на тропу войны.

— А как...

И тут, как назло, у Алены начинает пиликать телефон, этот ее Иосиф аккуратно около десяти вечера или эсэмэску шлет, или отправляется на лестничную клетку якобы курить, а на самом деле в чувстве юмора тренироваться.

Алена пофыркивала в трубку, когда позвонил Вовка и сообщил, что объявился какой-то тип, работу предлагает, что-то, похоже, интересное. Ну конечно. На блюдечке — работу мечты. Так и сказала ему: «А каемочку не заметил? Голубую?» Но мало ли что. Тем более Алена зависла с Иосифом, он ей что-то потешное повествовал. Вот так всегда, на самом любопытном месте... Дверь сама захлопнулась.

10

Не то чтобы Степан больше любил Вовку, чем ее. А может, так оно и было. Вовка, ходивший у Степана скорее в приятелях, то ли не хотел, то ли просто не умел существовать в шкуре «отца». Кто такой отец? Это каменная стена. И даже если она на самом-то деле из песка мокрого, об этом никто, ну просто никто не должен знать в семье. Но Оленька знала. И, похоже, знал Степан.

— Вов, будешь в машинки играть?

Он повторял за Оленькой, называя отца по имени.

Они были очень дружны, большой ребенок и малолетний. Верно: ведь это Вовка настоял на рождении Степана, вот и вышла домашняя камерная мафия.

Иногда Оленьке казалось — оставь она их вдвоем, отправься далеко, пообещав когда-нибудь вернуться, они не пропадут. Степан — спокойный, раздумчивый Степан и заботливый Вовка, на доме зацикленный. Степан, что так тяжело привыкает к новому, и Вовка, которому весь мир побоку. «Нет там чудес», — как-то сказал. Наверно, он в детстве, как и Степа, ел только из своей тарелки и не терпел сюрпризов: из-под съеденной каши должен появиться только ослик Иа, и никто больше. Интересно, а у Вовкиной тарелки кто был на дне нарисован?..

Однажды решила порадовать Степана, купила две — точь-в-точь такие же, как с осликом, — тарелки с Винни Пухом и Кроликом. Подсунула Кролика. Доел, посмотрел серьезно так: «Где мой Иа?» — и как-то совестно стало, непонятно отчего. С тех пор больше не экспериментировала.

Степа. Могла бы она его оставить — хоть ненадолго, — это теплое, родное? И такое непохожее на нее. В четыре года он управляется со своим детским мирком так, что ей иногда кажется — она лишняя. Она пришелица в этом маленьком серьезном мире, где не подменяют тарелки, где игрушки всегда на местах, где положено приходить вовремя, чтобы потом не извиняться перед воспитательницей, — вот ведь папа отводит в сад когда следует, а мама каждый раз опаздывает забрать, и каждый раз такой виноватый вид у мамы, и потом перед всей группой Наталья Петровна говорит, что за Степой опять позже всех пришли, и Димка после обзывается, дурачок.

Если вдруг на минуту представить себе, что она уйдет. Потому что невыносимо это, так и не ставшее близким: «АКЕТПА» за окном с безжизненной «К», зеленый отсвет на крыше, покрытой снегом, лысая квартира, полупустая, чужая. Вовка. Уйти — как-то выжить, потом Степана забрать. Жаль лишиться Алены, этих вечерних посиделок... да куда она пойдет? И Степана не отбирать же у Вовки, ведь это он хотел себе дружка маленького, ну как отнять-то?

Если можно было бы исчезнуть, а потом вернуться.

Вдруг страшно станет и захочется вернуться?

11

На Новый год Ося, конечно, приехать не мог бы при всем желании, так что это даже не обсуждалось. Билет взял на вечер первого января, а обратный — на утро четвертого. Итого три ночи и два дня. Для домашних «операция» носила название «Постпраздничная собирушка сырогонщиков»: игнорировать никак нельзя, французы будут, самые выгодные контракты подписываются все-

гда подшофе. А Ося ведь без театра не может: примется клясть сырных собратьев на чем свет стоит, разворчится — его еще и пожалеют дома, салатику в дорогу дадут, носки погладят. Придется ему, бедному, в ненавистном костюме тащиться — едет-то «по делу» (контракты!). Хорошо, если джинсы под шумок сунет в сумку. Сколько раз говорила — захвати из дома что-нибудь, что оставить не жалко. Привезет, а потом опять в сумку пихает. С Ольгой Эгидиюсовной шутки плохи: богата она на подозрения.

И вот когда уже билет «к сырогонщикам» был куплен и ждал своего часа, Алене позвонила Нина и тоном, возражений не терпящим, заявила, что Новый год «в семействе твоей матери» встречать не собирается, а поедет в Москву, к внучке. (Внучкой звалась Юлька; Нина утверждала, что при слове «правнучка» из нее высыпается пригоршня песка.) Алена попыталась отговориться, что идет к подруге новогодничать, а потом они вообще поскачут в клуб, не дома же сидеть. «А Юлька?» — удивилась Нина. И, не дождавшись ответа, сообщила, что приедет все равно, как раз внучку покараулит, «вообще тут все надоело, я тебя давно не видела, мать твоя совсем сбрендила, поживу у тебя недельку, ничего, потерпит твой дружок». А потом связь прервалась, и, сколько Алена ни набирала, было занято. Потом она закрутилась с Юлькой, когда же спохватилась, было поздно: Нина ложилась спать — кому сказать — в десять вечера, исходя из идеи «ранний сон — морщины вон». В смысле, «вон отсюда». Поднималась же она тогда, когда все нормальные люди еще сны смотрели и если что и работало, так только железнодорожные кассы.

«Дружок», Ниной упомянутый, был отцом Алениной дочери, которого никто никогда не видел. Нина жаждала познакомиться «с этим мерзавцем, заделавшим Аленке лялю» и не пожелавшим брачеваться. Нина прекрасно понимала, почему Алена прячет от нее таинственного незнакомца. Она, Нина, в выражениях стесняться не стала бы, ишь, выискался умник. Они, москвичи, думают, им все можно. Приехал в Нижний, где-то они с Аленкой снюхались, шуры-муры, нате вам, дитя. Прохвост женат, понятно. Перевез Аленку в Москву, к себе под бок — квартиру даже

приобрел ей, откупился как бы. Видно, куры не клюют. Хотя резон у него был: теперь катается к ней, когда пожелает. Нина еще раз изучила чудом доставшийся билет, с брони: отправление 31 декабря в 6.20, прибытие на Курский вокзал Москвы — в 11.00. То, что надо. А прохвост недельку потерпит, не развалится. А то и увидеть его удастся.

12

Удивительные вещи случаются иногда. Вот когда ты уже на гребне отвращения — к себе, ко всему, — выплывает из пучины золотая рыбешка, разевает беззубый роток и шамкает: «Пошалте на пшашник шишни». И «праздник жизни» этот оказывается самым что ни на есть настоящим — с песнями и плясками, лентами развевающимися, пестрыми конфетти, мельканием ярких одежд. И такая благодарность к рыбешке переполняет... идешь по улице, бормочешь: «Спасибо тебе, только не отбирай, а?»

Господин с приятным голосом отрапортовался Шлыковым Николаем Сергеевичем, сказал, что ищет корректора для нового издания, что звонит по рекомендации, что платить будут, и неплохо, что на работе «от и до» высиживать не надо, поинтересовался, есть ли дарование к написанию текстов, желательно с изюмом, спросил, может ли она быстро уволиться с нынешней службы («Дом и офис»? Да-а, сочувствую»), и — поскольку обоих все устраивало — назначил встречу ровно через неделю, на второе января.

Дельный совет — что надеть на собеседование — могла дать только Алена. Требовалась грандиозная примерка, но ведь Алену пойди вытащи. Она за пять месяцев знакомства лишь раз зашла в гости, в самом начале — пробежалась по комнатам, в окошко поглядела на аптечную крышу с рябью луж под ветром (только плечами пожала), выдала заключение: «Просторно» — и с тех пор больше не появлялась. Была она немного странной все-таки, никогда не звонила сама, с Иосифом своим не знакомила, вопросы задавала такие, что с табуретки слетишь. На днях спросила ни с

того ни с сего: «А тебе хотелось бы сестру?» — и когда Оленька кивнула, хмыкнула: «А если бы ее дома любили, а тебя нет?» Оленька брякнула первое попавшееся: «Но она ж не виновата была б». И тут Алена, непробиваемая Алена ощетинилась: «А кто виноват? Тетя из Тольятти?»

Разве наша вина, что нас любят больше, чем другого? О чем она? Говорят же, что два ребенка в семье — испытание прежде всего для ребятишек. Маленький Отелло готов паука живьем съесть, лишь бы ему все внимание досталось. И Оленька об Аленинoй сестре спросила в который раз, и в который раз — никакого ответа, тишина в эфире, вот Алена всегда так: заведет разговор, выспросит, что хотела, и — привет. Ладно, у каждой свои скелеты, и она, Оля, тоже помалкивать умеет.

Но речь сейчас не об Алениной скрытности, а об Оленькиной примерке. Приход Алены на Новый год был удивительно кстати.

Алена явилась в обществе Нины, молодящейся и, можно даже сказать, холеной дамочки. Именно — дамочки. Нину, категорически отказавшуюся от амплуа бабушки, представили Вовке и его родителям как дальнюю родственницу Алены, в подмосковном Пущино живущую. Нина выпустила пару шаловливых улыбок в Володикова папу, и тот, сто лет как не чувствовавший себя сексуальным объектом, моментально расцвел: у него даже грудная клетка всплыла. («Ну и стерва», — было написано на лице у Вовкиной маман, собаки на сене, «сено» уже два года на порог не пускавшей; Оленька наблюдала исподтишка и веселилась).

Степан еле дотянул до полуночи, зевал, но держался. Вовкин отец пропускал рюмку за рюмкой, Нина чирикала, обращаясь то к нему, то к Вовке. Маман демонстративно молчала. Оленьке жаль было, что не пришли родители; хорошо, хоть Алену Иосиф не украл.

Потом отправились укладывать Степана, и тут было самое время воспользоваться Алениным присутствием: потащила ее в спальню, распахнула платяной шкаф. Шлыкову надо понравиться, это ясно. А то ведь золотая рыбка как приплыла, так и на дно уйдет.

— Платье?

— Смеешься? Только брюки. Причем черные.

— Неженственно. Мне ж его очаровать надо.

— Очаровывать деловыми качествами будешь.

— Может, все-таки юбку? Посмотри, сейчас надену.

Когда в дверь просунулась недовольная Вовкина физиономия, примерка шла полным ходом.

— По-моему, твой муж не в восторге.

— Его проблемы. Слушай, я что, обязана с его мамашей сидеть?

Вовка ведь понимал это: пять лет она терпела ежедневное присутствие крупной женщины с неизменным шиньоном и двойным подбородком, надменной и холодной как жаба. И ведь просила его — давай не будем приглашать родителей, ни ты, ни я, по-честному. Сходим куда-нибудь втроем с Аленой, вот на работе флаеры в какой-то клуб раздавали, ребята пойдут, можно присоседиться. Согласился, она своим родителям отказала, да еще и — «не посидите ли с двумя детенышами», а потом выяснилось: Вовка с матерью так и не поговорил, «забыл». И «она уже настроилась». И «даже отцу сказала». Он-то ей зачем понадобился, непонятно. Не иначе, чтобы привез-отвез, у нее машина в ремонте, а на общественном транспорте «оне не могут».

— Да, сидеть ты с ней не обязана... Но ведь променяла ты ее на меня.

— Боишься с Вовкой отношения испортить?

— Да портить нечего. Просто... мне будет нужна ваша помощь. Твоя и его.

13

— Вовка? Поговорить надо.

В кои-то веки Олька сама подошла — что-то нужно, значит.

— Слушай, Вов, тут у Алены проблема...

Он не понимал, какое отношение могут иметь Аленины проблемы — к нему.

— Ну ты можешь послушать пять минут? Будто три дня тебя не кормили!

Нет ничего вкуснее «Оливье» — наутро первого января, из холодильника.

— Короче, надо бы Нину на три дня приютить...

Подавился салатом.

— Ну да, не из Подмосковья она, а из Нижнего Новгорода. У нее свои заскоки, ей кажется, что москвичи высокомерны, и не хотелось... ну... доказывать, что не верблюд.

Насилу прокашлялся.

— Мало того, что она с отцом заигрывала на глазах у моей матери, мало того, что она (хотел сказать — «Аленина родственница», но ведь это не обвинение)... со странностями, так еще и врет, глазом не моргнув. И я должен ее у себя поселить. С чего бы?

Последнее время «мы» у него незаметно перешло в «я». Не чувствовал он этого «мы» — теперь, когда Олька постоянно торчала у Алены: иной раз бежала, даже не уложив Степу.

— Вовка, ну так вышло... К Алене Иосиф приезжает — на два дня и три ночи...

— Старпер? Ты хоть его видела?

Он знал, что Ольке дед представлен не был и что Олька очень обижалась. Не мог он удержаться, чтобы не швырнуть камешек в Аленино приусадебное хозяйство.

— Вов, невозможно отказать. Мне самой, думаешь, много радости от этой Нины? Но что тогда Алене делать-то...

— А пусть они бабку в одну комнату положат, а сами — в другой. Хотя, судя по возрасту, — Володик хмыкнул, — бабку надо к деду подложить...

— Нельзя, тут, понимаешь...

— Бабка перевозбудится, услышав страстные стоны из-за стенки?

— Да им вообще нельзя встречаться. Они знакомы, и Нина думает, что ребенок от какого-то заезжего москвича, а не от Иосифа. Видишь ли... — Оленька вспомнила, как смешно ей было

ночью, когда Алена рассказывала эту историю, но вот сейчас стало почему-то не до смеха, — видишь ли, Нина в Иосифа влюблена.

— Втюрилась старая?

— Прекрати паясничать. Если она поймет, что ребенок от Иосифа, ее может удар хватить. И вообще, — добавила Оленька с усилием, — ничего она не старая, вон какие каблучищи носит и стихи нам ночью читала. Ну, что скажешь?

— А когда хахаль появится?

— У него сегодня самолет в половине десятого приземляется, ну и из аэропорта доехать. Наверно, к одиннадцати будет.

Вот как тут откажешь?

14

Нина с самого начала знала, что Алена аспирантуру не потянет. Правда, бросила она ее не потому, что не соображала, а из-за того, что в подоле принесла. Это просто семейная беда какая-то, подол этот. Но главное, когда она на занятия уже не ходила, Осип Эмильевич продолжал забегать время от времени, говоря, что живет неподалеку. Дураку ясно, что просто так он бы не появлялся.

Предположить, что его интересовала бывшая студентка, с которой у него без малого сорок лет разницы и которая, ко всему, беременна, было уж никак невозможно. Вывод напрашивался сам собой: жаловал он к ней, к Нине.

Алена уехала в Москву полгода назад, и с ее отбытием профессор показываться перестал. Первый месяц Нина ждала, потом поняла, что действовать надо самой. С наступлением учебного года, выждав для приличия пару недель, она позвонила в Волжскую академию водного транспорта и попросила телефон кафедры экономики и менеджмента.

В эти минуты она сама себе нравилась — давно не звенел в ней этот задор, которым она была славна когда-то. Не мужчины добивались ее — она их добивалась (конечно, если не брать в

расчет морского офицера, ошибку юности мятежной, результатом коей явилась на свет Аленкина мать, нынче ни с Ниной, ни со старшей дочерью Аленой отношений не поддерживавшая).

Несколько дней подряд дозвониться на кафедру ей не удавалось — то занято, то никого. Но однажды трубку взяли.

«Я хотела бы узнать, когда принимает профессор Кочур», — недрогнувшим голосом произнесла Нина и получила информацию: «Кочур будет завтра после двух». На следующий день она набрала заветный номер (надо сказать, робея, готовая нажать кнопку отбоя), и на том конце довольно противный бабий голос заявил: «Я вас слушаю» — в ответ на просьбу позвать профессора Кочура.

Сперва Нина подумала, что ее разыгрывает какая-нибудь полусумасшедшая вахтерша. Неудачная шутка — хоть бы басом заговорила, что ли. «Мне нужен профессор Кочур», — холодно повторила Нина. «Я у телефона!» — вахтерша была раздражена, видимо, таблетку свою не выпила. Нина поняла, что со старухой спорить бесполезно, и трубку положила. Потом задумалась: какая вахтерша может быть, если это телефон кафедры? Набрала снова. И опять — скрипучее «Алло!». «Профессор Кочур...» — начала Нина, но ее перебили: «Кто ее спрашивает?» Это «ее» сбило с толка, и она на всякий случай промямлила: «Позовите профессора Ко...»

Теперь трубку бросили на том конце. Наверно, решили, что Нина хулиганит.

Пришлось подождать пару часов и осторожно так перезвонить. Ответила приятная девушка и сказала, что профессор уже *ушла*, звоните в понедельник, в час.

У Нины мелькнула совершенно безумная мысль о ныне модных операциях и о том, что профессор пропал не случайно. Но это было уж слишком нелепо.

Проведя в сомнениях выходные, Нина причепурилась, встала на каблуки и отправилась в академию. Ровно в час стукнула в притворенную дверь кафедры экономики и менеджмента и, не дожидаясь ответа, увеличила щель, сунула в нее голову.

— Здрассьте.

За столом у окна торчала колом сухая белобрысая бабенция с длинной бесцветной физиономией. Как будто кость проглотила и сейчас начнет кхекать, уже изготовилась.

— Мне нужен профессор Кочур. — Нина смерила глотательницу костей королевским взглядом. И та вдруг дернулась, шагнула вперед:

— Вы? Вы мне звонили в пятницу?

Нина смотрела на профессоршу несколько секунд, а потом втянула голову — обратно, за дверь. Быстрыми шагами пошла по коридору.

Она сама не знала, почему так позорно сбежала. То ли воинственный па устрашил, то ли это — на подъеме тона: «В пятницу?» С каким-то таким прибалтийским акцентом.

Признаться в своих подвигах внучке Нина не решилась, только как бы невзначай спросила, не общается ли Алена со своим бывшим научным руководителем, и та — что естественно — ответила «нет». Нина хотела поинтересоваться, не работает ли с ним его сестра или даже жена (собственно, почему бы ему женатым не быть?), но такой вопрос мог вызвать удивление. И она так ничего и не выспросила.

А факт, что профессор напрочь перестал появляться, уязвил ее до такой степени, что дальнейшие попытки по его поиску она предпринимать не стала. Женская гордость превыше всего.

15

У Алены было такое ощущение, что она только что разгрузила грузовик. Заставить Нину переехать на три ночи к новым знакомым казалось делом практически нереальным. На «своего парня» Нину здесь не действовали никакие доводы.

— Чего это твоему дружку так не терпится? Подождет, я через неделю уеду.

Алена, честная Алена, погрязла во вранье. Ей самой было противно, но уже не отступишь.

— Нина, ну ты понимаешь, у него жена на три дня уехала к родителям... в Мурманск, глупо же сидеть одному, телевизор смотреть. — И, предупреждая праведное возмущение: — Ну конечно, я по тебе соскучилась, но ты ж билет взяла, не посоветовавшись...

Далее следовала перебранка, в которой был упомянут и тот факт, что Алене все до лампочки, она готова лучшего друга (Нину) оставить на праздник в пустой квартире, вот и пришлось подстраховаться.

— Так это ты телефон разъединила!

— Ничего я не разъединяла. Он сам.

— Ага, он сам! Нина, я тебя знаю, я потом перезванивала — было глухо занято. И после этого ты еще хочешь...

— Но ведь ты не можешь меня подселить к чужим людям, я же все-таки... твоя бабушка, если на то пошло. И потом, я приехала к тебе и к Юльке, а ты половину времени будешь меня мариновать у знакомых!

Решили поменять обратный билет.

И еще Алена должна была сделать все, что ни попросишь.

— У тебя ведь есть его домашний телефон. Вот позвонишь, с праздниками поздравишь, небось сама не догадалась. А я потом трубку возьму.

— Ты о ком?

И не успела Нина выговорить заветное имя, Алена уже знала. Она любила Нину, она не хотела, не хотела, не хотела смеяться над ней.

16

Нину решили разместить в большой комнате. Учитывая ее благоговение перед ранним морщигонным сном, умнее было бы отвести ей место в детской (Степана укладывали в девять), но там оказалось слишком тесно для двоих. Жизнь в доме обычно затихала к полуночи, и вопрос, кто под кого должен подстраи-

ваться — хозяева под гостью или наоборот, — до конца решен не был. Время шло к десяти, и тут позвонила Алена.

Она сказала, что только что беседовала с Иосифом, он уже прилетел, но в аэропорту потеряли его багаж, и, по прогнозам, раньше чем через час он выехать не сможет: багаж посеяли основательно. Будет в начале первого.

Тем лучше: Нина спустится к двенадцати, и все дружно лягут спать.

Удачно багаж потеряли.

Вот только голос у Алены был какой-то странный.

17

На вопрос: «Что же там такое, что нельзя было взять в салон?» — Иосиф ничего не ответил, только загадочно крякнул. «Подарок, — подумала Алена. — Сколько раз говорила ему тяжелое не поднимать». Далее состоялся следующий диалог:

— Ося, ну что ты там еще такое придумал? Мне везешь, да?

— Да... уж.

— Оно не очень тяжелое?

— Конечно, тяжелое. Потому и потеряли. Там бревно.

— Ося, прекрати клоунировать. Какое еще бревно?

— А вот такое. Живое. Но если я тебе скажу, будет неинтересно.

Алена подумала, что только живого бревна ей и не хватало. И что от Иосифа всего можно ожидать. Собственно, именно этим он и пленил ее — студентку, явившуюся на дом к неулыбчивой профессорше и робевшую так, что самой было противно.

— Ося, ну там, надеюсь, не совсем оно живое? Я не могу сейчас никого заводить.

Иосиф вздохнул:

— Совсем. И боюсь, они его заморозили.

«Так. Щенка купил». — Алене было приятно, что Иосиф помнил, как она сказала в прошлую встречу — ужасно хочется далматинчика. Но это же так — мечтания. Куда ей сейчас собаку?

И вообще... зачем его, маленького, в багаж сдавать? Меж тем Иосиф грустно пробормотал:

— Я ему вязаную одежку надел. Чтобы не простыл.

— Слушай, а зачем ты щенка в багаж сдал?

Иосиф так же меланхолично продолжал:

— Не в багаж... В отделение для животных. И это не щенок. Это поросенок. Я окончательно расстроен.

Алена дара речи лишилась. Понятно, что Ося славен своей безбашенностью, но такое... Одно дело — купить свиненка (при Осиных связях — в два счета), но другое — держать в доме. Ведь гадить всюду будет, корми его, а потом вымахает скотина. Будет копытами стучать по дому. Это уже не смешно. Если даже представить себе, как Нина открывает дверь и видит Иосифа в сопровождении свиньи, и то не смешно.

— Ося... — начала Алена, но тот вдруг оживился, сказал, что явился начальник аэропорта, и — «перезвоню позже».

Нина стояла у зеркала в ванной и накладывала на лицо крем.

На ней болтались тренировочные штаны (она спала в них, когда холодно было), футболка с надписью васильковым «Я поддерживаю однополые браки» (как-то Алене однокурсник всучил, он поддерживал еще как, на деле), а на ногах у Нины наблюдались ярко-красные тапки с опушкой розовыми перьями, видимо купленные к поездке.

— Вид у меня тот еще? Ну, твоим друзьям все равно. Я в этом дрыхнуть буду.

— Нин, слушай, мой... друг задерживается, так что мы до двенадцати можем поболтать, а уж потом ты спустишься к ребятам, они как раз в это время ложатся. Приходи на кухню.

Нина кивнула.

Алена отправилась строгать салатики (к Новому году ведь не готовила), а когда через полчаса зашла в комнату, Нина мирно посапывала на кровати, в коконе одеяла. Была половина одиннадцатого, самое время морщины гнать, да и от привычки не убежишь.

Алена улыбнулась, выключила свет. Она любила Нину — та-

кой. С этими аляповатыми тапками, всеядным кокетством, наивными попытками впечатлить кого-нибудь своими стихами. Отчаянным усилием выглядеть моложе. Грошовыми хитростями в виде телефонного разъединения. Потому что это Нина забрала ее, маленькую, из семьи — никем не любимую Аленку, гадкого утенка, вечно простуженную, неумытую и пугливую. Это Нина разгородила небольшую однушку, отделила часть для Алены занавеской (позже поставили фанерную стенку), это Нина выбирала между Аленкой и дядей Витей, с которым жила тогда, хорошо жила, но дядя Витя воспротивился появлению диковатой девочки, которая спала теперь с ним в одной комнате, на руки не шла, молчала — ребенок не подкупал, не умилял. И Нина — не сразу, но выставила дядю Витю, а ведь, может, сложилось бы у них.

Кто мог предположить, что Нина со всем своим нерастраченным пылом размечтается об Иосифе! Она, верно, поддалась искушению, уловив восхитительную энергию, особенную, только ему присущую, которую он ни на кого и ни на что не жалел, тратил бездумно, зачастую пускал на самую ерунду, на проходную шутку, и «ерунда» эта раздавалась, как сыроежка после щедрого дождя, становилась самоценной и неожиданно интересной. Иосиф никогда не унывал; он мог вспылить, но остывал мгновенно, не стыдился признать вину и принимался сам себя упрекать, попеременно изображая обвиняемого и обвинителя. Присылал ужасно смешные эсэмэски. И все вокруг него будто тихонько звенело, иногда радостно, иногда мягко, плюшево. И Нина поймала эту волну, не рассуждая, потянулась за ней — так же, как когда-то Алена.

18

Ольга Кочур испокон веку звала к себе студентов. Ей не нравилось куковать часы консультаций в академии, и ребята приходили на дом, садились на край глубокого кресла красного дерева, из Индии привезенного, — неудобное, оно служило Ольге «лакмусовой бумажкой»: каждый по-своему располагался в нем, и ха-

рактер был — как на ладони. Некоторые устраивались глубже, проваливались (сиденье шло под наклоном), но предпочитали неудобство униженному балансированию на краешке. Другие сидели, как птичка на жердочке, не рыпались, внимали. Такие обычно отказывались от стакана чая, чувствовали себя неловко, спешили упорхнуть. Насколько Иосиф знал, Ольгу они раздражали. Как, впрочем, раздражали и те, кто пытался вести себя раскованно, закидывал ногу на ногу, нахваливал необычную обстановку (Иосиф много чего привез из Индии). А если такой студент позволял себе произнести вместо «Ольга Эгидиюсовна» нечто вроде «Ольга Эгидюсовна» или даже «Эгиюсовна» (про «Эгюсну» и говорить не стоит), то это воспринималось не иначе как неуважение к литовскому народу. Ольга была постоянно чем-нибудь да недовольна, студенты это знали, но старавшихся угодить она особенно не жаловала. К ней относились с должным почтением — старейший преподаватель, зав. кафедрой, — но любви не было и в помине. Тем не менее на пенсию она не торопилась, чего она там не видела, на пенсии. Присутственных дней в академии у нее набиралось немного совсем, она не надрывалась. Конечно, если бы Иосиф согласился продать бизнес, можно было бы уехать в Палангу — как давно она мечтает об этом, как часто вспоминает родной городок! Воздух, пропитанный сосновой горечью, беспокойная полоса прибоя, белый, чистый песок. Детство. В детстве она ничего не боялась — уходила прочь от земли, далеко-далеко в море по знаменитому дощатому мосту — поздней осенью, в темноте: отдыхающие уже разъехались, безлюдно, ветер курточку насквозь продувает, волны под ногами бьются о сваи, а она идет все дальше по этому будто бесконечному мосту, ей чудится, что вот-вот, и она шагнет в какое-то другое пространство, в волшебный антимир. Сейчас же ей страшно даже на пенсию выходить, окончательно остаться наедине с собой, с мыслями о надвигающейся старости, с ощущением чего-то недоделанного в жизни (чего?). Работала, двух дочерей вырастила, муж есть, а ведь вот оставила бы все, уехала бы — туда, где мост ведет далеко в море, где запах сосен. Но смелости не хватает. И ба-

лансируют студенты на краешке деревянного кресла, прилетают-упархивают, не зацепив, не вызвав улыбки. Таких, кого разглядеть захотелось, за все эти годы по пальцам пересчитать можно. Иосиф, посмеиваясь, списывает это на «горячий литовский темперамент»; где-то оно так и есть — «сдержанность на грани с безразличием», как сказала однажды старшая дочь.

Когда Алена Завадская, на излете пятого курса, поймала ее на кафедре и, помявшись, сообщила, что собирается в аспирантуру («Ольга Э-ги-ди-юсовна (лелея каждый слог), не могли бы вы быть моим научным руководителем?»), первой мыслью было, что экономика и менеджмент этой девочке как рыбе зонт, а второй — что есть в ней что-то щемяще знакомое. Это «что-то» она вскоре вычислила: дикарство, в точности то же, что так мешало жить ей самой — когда она приехала на учебу в огромный Питер из истоптанной вдоль и поперек Паланги. Любопытства не было, а только — желание спрятаться, уйти от всех далеко по воображаемому мосту, туда, где только ветер и волны плещут. Этой девочке Алене тоже никто не требовался, но тут было другое. То ли ее обидели, то ли она просто боялась людей. Когда первый раз пришла в дом, села в индийское кресло, потерялась в нем, худая, тонкая, и — невольно отворилась, свесила кисти рук с подлокотников, замерла. Но через минуту-другую уже оказалась на краешке, локти уперты в колени, захлопнулась. Ольга видела саму себя — сорок лет назад, — и хотелось сделать этой девчонке приятное, а может, и не ей, а себе, в конечном-то счете. И как-то после консультации позвала ее поужинать — «будет только мой муж и мы с вами». Удивительно, но та согласилась сразу.

19

Ужин прошел достаточно мило. Иосиф сыпал своими шуточками, которые так нравились их знакомым, — мягкие шутки, будившие не смех, а улыбку. От них возникало ощущение праздника, и, как ни странно, именно это не нравилось Ольге в Иосифе.

Иосиф носил праздник с собой, праздник был его комнатной

на Иосифа. — Я, например, верю. Люди раньше были не так глупы, как некоторые изволят думать. В Древнем Риме фигурка из янтаря могла стоить дороже раба, причем молодого и здорового, не случайно же ведь. Я уж не говорю, что у Тутанхамона в короне (или что там у фараонов?) наш балтийский янтарь нашли.

— На Тутанхамоньем месте я предпочел бы брюлики, — заметил Иосиф и пожалел, что встрял в разговор. Последнее время Ольгу пробило на «национальное самосознание», и она болезненно воспринимала все, что ставило под сомнение литовские достоинства. Она и в молодости гибкой не была, одернуть могла любого и при всех, а теперь это у нее стало излюбленным способом срывать раздражение — раздражение, которое все равно никуда не уходило, только накапливалось. Иосиф подумал, что... при этой девочке... незачем... при девочке-то.

Но девочка оказалась чуткой, бросила Ольге первую попавшуюся кость:

— А что означает «Паланга»?

Ольга ответила не сразу: раздражение медленно оседало, как пивная пена; Иосиф видел, что ей легче было бы сбросить его, чем принимать обратно. «Отпустить ее, отпустить, — в который раз подумал он. — Но ведь не поедет одна».

— Паланга? Странно, меня даже родные об этом не спрашивали никогда, — короткий взгляд на Иосифа, выпущенная стрела. — По-литовски «palange» — подоконник.

— Подоконник?

— Да. Отец говорил, что когда-то там было рыбацкое поселение. И домики стояли очень близко к морю... ветер задувал их песком до самых подоконников.

— Надо было на сваях строить, — улыбнулась Алена. Но Ольга не услышала.

— А волны подбирались иной раз прямо к дверям.

«Она страдает, — думал Иосиф, — так и видит домишки на берегу, домишки, которых уж и в помине нет, но все остальное, все остальное-то есть — морской воздух, чайки, речь литовская,

аккуратные дорожки, все такое игрушечное, запах водорослей и копченой рыбы... малая Европа».

— Знаете, Алена, какой у нас в Паланге песок? Белый-белый.

У этой девочки были те же манеры, что и у Ольги — четыре десятка лет назад. Тот же прямой взгляд, и вопросы свои она задавала, не задумываясь об их уместности. (Это стало семейной легендой: Ольга после трех недель Иосифового ухаживания поинтересовалась, спокойно глядя в глаза: «Ты поразвлечься или как?» — «Или как», — растерялся Иосиф. Выражение вошло в обиход: «Я тебе иликак говорю...» («серьезно»), «Студент Иванов разгильдяй, а Петров иликак...» («серьезный»), «Я на полном иликаке заявляю...» («на полном серьезе»).) Девочка была так же восприимчива, как Ольга, и так же замкнута. Ведь почувствовала же, где пес зарыт, — просто по тому, как Ольга произнесла «белый-белый»:

— Почему вы не уедете туда?

Девочка даже не задумалась — спросить или нет: видит же — мозоль. Иосиф вздохнул: варианта два, и один другого хуже. Ольга или губы подожмет и остаток ужина пройдет в антарктическом холоде, либо его, Иосифа, куснет как следует.

— Чтобы уехать, мой муж должен продать свой бизнес. А он не желает.

Вот так, в третьем лице.

— А вы одна поезжайте. Если ваш муж выберет вас, он сам здесь все оставит. Если нет — и жалеть не о чем.

На мгновение губы у Ольги дрогнули, она чуть было не сложила их в тонкую линию в советах не нуждающейся, но сидевшая напротив блондинка с короткой стрижкой смотрела прямо в лицо, смотрела спокойно, и Ольга вдруг подумала, что это «и жалеть не о чем» — прожитое, что девочка подняла боль со дна — ради нее, Ольги, что это именно то... именно *то*.

Иосиф знал, всю жизнь знал этот чистый, спокойный взгляд. Когда-то казалось, что он его нашел у Ольги — не нашел, обманулся, — взгляд человека, не боящегося жить. Первое время Ольга моталась за ним повсюду, по воинским частям, по богом

забытым уголкам страны, — и он принимал это за бесстрашие. Потом оказалось другое: ей так было проще — знай топай следом, не раздумывая. Но эта девочка и вправду ни за что не цеплялась. Жила по принципу «жалеть не о чем». А ведь искал он в людях именно это и не находил. Все за всё цеплялись, не выпускали из рук, карабкались куда-то.

Он повторил про себя ее имя: Алена.

21

Алена вернулась в кухню, подумала — пускай Нина поспит еще часок, даже полтора: Ося все равно раньше полуночи не появится; надо бы ему перезвонить, узнать, что со свинтусом. Нет, ну понятно, ход оригинальный, летом свина можно будет выгуливать на поводке, но вообще иногда кажется, что Иосиф перегибает со своим оригинальничаньем. И ведь не отказаться от копытного: подарок же. Интересно, сколько свиньи живут? Алена представила свинью уже седой, и стало не по себе. А кормить ее чем? Говорят, что голодная свинья может загрызть ребенка. Нет, Иосиф сошел с ума.

Последний салат был дорезан, и тут раздался короткий звонок в дверь. «Оля, наверно», — Алена распахнула дверь и увидела сияющего Иосифа — в своем добротном сером пальто, без шапки, вернее, шапку он держал в руке; другая рука — колесом — охватывала большую картонную коробку. Рядом стоял чемоданчик и тросточка.

Алена потом не могла вспомнить, какая мысль мелькнула раньше: «Где свин?» или «Проснулась ли Нина?».

— Опоздал всего на сутки, — начал Иосиф, но Алена сделала страшные глаза и захлопнула дверь у него перед носом. Непонятно было, как могли занять так мало времени разбирательство с работником аэропорта, поиск потерянного багажа, дорога до дома. Часы показывали начало двенадцатого.

— Алена? Кто-то пришел? — сонный голос Нины.

Вбежала в комнату, благо темно, глаз не видно:

— Спи, это Оля заходила, ушла уже.

— Но я слышала мужской голос...

— Она с Володей вместе...

— А что ушли?

— Ну узнали, что ты спишь, и ушли. Хотели поболтать.

— Так я ж уже не сплю! Зови. — Нина выпросталась из одеяла. — Или нет, пошли к ним, у них «Оливье» оставался.

В принципе можно было спрятать Иосифа на черной лестнице, вывести Нину, спуститься к ребятам. Потом улизнуть к себе и держать оборону. Так и так держать ее придется двое суток, не все ли равно, когда начинать?

— Или нет, Ален, давай посидим, чайку попьем, я ж полгода тебя не видела.

— А ребята...

— Ну подождут. Мне тебе надо кое-что рассказать. Со стула свалишься.

— Ладно... Сейчас скажу ребятам, что мы попозже придем. — И Алена рванулась к входной двери.

— А по телефону нельзя?

Алена подумала, что за дверью стоит Иосиф, и это показалось ужасно смешным. И еще ей пришло в голову, что он вот-вот снова позвонит в дверь.

— У них телефон сломался! — И Алена выскочила на лестничную клетку.

Иосифа не было.

22

Рано или поздно пришлось бы их познакомить — Иосифа и Ольку. Алена знала, что подруга обижается, хоть виду и не подает. Приедет Ося — Олька исчезнет, уедет — она еще пару дней не появляется, дуется. Раньше ждала приглашения, теперь уж и не ждет.

Но сейчас встречи не избежать: спорить с Ниной бесполезно,

не торчать же Иосифу на лестнице еще полчаса, а то и час. Ну что ж его так рано принесло! Хоть предупредил бы.

Теперь: посадить Иосифа у Ольки, а потом разрулить как-нибудь — Нину спустить, Осю поднять. «Не было у бабы заботы»... Да, кстати, — а где порося?

На черной лестнице темно, хоть глаз коли.

— Ося?

То-то на третьем этаже обалдеют. А будь ее воля, еще сто лет не знакомила бы, и пусть думают, что хотят. Если у Ольги смелости спросить не хватает, так что ж. Хотя, если спросила бы, что отвечать?

— Ося, ты тут?

Этажом выше хрюкнули.

Стала осторожно подниматься.

Что отвечать — если спросила бы... Ведь не скажешь, что тебе неловко за человека — только потому, что семь лет назад его «по кусочкам собрали» (пакостное выражение), после того, как какой-то идиот из-за поворота вырулил, не глядя. Неловко, что он сильно хромает, что на лице два шрама — не из тех, что красят мужчину. Первый раз, нет, не испугаешься, но как-то вздрогнешь внутри, и глаза не поднять, чтобы снова посмотреть. Когда она увидела Иосифа, оставшись у Кочуров на ужин, то говорила исключительно с профессоршей. Он шутил, а она смеялась, не отводя глаз от бледно-желтого пятнышка на скатерти. А потом снова принималась о чем-то расспрашивать Кочуриху. Какая дикарка она была... То ли дело Нина: Иосифов вид нисколько не смутил ее. «Конкуренции меньше», — прокомментировала она.

И вот теперь придется тащить Осю к Ольке, без предупреждения... И даже не в том дело, что Олька теперь себе думать будет, а просто не хочется Иосифа лишний раз травмировать. Както — уже в Москве — вышли из кино, и какая-то тетка с двумя сумищами пилила навстречу, вся в себе. А проходя мимо, глаза подняла и так явно дернулась, охнула. Ося, как всегда, отшутился, но осадок остался. С тех пор на улицу почти не выбирались,

да и холода наступили. Не то чтобы из-за тетки, но все сразу: и ходить Осе долго тяжело, и времени всегда немного.

Иосиф стоял на черной лестнице этажом выше, такой родной, вечно неунывающий Ося. С лестничной площадки сквозь матовое стекло в двери пробивался свет.

— Ося! Что ж ты так рано... ведь говорил...

— Розыгрыш! Сюрприз! А что?

— А то, что Нина у меня... Ничего смешного не вижу! Ты побудь полчасика у подружки — помнишь, я тебе рассказывала, ну, Оля? — а я потом Нину к ним переправлю. Она упрямится, сейчас идти не желает, ну что я могу сделать?

— А ты скажи, что негодяй уже тут. Что будет чистой правдой. В смысле, что я тут.

— Ося! Она жаждет этого «негодяя» лицезреть. Я ее тогда вообще не выкурю. У меня один козырь: в двенадцать на третьем этаже ложатся спать, поэтому ей надо там появиться раньше полуночи, чтобы людей не напрягать.

С Иосифом всегда легко. Он никогда не отказывается, не ерепенится, более того: все принимает с энтузиазмом.

— Ну отлично. Ты с нами спустишься?

— Ты себя уже на «вы»...

— Нет. Мы ж со свином.

Ну ведь уж ясно, что никаких разборов в аэропорту не было, Иосиф отвлекал внимание, чтобы свалиться как снег на голову. А коли так, разве свин не выдуман?

— А... он в коробке? — Алена покосилась на приличных размеров картонку, стоявшую на полу. Вообще, не так она себе представляла первую встречу в новом году.

— В коробке! Он бы там замерз десять раз уже. В шапку руку сунь. Только осторожно.

Алена наткнулась пальцами на что-то живое, теплое и руку отдернула.

— Почему такой маленький?

— Потому что морской.

— Так это... морская свинка?

— А ты думала, я тебе хряка приведу, на поводке? Вот сейчас не видно, а ведь он пятнистый. Далматин... Ты ведь хотела...

Никто раньше не слушал и не слышал ее. Даже Нина. Какого лешего она стесняется за человека, который не виноват в своей беде. За, может, самого близкого человека.

— Спасибо, Ося.

23

Одно дело — осознавать неуместность своего стыда, а другое — перестать стыдиться. Но сейчас не до самокопания. Надо устроить так, чтобы Олька приняла Осю с улыбкой, а не с круглыми глазами.

— Ося, давай ты спустишься на третий этаж, а Оля за тобой сразу же выйдет. Я ей позвоню.

— А Нина не услышит?

Нину можно отправить посмотреть, не раскрылась ли Юлька. А тем временем все объяснить Ольке. Только вот как сказать? «Не пугайся»?

Картонную коробку с клеткой для свина Алена занесла в лифт:

— Ты поезжай, я по лестнице спущусь. Мало ли, Нина еще выглянет.

— Как хочешь. Эх, прокачусь с ветерком!

Свин, конечно, тоже поехал к Ольке.

Такие они смешные были оба: Ося со здоровущей клеткой и поросеныш — круглые черные глазищи, салют усов, безвольная миниатюрная лапка, которой Ося помахал на прощание.

24

Нина ждала целую вечность. Неспроста Алена застряла у своих друзей, там что-то интересное происходит. «Оливье», опять же. Да и время поджимает.

Нина взяла зубную щетку, прихватила одежку — во что пере-

одеться наутро — и выпорхнула из квартиры, осторожно прикрыв дверь, чтобы не защелкнулась.

Вызвала лифт и подумала, что от «Оливье», наверно, надо воздержаться, ночь на дворе. И еще — что Аленкин осеменитель будет тут два дня околачиваться, хорошо бы на него хоть глазком взглянуть.

Лифт, шедший сверху, остановился и раскрыл двери. В лифте стоял профессор Кочур.

25

Первое, о чем подумала Нина: «Только не это. Не накрашена, не причесана, не одета». И глупо спросила:

— Вы вниз?

Как будто она была не она, просто какая-то тетка.

Возникла короткая пауза, и Нина поймала еще одну мысль: «А что он тут делает?» Следом в голове пронеслось: «Почему с коробкой?»

Первое, что сказал себе Иосиф, глядя на Нину в тренировочных штанах: «Доездился». Узнал он ее исключительно потому, что на стене было выведено «Этаж 21», а чучело чем-то напоминало Аленину бабуленцию. Больше всего Иосифа поразила категорическая надпись у чучелы поперек груди: «Я поддерживаю однополые браки».

— Вниз? — задумчиво повторил Иосиф.

— Или вверх? — отозвалось, с надеждой.

Хотел сказать «вбок», но сдержался.

— Я вам уступлю, — и Иосиф подхватил коробку, чемоданчик, тросточку, чуть не уронил шапку со свином и боком вытиснулся из лифта.

— Ну что вы, не стоило... — чучело юркнуло в лифт и на прощание вяло плеснуло пальцами.

— Дождусь следующего! — сообщил Иосиф, и это было последним, что он сказал в этой жизни Нине.

Потом он повернулся лицом к двери черной лестницы, откуда

должна была появиться Алена. Его разбирал смех — в точности как тот, что напал на них с Олежеком Ванзаевым, когда они в пятом классе подложили учительнице на стул жабу, привезенную с дачи в трехлитровой банке.

26

Главный редактор Шлыков приказал явиться в четыре. Когда Оленька вышла на «Смоленке», уже начало темнеть, зажигались фонари; она потопала прочь от городского шума в послепраздничные переулки: безлюдные, укутанные снегом. Одно из окон на первом этаже было ярко освещено, форточка приоткрыта. Нечесаная женщина и тощий мужик в майке вяло перебранивались. Оленька подумала, что ужасно хочет эту работу, но не знает, как сделать так, чтобы все-таки взяли. Этот Шлыков был настроен положительно, звонил по рекомендации, чего еще надо. Если спросит — может ли она оставаться позже шести, надо говорить «да», на все соглашаться, как-нибудь выкрутиться со Степой, няню, в конце концов, нанять, не каменный же век. Главное — выбраться из болота, людей видеть. Влюбиться, черт возьми. В кого-нибудь. Только, конечно, не в Шлыкова.

27

Редакция находилась в подвале жилого дома. Вывески не наблюдалось: просто обитая дерматином дверь и к ней, под козырьком, сбегающие ступеньки с ниточкой утоптанного снега. «Значит, народу сегодня мало», — Оленька не любила знакомиться «залпом»: всем улыбнись, всех запомни, все чужие.

Осторожно спустилась — по ниточке, дернула дверь. Та не подалась. Рядом пузатилось подобие звонка, и Оленька вжала пимпочку до упора, снова и снова. Никто не отозвался. Она опять подергала дверь, поднялась по лесенке, огляделась. Номер дома был правильный. Она подумала, что ошиблась со временем или, вернее, Шлыков ошибся, но виноват ведь всегда маленький.

А она была маленькой. Всю жизнь она чувствовала себя маленькой. Не то чтобы ребенком, нет, просто мелкой сошкой. И ей так хотелось стать выше, больше, тянуться за кем-нибудь. Да за кем тут потянешься — за Вовкой, что ли? Когда-то давно ему удалось ее обдурить (нет, завлечь скорее) — все эти разговоры про съеденных в Гонконге змей, приятельство с Кинчевым (да Кинчев его под дулом пистолета не узнает), — как-то оно делало Вовку непохожим на других, необычным немножко. И ведь потянулась за ним, а потом оказалось, что все это случайности, совпадения. Новым знакомым истории рассказывались одни те же. Задела его настоящая жизнь крылышком, пух на плечо уронила да была такова. И он теперь красуется, а сам-то совсем не герой. Зато «простой хороший парень», как говорит мама, и — «чего тебе еще нужно».

Глупо было бы вернуться сейчас домой несолоно хлебавши.

Оленька набрала мобильный номер Шлыкова — никто не ответил. Сердце отяжелело, она, Оля, всегда отступала перед неудачами, а кому такие нужны, отступающие. Разве что всяким володикам, потому что у володиков амбиции на нуле.

Снова спуститься и подергать дверь.

Вот дурацкий у нее вид, хорошо, что никого вокруг.

Постоять... А чего стоять-то? Тем более что — холодно: напялила-таки юбку, не послушала Алену.

И тут осенило: в подвальных помещениях бывают окошки, недоделанные такие, с обязательной решеткой, длинные бойницы. Завернула за угол — и точно: свет пробивается, сквозь жалюзи.

Протянула руку постучать — нет, далеко стекло, надо палку какую-нибудь, да покрепче. Дальше, во дворе, ракушки-гаражики стоят, снег расчищен, и на земле возле одного гаража — ржавая железяка, тяжеленькая. Взяла ее, вернулась к окошку. Изловчилась...

— У нас дверь примерзает. Ольга?

Оглянулась, испугаться не успела:

— Да. Я звонила...

— А звонок для декорации. Пойдем, вымерзлась, наверно.

— Я боялась, что со временем ошиблась и все уже ушли...

— Да не пришли еще, скорее. Меня Егор зовут. Брось железку.

Мальчишка с силой дернул дверь, и она подалась. Приятный такой мальчишка. Шалопай. Типичный распоследний холостяк. Так и не продумала — что говорить, если Шлыков спросит, семья у нее или одна она. Не врать же; но, если тут все такие вольные птички, не впишется она в эту компанию.

Нет, она не жалела, что родила Степу, — потому что это был не кто-то, а Степа, солнышко, радость. Но что-то казалось ей безвозвратно утерянным или, вернее, уже неуловимым. Вот эта беззаботность, с которой мальчишка вошел следом за ней, скинул дубленку. Он жил, как хотел, и она внезапно почувствовала себя взрослой и чужой здесь.

28

— Нико! К тебе!

Ничего себе начальник: «Нико».

Оленька остановилась посреди уставленной столами комнаты и принялась расстегивать шубку. Эту шубку купили на рынке два года назад, стоила недорого, но смотрелась прелестно. Мех, выкрашенный в глубокий синий цвет, был нежнейшим на ощупь, и в метро, без перчаток, Оленька то и дело поглаживала его. Шубку она надевала редко — сносится такая вещь быстро, да и холодная она, до колен даже не доходит. Расстегнуть, но не снять.

Оленька потерянно стояла посреди комнаты, Шлыков не появлялся. Какая-то блондинка сидела за одним из компьютеров и сонно щелкала «мышью». Комната походила на место побоища — несколько столов, заваленных бумагой и всякой канцелярской ерундой, были сдвинуты к стене, в углу громоздились картонные коробки и образовалось стихийное кладбище пластико-

вых стаканчиков. Больше ничего не напоминало о минувшем празднестве.

— Простите, а мне здесь ждать Николая Сергеевича или пройти куда-то?

Блондинка оторвалась от экрана:

— Нико-о-о! К тебе пришли! — И Оленьке: — Проходи, в эту дверь и сразу направо. Он по телефону говорит.

Оленька запомнила эту минуту до мелочей: как она переступила порог комнатки и замерла, не зная, выйти или уж не суетиться; как Шлыков вел пальцем по календарю на стене, договариваясь о сроках, — стоял к ней спиной: слегка вьющиеся русые волосы, кинутый на плечи белый свитер (рукава спереди болтаются). Стол — не простой, как те, что в проходной комнате, а широкий, светлого дерева, — на нем стопки глянцевых журналов, бумаги, чашка, на медведя рассчитанная. Ноутбук.

— К двадцать седьмому... Постараемся. Ладно, будь здоров, ко мне пришли.

Что располагало больше — эта дружеская манера, в которой он говорил по телефону и после обратился к ней, нажав кнопку отбоя, или низкий голос, так шедший ему? Оленька смотрела, как завороженная, на прядь волос, упавшую на лоб, на небрежно завязанные на груди белые рукава. Бывает же: умен, красив и свободен. Слишком все это — для Оленьки. Да для кого — не слишком? Это та рыба, что всегда прорывает сеть. А рыбачки сопли потом размазывают. Не надо ее ловить, дурочки. С ней надо плавать вместе. Плавать с ней или за ней плыть. А дурочки — можно не сомневаться — ухватить пытаются.

— Оля?

— Да...

— Шлыков. — Руку протянул. — Что в шубке-то стоишь? Садись. Только что с генеральным говорил, двадцать седьмого номер сдавать. В праздники сможешь выходить?

— Да.

— Ты мне нужна с завтрашнего дня. Уволилась уже?

— Я предупредила их, что скорее всего уйду. Вы же хотели сперва встретиться...

— Вот и встретились. Да, у нас тут все на «ты».

Кивнула.

— Завтра сможешь выйти?

— Да.

— Сама пишешь?

Странное возникало ощущение. Шлыков говорил с ней, будто знал ее давно и будто у них сложились доверительные отношения. И правда — ему шло это дружеское «Нико»... хотя и хлесткая фамилия тоже шла.

— Нет, не пишу. Вы... ты уже по телефону спрашивал...

— Не получается или не пробовала?

— Не просили никогда. Я же просто корректор.

Сказала — и пожалела. Царь Петр в охрану только здоровых лбов себе под стать брал. Небось и Шлыкову не хочется кого попроще.

— Статья нужна. Всё о сноубордах. С юмором. Агрессивная. Если без картинок считать — планируй на разворот. Завтра приноси что получится.

— Николай, но я их в руках никогда не держала, сноуборды эти!

— А ты думаешь, журналисты пишут только о том, что в руках держали? Делай что хочешь, консультируйся где хочешь. Интернет позволен, но злоупотреблять не советую. Идея ясна?

Оленька подумала, что рано сказала в «Доме и офисе», что уходит.

Перед ней лег журнал с девицей на обложке; ничего так девица, в меру одета.

— Посмотри, это пилотный номер. В продажу, понятно, не поступал. Заголовок тяжелый.

— «Последний холостяк»... Да нет вроде...

— Оля, ну не видишь разве? Не бьет по глазам. Хлеще нужно. Голову ломаем.

— А почему не назвать просто «Холостяк»?

Улыбнулся:

— Потому что это *просто*.

— Ну не знаю... Назвать «Холостяк» и внутри латинскими буквами написать «last». Ну, last, «последний»...

Шлыков смотрел на нее, и она поняла — попала в десятку. Вот этой ерундой, полубредовой идеей она обошла всех дурочек, что смотрят на него и пускают слюни.

Взял лист бумаги, написал размашисто: «XOLASTЯК».

— Обалдеть. Олька...

Оленька чувствовала, как губы растягивает улыбка. Будто расстояние между ними резко сократилось. Будто она выросла на семь сантиметров. Это «Олька» звякнуло веселой монеткой.

— Пять мужиков голову ломали.

Она молчала и улыбалась. Ей уже не надо было ничего говорить.

— Егор, Света, Серега, кто там есть еще? Все сюда!

И эти «все» сказали, что — здорово.

29

Вернулась домой в начале двенадцатого. Степа спал, Вовка пялился в телевизор, Нины не видать было. Только в метро вспомнила, что мобильный отключен — на автоответчике оказалось три Вовкиных сообщения. В одном докладывалось, что «карга устроила цирковое представление» (Нина), в двух других полезной информации было ноль, одни стенания, мол, когда придешь. Да еще через два часа пришла бы — они там остались почти все, но путь-то неблизкий, да и возвращаться в поздноте привычки нет. После легендарной идеи с названием (ведь осенило же!) народ сразу проникся, даже советоваться принялись, смешно. В общем, не просто вошла в команду, а с правом голоса. Оказалось, что номер делают на март. Вот тогда и возник этот вопрос: а какого лешего в весеннем номере про сноуборды писать? Но Шлыков уперся, мол, зима еще не кончится, а тема животрепещущая, на нее самое оно ловить читателя. В процессе дебатов выяснилось, что статейка поручена уже кому-то и положат ее на

стол Шлыкову буквально на днях. То есть Оленьку тестируют, да и всё. Если нароет что-то интересное — впихнут в текст. Врезки сделают, например. Но в силу того, что никакой она не журналист, можно сказать, Шлыков так развлекается. Берут-то ее на должность корректора, но — Света сказала — писать Нико заставляет буквально всех, разве что уборщицу в покое оставил. Смотрит, на что человек способен. А потом, между прочим, относится к нему соответственно. Приятная девчонка эта Света. Ведь могла бы и не говорить, а сказала. Так что наваять следует не иначе как шедевр. Пойди наваяй — когда ни времени, ни малейшего понятия о предмете. Назавтра Шлыков велел подходить к трем, и, похоже, посиделки опять затянутся. Но это как раз то, что нужно: альтернатива этому неродному дому, Вовке, всему.

— Оля! Я тебе дозвониться не мог!

Стащила шапку, потянула с плеч шубейку, мягкий мех, так и хочется к щеке приложить.

— Давай.

Давненько Вовка не выползал в коридор встречать. А уж чтобы вещи принять... Что это с ним?

Отдала шубку, села на табуретку — сапоги снять. Сто лет как она их не надевала, все больше в ботинках бегает, под джинсы-то; у нее теплые такие ботинки, Вовка их «роверсами» зовет, потому что фирма «Rovers» (ну это в его духе, он еще говорит: «Битлзы», не отучишь). А сапожки ведь тоже хороши, и главное — каблучок есть.

— Подожди.

Повесил шубку, сел на корточки, потянул за язычок «молнии» на сапоге.

Молчала, смотрела на него.

— Тебя так долго не было. Я вдруг представил себе, что ты вообще не придешь.

Ну, началось нытье — как раньше, лет пять назад. В последнее время вроде как прекратил душить своей любовью, поутих, притерся. И вот — опять за старое.

— Я? Не приду?

— Останешься с этим... как его... Шлыковым.

Учуял, как кот, все учуял. Даже не по себе становится, хотя бояться нечего, хуже не будет, чем это болото.

— С чего это вдруг?

Сцены ревности Вовка до сих пор еще не закатывал. Повода, конечно, не подворачивалось, но сказано же — ревнивцы ревнуют без повода. Вот и сейчас — где повод-то?

— Не знаю. Я подумал, что мало тебе внимания уделяю, мы совсем перестали общаться, ты вечно у Алены, семьи нет... Но это не то... Я не то хотел... Я хотел сделать для тебя что-то... Быть нужным. Я же знаю, что тебе работа надоела, что ты поехать хочешь куда-нибудь... Увольняйся, а я две недели за свой счет возьму, дернем куда хочешь... К солнцу. В Тунис или Египет. Я посмотрел в Интернете, есть путевки горящие. Степке столько радости будет. А хочешь — вдвоем поедем? Хоть на неделю. Со Степкой ведь мама твоя посидит?

Поздно. Как это все поздно.

— Я не могу, Вов. Меня в «Холостяк» взяли.

— Ну скажи им, что выйдешь через пару недель.

— Вов, дай я разуюсь.

Наклонился поспешно, стянул сапоги один за другим, поставил в угол. Они упали, распахнув голенища.

— Нам номер через три недели сдавать.

Поднялась, поймала свое отражение в зеркальном шкафу: такая непривычная самой себе — в этой черной узкой юбке, блузке приталенной. И вдруг — увидела себя его, Вовкиными глазами: чужая, далекая, кораблик, от причала отошедший.

В единый вечер отдавший швартовы, погнавший веселую волну кораблик. Ей стало радостно и жаль Вовку, но тут уж не сделаешь ничего.

Она улыбнулась.

30

— А где Нина?

Оленька заглянула к сыну, прошла в комнату.

— Уехала.

Скис, как только она от Египта отказалась. По сообщению на автоответчике было видно: Вовку разбирало рассказать, что ж тут с Ниной приключилось. Но сейчас он потерял к этой истории всякий интерес.

— Уехала?

Уткнувшись в телевизор, вяло пояснил, что Нина встала поздно, несмотря на бегавшего Степана; съела салат и попросила взять у Алены кое-какие вещи. А потом уехала.

— А почему?

Оленьку меньше всего интересовало, почему уехала Нина. И слава богу, что называется. Но зачем-то спросила.

— Откуда я знаю. Алена прискакала часом позже, да поздно уже было. Наверно, поссорились.

Оленька с тоской подумала про сноуборды.

— А... ясно. Ты хотел мне помочь?

До половины третьего лазили по сайтам, всюду сухая информация, да и вообще непонятно, как сделать такую статью, от которой Нико челюсть уронит. У Вовки — ни единой мысли ни о форме, ни о стиле статьи. Одна идея нудней другой. А Нико ведь сказал — «агрессивная, с юмором». Пойди это Вовке объясни. В его представлении хорошая статья — это фотки досок с описанием и обстоятельная повесть о том, как этим богатством управлять. К часу он раззевался, к двум уже клевал носом.

Оленька представляла себе, как придет завтра без единой строчки. И Нико подумает: уборщицу тетю Маню в покое оставил и эту тоже оставлю... Безнадежна.

Засыпали, когда Вовка вдруг сообщил:

— А, да. Видел я Алениного хахаля. В шрамах весь какой-то. То-то она тебе его не показывает.

И тут стало так все ясно. Ясно и просто.

Пойти к ним завтра, свалиться на голову поутру. Алена дурочка. А этот ее Иосиф, похоже, умный мужик. Может, чего подскажет.

Засыпая, Оленька вспомнила, как чуть было не проехала

станцию пересадки: сидела, незаметно гладила пальцами нежный синий мех, и это движение походило на ласку. Она думала о Нико, вспоминала эту минуту, когда он размашисто написал: «Холостяк» — и поднял на нее глаза. И в глазах — будто дверка какая-то открылась, и что-то — от него к ней, нет, не ток, почему говорят «ток», ток — это боль, нет, тепло, просто тепло, просто что-то мягкое, как шубка под пальцами, — прямо к ней, это. Восхищение, оно тоже было, вместе с этой теплой волной. И потом один раз она передавала ему ручку, когда они все вместе сидели, судили-рядили, и это быстрое касание, оно ничего не значило, но будто бы и значило. Она не поняла до конца: Нико слишком занимала разметка журнала, три недели — это ведь всего ничего, хотя, конечно, некоторые статьи уже заготовлены и картинки даже найдены. Но потом, все стало ясно потом, когда она сказала, что ей пора, начало одиннадцатого, до дома далеко, и он кивнул, они прошли в его кабинет, там шубка осталась, он подал ее, и секунда молчания, Оленька стала извиняться, неловко уходить первой, а Нико стоял и молча смотрел на нее, улыбаясь. А потом сказал вот это: «Не оправдывайся. Тебя ждут?» Она кивнула. И он добавил: «Ты... замужем?»

В ту минуту она точно знала, что спрашивает он не потому, что ему надо знать, сможет ли она оставаться допоздна.

Она сказала «да», а так хотелось ответить «нет», в самом деле, разве замужем она — по настоящему-то? И произнесла она свое «да», на Нико не глядя, и было это «да» бесцветным, пустым и гулким, как алюминиевый бидон из-под молока, мятый бидон, что валялся у них на даче с незапамятных времен.

31

И еще эта радость.

Утром открыла глаза, и спать не хочется, хоть и легли чуть ли не под утро.

Радость, еще неосознанная, бестелесная, но уже сочная, сердце тукает, а чего тукает, не поймешь спросонья. Ну конечно! Нико. Если бы — просто влюбленность, бессмысленная судорога

где-то в утробе, то не было бы радости этой. Но тепло, она опять вспомнила волну, плеснувшую от него, а ведь еще вторая была, волна-то, когда она стояла, не глядя на него, со своим бездарным «да», а он не дал ей этим «да» подавиться, подхватил его, провел ладонью по рукаву шубки: «Я рад, что мы встретились».

Нико.

Статью — во что бы то ни стало.

32

В руках у Алены копошилось нечто пушистое — в первую секунду Оленька подумала, что это щенок далматина: белая шерстка, черные пятнышки.

— Да какой щенок! Это Свинтус Свиниюсович. Прибалт. Нина вернулась?

Оленька отрицательно мотнула головой. Наверно, Алена подумала, что Нина парламентария прислала. А про прибалта — явно камешек в огород женушки возлюбленного.

— Они с Иосифом столкнулись у лифта.

У Оленьки напрочь вылетела из головы эта история с Нининой влюбленностью.

— Да? А... А я по делу. Пустишь?

— Но у меня Иосиф...

Они стояли и молча смотрели друг на друга. Потом Алена сказала:

— Заходи.

Когда Иосиф поднялся навстречу, Оленька глаз не отвела. Они убегали, глаза, от этого лица, спотыкались, соскальзывали с него — прочь. Но это не было отвращение, это страх был: страх, что такое может случиться с тобой. Но Оленька была готова. Она улыбнулась, не отводя — ни в коем случае не отводя — глаз.

33

За полтора часа на Оленьку выпала ее недельная норма информации. Иосиф снялся с тормоза в первую же минуту, гово-

рил, все больше воодушевляясь, ему было приятно рассказывать, приятно вот так сидеть на пузатом диване, попивать красненький Аленин чай, закусывать кубиками сыра, поглядывая на Алену, не расставававшуюся со Свинтусом.

— Свинтус из Литвы приехал. У моей... хм... супруги там знакомые целый поросятник развели. Этим и живут.

— Можно сказать, фермеры, свиноводы, — улыбнулась Оленька. — Странно, что такое милое создание свиньей обозвали. Да еще и морской...

— Не морской, а заморской! — подхватил Иосиф. — Как-никак, из-за моря завезли. А «за» из слова потом потерялось. Между прочим, хрюндель на самом-то деле никакой не заморский. Тут дело поинтереснее обстоит.

Оленька смотрела на это лицо, и оно ее больше не пугало. Она потихоньку изучала его... в этом лице что-то было, будто бы — не то чтобы лишнее, но — избыточное, когда слишком много всего: не поймешь, на чем остановиться. Так у Оленьки когда-то разбегались глаза в мастерской одного Женькиного приятеля, именовавшего себя артистом: на стенах висели остовы от стульев, со старинным изгибом ножек, какие-то колокольцы, маски, сбруя, жестянки, ржавые садовые ножницы, мотки веревки, пустые рамы, церковный крест, CD-диски, старый фен и еще множество всего — не охватишь сознанием. Тут тоже: морщинки, шрамы эти, поначалу испугавшие, но — нет, не то это, не оттого в лице так много всего... Жизнь в нем какая-то, или, вернее, жизнелюбие, свет какой-то. Пойди пойми что, но — здорово.

— Не заморская — свинка? Что ж за история такая... — Оленьке приятно было слушать, она даже дезориентировалась немного, забыла, зачем пришла. Тут было так уютно — когда она приходила к Алене, как-то иначе все ощущалось. Не хуже, но иначе.

— «Гинеа пиг»! — провозгласил Иосиф и поднял торчком указательный палец, в знак важности излагаемой информации. — Вот как называли свинтусов англичане. А значит это — «свинка за гинею», гинея — это староанглийская золотая (прошу

заметить!) монета, за нее моряки продавали свинтусов мирному населению.

— А я подумала...

— Что речь о Гвинее африканской?

Оленька кивнула. Алена возилась со зверьком, и, похоже, ей до разговора дела не было.

— Нет. Свинтус по происхождению южноамериканец. Кстати, испанские колонисты именовали свинов кроликами, да еще и индийскими. А почему?

— Америку тогда называли Индией?

— Точно. Знаешь.

Оленьке понравилось, что Иосиф сразу стал на «ты». Как Нико.

— А вот ты в курсе, что туземцы их ели?

— Свинтуса — есть? — вступилась Алена. — Варвары.

Она взяла зверька за передние лапки — маленькие черные пальчики врастопырку, поставила, как человечка. Свинтус неуверенно хрюкнул.

— Он пока еще не в своей тарелке. У него стресс. — Алена прижала к щеке пушистое тельце. Наверняка она спрашивала про себя, чего это Оленька заявилась, и не находила другого ответа как — любопытство.

— У меня тоже стресс, — ввернула Оленька.

34

До сих пор она понятия не имела, что это такое: кайтинг. Иосиф заявил, что статья о сноубордах — ничто по сравнению с захватывающей повестью о соревнованиях по кайтингу: это когда на сумасшедшей скорости несешься под крылом-парусом по снежной пустыне, — «да что рассказывать, у дочери друг хороший гоняет, Леня, школьная любовь, — недавно приезжал в Нижний, заходил, телефон оставил. В Москве живет, хочешь, позвоним?»

Школьной любви Иосифовой дочери в городе не оказа-

лось — умотал тренироваться куда-то далеко, но приятель его, Глеб, с которым они держали фирмочку по продаже кайтов, остался в Москве, и его можно было порасспросить, даже фотографии он мог предоставить качественные. Рассказать о кайтах, о соревнованиях, о проекте «Имандра», об ощущениях, когда летишь, глядишь на лыжи, не отрываясь, а потом, подняв глаза, обнаруживаешь себя совсем в другом мире: гора раскололась надвое, лесок перешел в пустошь, облаков не узнать: за тридевять земель унесло, и песня строп, и радость, и свобода, и ветер сушит лицо — пить хочется, но гонишь вперед, ты должен первым прийти, ну ладно, вторым, но прийти, протащить тело стокилометровой трассой, победить себя. Чем не тема для мужского журнала?

Дозвонились Лениному приятелю Глебу, он обещал помочь, «рассказать, что сможет». Договорились на завтрашнее утро. Нико она скажет, чтобы подождал немножко, и будет ему подарочек непрошеный.

Опять — синяя шубка, Вовка топчется в коридоре, удивлен:

— Тебе не будет холодно? Один раз сходила, и хватит. Надень дубленку.

— Она тяжелая.

— До сих пор ты ее носила.

— Вов, я хожу в чем хочу, о'кей?

Какое-то смутное чувство, будто вины или — нет, такое легкое раздражение, когда замешиваешь тесто и оно к пальцам липнет, хочется поскорее от него избавиться, неприятно. Да, вина вместе с досадой. Кто просит заботиться о том, что она наденет, когда не для себя она надевает, дурак ты, Вовка. Не заботься, не буди чувство вины, сам потом виноватым выйдешь.

— Опять поздно вернешься?

— Вов, я понимаю, праздники, ты маешься один. Ребенком займись.

— А им кто-то еще занимается?

Вот так-то лучше. Обидеться, выскочить за дверь. И пусть се-

бе кричит, пока по лестнице вниз бежишь: «Заехать за тобой?» — нет, не заехать, нечего было огрызаться, сиди дома и жди теперь, обида — прекрасная отговорка.

Нико. Окажется потом, что — банальный соблазнитель, а она — всего лишь легкая добыча. Слишком хорош, чтобы еще и настоящим быть. Но терять-то ей нечего.

35

— Почему опять я?

Егор стоял у порога, когда Оленька потянула ручку двери, за секунду до этого испугавшись, что опять запросто не войдешь. Но дверь подалась сразу. Егор кивнул Оленьке и продолжал:

— Вчера — я, и еще раньше тоже...

— Давай-давай, закаляйся, — раздался из недр голос Шлыкова, и Оленька невольно улыбнулась, от этого голоса становилось весело, как же удивительно — он здесь, и она, у них общее дело, и сидеть им тут допоздна, и завтра тоже, и послезавтра. А если бы он нашел другого корректора?

— Егор, а из-за чего препирательство?

Егор посмотрел почему-то не на нее, а на Свету, хмыкнул: «Шлыкова спроси» — и вышел.

Она скинула шубку, села на край стола, напротив Светы-дизайнера. Почти все уже подошли: из дальнего угла ей махнула рукой Вера, вот Егор уже был, Света, Нико. Оленьке хотелось потянуть время, совсем немного, прежде чем заглянуть к Нико в кабинет и обронить какую-нибудь шуточку из репертуара Бориса Васильича. Хохмач и душка Борис Васильич, верставший «Дом и офис» в одной с ней комнате, без конца выдумывал всякие штуки типа «мух творчества» (про творческие муки составителей опусов об оргтехнике) и про психиатра, который был тронут... Затейник Борис Васильич, единственное ее окошко в радость на той работе, вот уж кого ей будет не хватать.

Света клацала «мышкой»; так и этак вертела заголовок статьи о часах «Rolex», слишком длинный: «Счастливые часов не на-

блюдают?» — да еще и с тучным вопросительным знаком. Оленька вычитывала этот текст вчера: идея сводилась к тому, что дорогие часы придают мужчине уверенности в себе, а что ему еще для счастья надо, как не эта вожделенная уверенность? Похоже, статейка была проплачена, поскольку в конце давался адрес магазина, ну так что ж.

— Свет, а куда Егор-то пошел?

Просто так спросила, чтобы молча не сидеть. На самом деле какое ей дело до того, куда понесло Егора.

Света пожала плечом:

— Нико так развлекается. Сейчас журналюга какой-то должен явиться, они смотрят, на что способен. Дверь припрут так, что не откроешь, звонок не работает, типа. Егор сидит в засаде и наблюдает за «объектом». Смотрит, выкрутится чувак или потопчется, наберет Нико на мобильный да и уйдет.

Света оторвалась от экрана, смотрела с улыбочкой.

— Значит, вчера...

— ...была «проверка на вшивость». Хотя непонятно зачем. Ты же не журналист, какая разница, напористая ты или нет. Я ж говорю, Нико развлекается.

— И когда я ушла вечером...

— Не делай такое лицо... Егор уморительно живописал, как ты отыскала в кустах монтировку и готовилась вдарить ею по оконному стеклу. Правда, очень забавно.

— Не в кустах, — мрачно отозвалась Оленька.

Конечно, конечно, смеялись не над ней, а над ситуацией. Но как противно. И Шлыков небось тоже... веселился. Почему всегда надо все хорошее изгадить?

— Не сдавай меня Нико, договорились? Мы хоть и старые друзья, но взбучка мне будет.

36

Шлыков Оленькиного ледяного вида не заметил, бросил: «Привет!» — и принялся толковать со Светой. Вчера напридумы-

вали рубрик, оформление решили переделать, а Света и пальцем шевелить не хотела, мол, третий раз все меняют, будет и четвертый, и пятый; когда остановитесь, скажете.

Это было так странно все-таки: еще вчера — размеренная жизнь, чавкающее болото, и вдруг — с места в карьер — новое, все новое, и — никаких рамок, изобретай, предлагай, влюбляйся. Праздник жизни.

Хватит ли на все это смелости?

Смелость. Нужна смелость, как нелепо это ни звучало бы. Смелость свое мнение не прятать, смелость настаивать, смелость принять это новое близко к сердцу, сделать своей жизнью. Она и не против, просто ей надо время — поверить во все это. В себя поверить. Что-то удерживает ее, будто на ней рубашонка, из которой ее «я» ломится, скинуть надо рубашонку эту, и тогда можно будет надеть что-то попросторнее. «Что-то попросторнее»: дело по душе, вот так банально звучит и так трудно достигается. Каждый корректор мечтает сам писать, понятно. Но неуверенность, что можешь, злейший враг. Спасибо Шлыкову, дает шанс, ясно, не из благодушия, а просто пытается на всю катушку тебя использовать, а где конец этой катушки, никто пока не знает, все в твоих руках, окажешься бездарью — ну так тогда правь чужие тексты с легкой душой. Осталось скинуть рубашонку, прекратить ждать указаний, действовать начать. Вчера сидела, молчала, слушала. Ну придумала название журналу, не бог весть какой подвиг. О нем скоро забудут. Хорошо, если все получится с этой идеей о кайтинге, настоящее мужское занятие, вот только неизвестно, удастся ли задумку на бумагу вылить. А отсюда вытечет все прочее, в том числе... в том числе отношения с этим негодяем Нико. Не позволит он себе больше на вшивость ее проверять, а потом хихикать за спиной.

Оленька скосила глаза на Шлыкова — он что-то чертил на белом листе, Света слушала. Оленька вдруг с ужасом почувствовала — между ними пропасть, он — взрослый, самодостаточный, идей навалом, торпеда. Ну что она может ему дать? Ласку? Ему таких желающих хоть камнями гони. Все к одному возвращается:

плыть рядом, пытаться обогнать, поддразнивать, вперед забегая. Но тут — опять — «рубашонка», Вовка. Никогда она его не обманывала, соблазна не было. Иной раз воображала — вот появится соблазн этот, и что тогда? Оставить, уйти. Возможно, что в никуда. Но не врать в глаза. А Степка? Вот она, «рубашонка», замкнутый круг, придется врать, иначе не выживешь.

Нико. Слишком хорош, чтобы еще и настоящим быть. Сколько надо смелости, чтобы прекратить сомнения, головой в омут, будь что будет... А если стать его достойной, вровень стать...

— Олька! Чего сидишь?

Смотрит — не поймешь: то ли недоволен, то ли просто разговор заводит.

— Думу думаю.

— У меня на столе пять материалов на вычитку.

— О'кей.

Когда выходила из кабинета Нико, появился Егор.

Скинул дубленку:

— Ушел.

Шлыков повернулся и направился к себе, бросив на ходу:

— Скатертью дорога.

Оленька видела, какие безразличные были у него глаза в этот момент.

37

«Победителей любит, — заключил Иосиф. — И на черта он тебе сдался?»

Оленька сидела на Аленином диване, она пришла домой рано, в половине десятого, — Степка уже засыпал, она посидела с ним немножко, послонялась по квартире и, ссылаясь на то, что «надо у Иосифа кое-что про кайтинг выспросить», позвонила Алене. Встреча с Глебом, приятелем школьной любви Иосифовой дочери, была назначена на завтрашнее утро. У Оленьки не было ни малейшего представления о том, что спрашивать, как беседу строить и к чему «клонить». Нико о порученной статье даже не

вспомнил. Два часа кряду решал организационные проблемы, а потом умчался, загрузив всех работой. Народ уткнулся в компьютеры, Оленька до восьми выправила все тексты и пошла домой.

С одной стороны, она понимала, что Иосиф вряд ли просветит ее на тему «Как написать свою первую статью при условии невладения вопросом». С другой — хотелось поговорить. Именно с ним. Пусть даже не о кайтинге, не о предстоящей встрече с этим Глебом — она порылась в Интернете, и смутное представление о предмете у нее сложилось. Хотелось послушать его истории. Хотелось просто побыть с ним — так уютно стало у Алены. И еще, ужасно хотелось поговорить о Шлыкове. Ей казалось, что Иосиф сразу поймет, стоит ли овчинка выделки.

Алена препятствовать Оленькиному появлению не стала, вообще она была рассеянна, сказала, что весь день звонит Нине в Нижний, но никто трубку не берет. Оленька не совсем понимала, что происходит — начиная с внезапного отъезда бабки и заканчивая Алениным расстроенным видом.

— Ее вроде никто не гнал...

Алена только рукой махнула:

— Я готовлю «ле берту», это французское блюдо такое. Ося надоумил.

— Не французское, а савойское, — раздалось из комнаты. — Савойя, между прочим, только в середине девятнадцатого века стала французской. Вы хоть знаете, где она находится?

Оленька уселась на диванчике напротив Иосифа, а Алена все шебуршилась на кухне со своим «берту».

— А я вот побывал в Савойе в прошлом году, ездил на ферму... опытом обмениваться. Правда, обмен происходил в одностороннем порядке: от них ко мне.

— Вы смотрели, как они сыр делают?

Удивительно уютно.

— Все от начала до конца наблюдал! — Иосиф хитро улыбнулся. — Вот ты вымя коровье видела?

— Нет, — хмыкнула Оленька. — Только на картинке.

— Картинки врут. Настоящее вымя не розовое, а шерстяное.

— Правда?

Время — начало одиннадцатого, скоро надо будет и честь знать. Жаль.

— Правда. И доят корову такой специальной штуковиной... — Неопределенный взмах руками. — Корова стоит по копыто в грязи, но мне кажется, ей без разницы. А сыр — его в большущей бадье створаживают из молока, просто огромная бадья, утонуть можно.

— Йосиф, ну у вас же на заводе, наверно, тоже...

— Одно дело — завод, а другое — домашнее производство. Они нас потом как раз «ле берту» из своего же сыра угощали. Я рецептик спросил. Очень просто делается.

— Просто-то просто, а камня-то нет! — подала голос Алена, все еще с кухни.

— Камня?

— Нужен камень, — подтвердил Иосиф. — Сейчас увидишь: сыр остывает мгновенно (а «ле берту» — это же сыр расплавившийся, с белым вином), и держать его надо на раскаленном камне. Тогда он булькает прямо у тебя на столе, перед носом. А ты знай в него макаешь картошку вареную.

— Несу, — сообщила Алена, и Иосиф вскочил, помочь. Тогда и заметила Оленька, что он хромает. Его лицо больше не пугало ее, скорее завораживало. Странно: он не вызывал жалости, Иосиф.

38

Разговор начался с того, что она сказала: «Я боюсь». Пили белое вино, макали картошины в золотистый «ле берту». Алена не спускала с рук Свинтуса. Его не обошли ломтиком картошки, который он схрумкал, бодро двигая усишками. Ручки у него смешные такие были.

— Он приятный парень, этот Глеб, я с ним пару раз общался, — заверил Иосиф. — Некого бояться.

— Есть кого, — Оленька помолчала и добавила: — Я себя боюсь.

Иосиф положил кусочек картошины в рот, отставил тарелку:

— Ну говори, что там у тебя стряслось.

Было в этой фразе что-то домашнее, будто знали они друг друга давным-давно. На мгновение у Оленьки мелькнула мысль: заревнует Алена. Слишком быстрое, необъяснимое сближение.

Алена знала, что для своих излияний Олька выберет Иосифа — из них двоих. Иосиф располагал к себе, сам о том, наверно, не догадываясь. Что-то в глазах у него было, не поймешь что, да и надо ли понимать. Ольке проще довериться ему, чем подруге. Хотя бы потому, что не получается у подруги скрывать: все Олькины проблемы кажутся ей с жиру наетыми. Мама-папа живы, муж любит, ребенок замечательный. На этом фоне благополучия рельефней становятся ее, Аленины, горести — родителей считай что нет, мужа тоже... да не в том лихо, что не расписаны они с Осей, а в том, что не *ее* он, и никогда *ее* не будет, не она выхаживала его семь лет назад, когда врачи сказали, что сидеть ему в инвалидной коляске до скончания дней. Вытащила его на себе... как ее... Ольга Эги-ди-юсовна, честь ей и хвала, не оставила подыхать. Вот и он ее не оставит, все честно, как ни крути. Ну и, в довершение, то, что Юлька больная родилась... не то что Степан-крепыш, дай ему бог всяческого здоровья.

— Я позвоню Нине.

Алена пошла на кухню, унося Свинтуса, и Оленька так и не поняла, что это значило. Она подумала, что, наверно, надо все-таки уйти.

— Уже поздно. Я в другой раз...

— Другого не будет, — мягко остановил Иосиф. — Чего боишься? Что не сумеешь? Статью эту не сумеешь? Не сможешь поставить себя?

И тут Оленьку прорвало. Она говорила, и ей стало казаться, что никакая это не Иосифова харизма, просто встретила человека, попутчика в вагоне поезда, вывалит ему сейчас все, чужой же, не страшно. Иосиф слушал не перебивая. Она говорила о том,

что — да, боится выше головы не прыгнуть, боится выглядеть в глазах главного редактора никчемной, боится, что не заинтересует его по-настоящему, боится, что не потянет его, боится этого неравенства (но именно оно и покоряет, заметил Иосиф). Еще она боится менять устоявшуюся жизнь, боится уйти в никуда, боится не выжить вдвоем со Степой, боится Вовкиных глаз, когда она скажет, что уходит, что забирает ребенка. Боится, что все останется по-прежнему, что никуда не уйдет, что еще сто лет за окном будет гореть зелеными буквами слово «аптека» наизнанку, а все потому, что ей страшно делать резкие движения, потому что до таких, как Нико, ей как до неба, потому что ей скоро тридцать лет, а жизнь все такая же маленькая, мелкая такая жизнь, когда же конец этому будет?

Пока она говорила, вошла Алена, села в кресло. Оленька скосила глаза: нет, Алена не злилась, она чесала сонного Свинтуса, будто даже и не слушала.

— Смелости мне не хватает, вот что.

Иосиф молчал, думал. Алена хмыкнула:

— Мы ведь уже говорили с тобой об этом. Тебе не смелости, тебе храбрости не хватает.

— Это не одно и то же?

Алена повела плечом:

— По-моему, так нет. Смелость — это когда вперед идешь и страх за пазухой держишь, глаза ему закрываешь, чтобы куда шагаешь, не знал. А храбрость — это... мужество. Я просто не люблю слово «*муж*ество», некорректное оно, — Алена улыбнулась, кинула взгляд на Иосифа. — Храбрость — это когда ты не отступаешь. На тебя жизнь валится со всеми своими прелестями, а ты стоишь. И даже вроде как улыбаешься. Так, Ося?

Иосиф не ответил.

— Оля, семь лет назад мне в машину дальнобойщик въехал. Я три года себя собирал, учился ходить и не бояться тоже учился. Знаешь, как страшно было? Мама не горюй. Как вообразишь, что кто-то всю оставшуюся жизнь будет судно таскать за тобой, — так хоть в петлю. Мало того: ты знать не знаешь, кто это будет делать, потому что не имеешь права требовать этого даже от

близких. Близкие, они ведь тоже жить хотят. И тут уже не страх, тут такой ужас накатывает, что с ним только на равных говорить надо — задушит иначе. Храбрость... да, пожалуй.

Иосиф помолчал, потом добавил:

— Ты Аленку не слушай, — и предупреждая возмущение: — Она, конечно, всегда права, но у нее, — усмешка, взгляд на Алену, — нет снисхождения к человеку. Она берет по высшей мерке. Как всякий поэт.

Пауза. Алена откинулась на спинку кресла.

— Это не самое худшее, что ты мог обо мне сказать. — И Оленьке: — Если посидишь еще немного, найду тебе книжку Энн Секстон. Стих-то «Храбрость» называется, ты, наверно, забыла уже.

Оленька и правда забыла. Алена иногда читала ей стихи — не свои, чужие, — причем именно читала, никогда не давала в руки книгу. Оленька спокойно к этому относилась — Алене нравилась музыка рифм, ну пускай, чего бы не послушать. Но сейчас ей меньше всего хотелось внимать завываниям нервнобольной американки. Ей хотелось, чтобы Иосиф произнес какое-нибудь волшебное слово, которое все поставит на места, и тогда можно отправляться спать, Вовка ждет, не ложится, а уже без пяти двенадцать.

— Нет, Ален, мне надо идти. У меня завтра Глеб спозаранку. Постараюсь не бояться, — уже с улыбкой, Иосифу.

На улыбку он не ответил.

— Оля, я знаю, ты ждешь от меня чего-то, какого-то ответа, но мне нечего тебе сказать. Все у тебя получится, просто топай тихонечко вперед. А насчет этого твоего Нико... трудно вот так понять, что за тип. Судя по твоему рассказу, победителей любит. И на черта он тебе сдался?

39

— Хочешь, возьми. Может, пригодится, — Глеб протянул Оленьке распечатанную с компьютера пачку листов. — Наши ребята писали. Прости. Не получается у меня языком молоть.

Оленьке было и досадно, и смешно. Праздники, никто не работает, договорились зачем-то на десять утра, у Глеба в конторе. Показал ей кайты (на парашют похожи), рассказал — как рассказывают покупателю. А как до эмоций дело дошло, до того, чтобы живописать стокилометровую гонку по заснеженному озеру — проект «Имандра», о котором Иосиф упомянул, — тут все, ступор. Закрыт человек, хоть ломиком взламывай. На все вопросы — «это не передать», «так не расскажешь», «почувствовать надо». А ей-то что делать?

Конечно, она могла бросить эту идею с кайтингом. У Нико голова забита кучей всего, может, и не вспомнит о странном поручении про сноуборды сочинить. Тем более что вряд ли он ждет от нее «откровений». Но малодушно это как-то получилось бы.

— Спасибо, Глеб, почитаю на досуге. И проспекты я тоже забрала бы. Нужна ж и техническая часть, одной «лирикой» не обойдешься...

— Лирики ты от меня и не дождалась.

— Ну... не можешь так не можешь. Все равно припишу, что ты меня консультировал. Опять же, рекламка магазинчику.

Около одиннадцати Оленька вышла из магазинчика (одно название...) на окраине города, добрела до метро. Нико собирал народ к двум-трем часам, чтоб допоздна сидеть. А может, у него с утра другая работа была.

Возвращаться домой, в Бутово, смысла никакого. Праздники, Вовка сидит дома, обстановка нерабочая. Да и в метро лишний раз трястись неохота. Решила доехать до «Смоленки» и там осесть в кафе. Недалеко от их подвальчика обнаружила полутемное кафе, больше походившее на ночной клуб.

Села за столик под низкую лампу. Заказала чашку мятного зеленого чая, огляделась. Было довольно симпатично, хотя и мрачновато. На стене напротив красовалась идиотская картина: баклажан, в воздухе парящий. Что побудило художника выбрать себе в натурщики овощ? (В натурщицы? Может, это дама.) Оленька смотрела на жирненькую темно-фиолетовую каплю, увенчанную зеленым воротничком, и не сразу заметила — едва

видные — прозрачные, как у стрекозы, крылышки. Баклажан летел куда-то. Оленька представила себе, что однажды войдет в этот бар с Нико, вечером. Они сядут за столик, и она укажет ему на баклажан: «Видишь крылышки?» Какая-то ерунда, а как внезапно радостно от нее стало. Оленька вытащила из сумки пачку листов, что дал Глеб, и начала читать.

40

— Оля, у тебя ничего для меня нет?

Нико стоял за спиной у сидевшей за компьютером Светы, локти на спинке стула. «У тебя ничего для меня нет?» — это вместо «здрасте».

— Есть.

За два с половиной часа в обществе баклажана она успела почеркать без малого три десятка страниц — оставляла самое живое, то, что поразило: вот уж кому мужества не занимать, так этим ребятам. Несет тебя парус по снежной пустыне, упадешь — за собой тащит, встаешь на ноющие ноги, и пить хочется смертельно, и никого вокруг, спрашиваешь себя: ты обогнал или тебя обогнали, а подберут ли, если заплутаю... Заплутать проще простого, до промежуточного финиша пятьдесят километров и столько же обратно, а дорога-то не прочерчена, летишь, только на себя надеешься. Девчонок в этом спорте почти нет.

— Нико, только не удивляйся... — как-то близко он к Свете пристроился, тоже, старые друзья! — Я тебе не о сноубордах принесла.

— О детских санках? Это не ко мне.

Не особо любезен.

— Вот. О кайтинге. Только это еще не готовый текст. Рабочее название — «Будь под кайтом!»...

Название не она придумала. Расхожая фраза, несколько раз на нее натыкалась, пока читала: на поверхности лежит.

— Не готовый текст? А что ты мне его даешь?

— Я просто показать, что... работа идет. Полным ходом.

— Почему тему сменила?

— Я людей знаю, которые этим занимаются. У них магазинчик, вот, они информацию всю предоставили, можно будет упомянуть о них, если...

У Шлыкова зазвонил мобильный, и на этом разговор прервался. Нико ушел к себе, какой-то чужой он был сегодня. Как и вчера — чужой. Оленьке ужасно захотелось того, что в самый первый день ей перепало, — теплой волны, мальчишеского задора. «Перепало» — может, и верно: просто у него настроение было, и все. А она себе навоображала... Ведь так хотелось встретить настоящего человека, не Володика (прости, Вовка). Нет, пусть эта история погано закончится, но пусть она будет. Пусть начнется...

Говорила себе — слишком хорош, чтобы свободным быть. Или нет, свободен, конечно, свободен — поди поймай. Оленька вдруг забыла, что не собиралась никого излавливать, а — рядом плыть. Ведь если просто плывешь рядом, какое тебе дело до его отношений со старой подругой. И какое дело до того, кто ему звонит. Ведь задело: посмотрел на определившийся номер и мягко так ответил: «Алё-о». И сразу вышел.

Нет, не задело. Не задело! Только тонкая длинная иголочка прошла сердце насквозь, когда он повернулся и вышел.

Оленька набрала домашний номер.

— Вов? Можешь меня сегодня вечером забрать?

41

Есть истории, что тянутся, тянутся, как резинка от детских варежек, а есть другие. И эти «другие» не успеешь осмыслить до донца, и все твои решения — не решения даже, а будто танец. Танец, которого ты не знаешь. Партнер ведет тебя, и ты льешься в потоке, течешь по его рукам. Ты легкая, тебе весело — и до тех пор, пока ловишь движение, что ждут от тебя, ты нравишься себе, и танец тебе по сердцу. Оступись — все пойдет насмарку. Вернее, тебе так будет казаться. Ты растеряешься и собьешься с

ритма. А у «других» историй, как у быстрого танца, нет ничего важнее ритма.

Оступилась — танцуй дальше. Они любят победителей, те, кто обучен быстрым танцам. Не останавливайся.

— Не останавливайся на желтый! — Оленька терпеть не могла, как Володик водил машину. Чтобы он нарушил самое мизерное правило, наверно, с неба должны начать жабы падать — как в каком-то дурацком фильме, что он на днях смотрел.

Ее раздражало все: даже его готовность ехать за ней каждый вечер. Конечно, скучно ему — Степана уложил, фильм с жабами посмотрел — что еще делать. А тут ответственное задание: в одиннадцать вечера ждать у подвальчика. Жалел он ее, приезжая, или делал это со скуки? Со скуки или, может, от любопытства? Хотел внутрь проникнуть? Но тут — нет уж. Пусть Шлыков думает, что она замужем за Марлоном-Брандо-в-молодости.

Всю последнюю неделю сердце, как клавиши рояля, плясало. Она не понимала его, Шлыкова. Не понимала, что он делает с ней и зачем. Чего хочет.

Он казался таким близким — как в кино, когда камера быстро-быстро наезжает: только что была фигурка на горизонте, и вот уже перед тобой глаза от края до края. Куда ж ближе. И эта близость беспокоит, будто есть она и нет ее.

Работали всю неделю, и Нико сказал, ладно, на выходные свободны, но в понедельник — к десяти. Два бестолковых дня дома. Степка, да, конечно, Степка.

Позвонить Нико на мобильный, сказать — давай встретимся.

Живет — по московским меркам рукой подать, — в Северном Чертанове.

Разведать барчик, где-нибудь здесь, на окраине, — наподобие того, с баклажаном, и позвать.

Но это было бы слишком.

А как иначе остаться с ним вдвоем? Он всегда на людях, к тому же ему и в голову не приходит, что у нее может быть что-то «не так». Она ведь замужем за Марлоном Брандо, о чем тут гово-

рить? Глаза близко, от края до края, но будто это неправда, будто кино это.

Сказал сегодня: «Олюшка, прекрасная, ты ведь далеко...» — Далеко. И что — бежать следом, спотыкаясь: «Близко-о-о»?

— Не останавливайся на желтый! — повторила Оленька.

Шлыков второй день проделывал этот фокус — чинно ехал следом, совсем немного, потом весело прокатывал мимо. Да знал он, что никакого Брандо нет.

42

— У меня гениальная идея. Решил открыть в гастрономе отдел сыров. Выстрою домик, такой цыплячье-желтый, с нарисованными кругами, чтобы издалека смотрелось, как «сыр из дыр». На полочках будут сыры лежать, и не просто, а с подробными аннотациями. Будем давать дегустировать. А для товара можно заказать пакетики разных размеров и бирки самоклеящиеся. Пакетики тоже желтые, и на них лепить бирку с названием купленного сыра. Здорово придумано?

Алена придерживала телефонную трубку плечом, чесала Свинтуса и улыбалась. У Оси, как у Карлсона, все время моторчик крутился, идеи генерировал.

— Здорово. А гастроном согласен?

— Не знаю. Еще не спрашивал. Меня сегодня только осенило. Я уже название для домика придумал. — Иосиф сделал паузу. — «Сыроежка».

Алена фыркнула:

— Не подумают, что грибник завелся?

— А потому и домик желтый, чтобы сомнений не оставалось. Можно повесить на него пару-тройку лозунгов, как в семидесятые годы, смешно будет. Например, «Догоним и перегоним Францию» — ну известно ж, что французы без сыра никуда. Или «Сыр всему голова». Пока все. Что там у Оли?

Алена покосилась на Оленьку. Та съежилась на диване: днем глядеть вниз в окошко неинтересно. Как никогда раньше Олька

походила на растревоженного кузнечика. Подтянула коленки к носу, обхватила руками, сидит.

— Про статью ее начальник заявил, что это «джинса».

— То есть?

— То есть скрытая реклама ребятам, что кайты продают.

— Ну не упоминать о них, и все. Я ж просто помочь хотел.

— Тут, по-моему, уже не поможешь. — Алена в упор смотрела на Оленьку. — У них там роман и взаимное щекотание нервов.

Она видела, как Оленька еще сильнее сжалась, будто зажмурилась всем телом. Приятно ей услышать словечко «роман». Но в самом ли деле у них шуры-муры или Ольке приснилось, не понять. Да и понимать-то не стоит, немного подождать — оно само выяснится. Так ведь нет, примчалась с утра пораньше советоваться, позвонить ей ему хочется, на встречу набиться. Видать, до того опостылела семейная жизнь, что хоть в петлю, хоть на шею начальнику. И не объяснишь, до чего это все глупо. Он ведь ее «прекрасной» назвал.

— Ну... бог в помощь, как говорится, — Иосиф помешкал. — Ладно, позвоню позже. Васе привет.

— Непременно, — фыркнула Алена. Кто-кто, а Вася очень нуждался в привете.

43

Алена занималась Юлькой, куда-то звонила, потом Свинтуса кормила, потом белье в стиральную машину запихивала, потом опять звонила. Все это время Оленька сидела на диване, терпеливо ждала. Один раз вставала чаю себе сделать.

Вспоминала.

Как не по себе ей стало, когда Шлыков бросил, не глядя на нее — таким ни холодным, ни горячим, — безразличным тоном: «Реклама ребятам нужна?» Она сперва не поняла даже, о чем он. А как сообразила... чуть не возненавидела Иосифа за любезно предоставленную идею: эта идея ей грозила вечным недоверием. А из недоверия ничего не растет, одни колючки.

То есть получалось, что она «своих» хотела протащить, а Нико за идиота держала.

К тому моменту ей удалось взять себя в руки. Днем раньше Шлыков вел себя так, будто не говорил накануне «фраз». Понятно, что забот полон рот, до того ли. Да и не бог весть какие фразы — «рад, что встретились», кому угодно такое скажешь... И сидючи в обществе баклажана, черкая заметки отважных кайтеров, она твердо решила не вестись на провокации. Он игнорировал ее, и она уже какой-то покинутой себя чувствовала, возвращаясь домой; вот, еще ничего не случилось, а она уже в зависимости — от человека, которого едва знает, который что сделал-то? Посмотрел ласково, по рукаву погладил. Ерунда какая. С этим человеком ее связывают просто рабочие отношения, и нечего ей свои желания и порывы тайные вешать на окружающих.

И тут эта глупая история со статьей, и ей не до того, чтобы изображать из себя независимость, она подходит к Нико, не дождавшись, когда он уйдет в кабинет (он все время возле этой своей Светы); она подходит к нему, лепечет:

— Нико, я этих ребят не знаю даже.

Он отрывается от экрана:

— Каких ребят?

— Ну, кайтеров.

Он смотрит на нее мгновение, и тут Света произносит: «А так?» — и он отворачивается, он тотчас забывает о том, что не ответил:

— Так лучше. Куда лучше. А если вверх немного сдвинуть? Нет? Не пойдет?

Оленька отходит. Ей выделили стол в уголке, она правит прямо на компьютере, так проще, чем потом правку с бумаги на экран переносить.

Сердце не на месте. Причем Нико не дал себе труда прокомментировать тему: интересна ли? Все уперлось в то, что она намеревалась схитрить. Хоть плачь.

Потом, вечером, начал названивать Вовка и допытываться, к какому часу подъезжать. Выглядело, как беспокойство образцо-

вого мужа. А что ей отвечать? Ведь могут до полуночи сидеть, а могут и часов в девять начать расходиться. Наудачу сказала — будь в половине одиннадцатого. И увязли допоздна, Егор сгонял за «крошкой-картошкой» и пивком, эти вечерние посиделки нравились всем... Работа не походила на работу — оттого только, что часы показывали десять вечера, обычные люди пялились в телевизор, детей укладывали, посуду мыли, а тут было маленькое братство, было пиво, шуточки, подколы, и никто никуда отсюда не рвался: другие в такую компанию просто так ходят, а им еще и деньги платят за удовольствие.

— Деньги платят? — Нико прищурился. — Серега, это ты сказал?

— Я, я... А что, начальство передумало?

— Начальство? Ты о ком?

— Ну, о них. Об организаторах.

— А... я так понял, что обо мне. Могу запросто передумать. Если что.

— Не погуби! — возопил Серега. — Детушки малые по лавкам... внебрачные...

Нико хмыкнул и направился к себе. Оленька, конечно, решила, что это ей тайное послание. Предупреждение. Она немного подождала, схватила со стола первые попавшиеся листочки и с озабоченным видом пошла к Шлыкову в кабинет. Посмотрела на ходу на часы — пол-одиннадцатого, Вовка вот-вот подъедет, ничего, пусть ждет.

Дверь была прикрыта, она стукнула разок и заглянула. Нико говорил по телефону. Поймала только «К двенадцати буду». Значит, у него кто-то есть. Но сейчас не до личных переживаний, на работе бы остаться. «Могу запросто передумать платить» — ну разве не намек?

— Нико? Можно?

44

Стояла напротив него, он молчал, просто смотрел, ничего во взгляде, ни тепла, ни холода.

Оправдываться? Дешево. Обвинять, мол, не разобрался и зыркаешь теперь, как солдат на вошь? Отопрется. Не знала, что сказать. Скрутила в руках листочки, которые держала.

— Нико... Я правда...

И тут вломилась Света, тянет пиликающий мобильный: «Оля, твой!» Вовка. И нельзя не ответить. Следующий звонок будет в дверь.

Света что-то спросила у Нико, и пока он отвечал, Оленька успела выпалить «подожди в машине, я перезвоню», но Вовка принялся выяснять детали, сообщил, что Степка дома один спит, сколько ждать? Света вышла, пришлось перед носом Шлыкова прошипеть «минут двадцать... я не могу сейчас говорить», но Вовка (такта не было и не будет) начал уточнять, через двадцать минут она перезвонит или уже выйдет, ему торчать в машине невесело. «Я перезвоню», — выдавила.

Он смотрел на ее мучения, глаза смеялись.

Именно это поразило — смеющиеся глаза.

Будто он и не злился или простил будто. Даже если виноватой считал, простил.

Наверно, понял, что не хотелось ей Вовку втискивать — между ними. Понял и оценил.

Или просто скумекал — что тут ему «светит». Черт, пойди разбери.

Она улыбнулась в ответ, совсем чуть-чуть.

Стояли друг напротив друга, молчали.

Она не знала — что ему надо. Вернее, не хотела предполагать самое банальное. Пускай один шанс на тысячу, что это стоит того, чтобы быть прожитым. Будь она поумнее, выждала бы. Но разве можно — ждать?

— Нико...

Глаза разом перестали смеяться, но тепло не ушло, и внезапно все стало как тогда — в первый день: вот сейчас накроет ее теплая волна, и плевать на все, пусть хоть стены рухнут.

— Нико... А если... а если это неправда?

А если это неправда — потому что ты играешься? Выждала и вызнала бы, да только мочи ждать нет, и узнать страшно.

— Что — неправда?

Переспросил... Но нет, не корчит идиота, это так, выиграть время, чтобы обойти стол, оказаться рядом, глаза от края до края, она стоит, смотрит снизу вверх, близко подошел.

— Понимаешь, я хотела бы, чтобы... чтобы оно...

Тепло как. Смотрит, и путаешься в словах, все не те приходят, а тех будто и вовсе не знаешь.

— Я просто хотела...

Остановил, и не то чтобы — сожаление, но вздох, в каждом слове будто вздох:

— Олюшка, прекрасная, ты ведь далеко...

И несколько секунд молчания, потом отпрянули друг от друга: Свету стучать не научили.

— Нико, вот вывела полосу. Посмотри.

Они склоняются над листом, глупо топтаться рядом.

45

— И потом два дня — четверг и пятницу — он вел себя со мной, будто я... не знаю...

— Будто у него к тебе исключительно сурьезное отношение.

— Ален, ну что ты так цинично?

Ольке уже под тридцатник, а рассуждает, как тринадцатилетняя.

— Потому что у мужиков настоящее чувство рождается с трудом. И если это происходит, нужны... скажем так, не те условия, о которых ты тут нам с Иосифом поведала. Да и срок... у вас маленький. Если что и зародилось, так только эмбрион. Без глаз и сердца.

В Алене Оленьку раздражало именно это — помесь цинизма с поэтическим слогом. Этакий гибрид из Онегина и Ленского. «Без глаз и сердца».

— Понятно. А у вас с Иосифом были прямо-таки идеальные

условия, как я понимаю. Опасная близость супруги подогревала... «эмбриона».

Олька бесилась, и бесилась оттого, что была не права. Потому что сказать нечего.

— У нас не было эмбриона. Оно сразу возникло. Но такое бывает редко, Оль, не надо говорить, что это твой случай. Может, если бы я не напомнила Иосифу жену в молодости, ничего и не случилось бы.

Алена будто не хочет слушать про эти два последних дня — четверг и пятницу. Женского любопытства у нее нет. К ней не заходишь — она и не позвонит, а зайдешь наконец — не спросит, почему пропадала. Но говорить больше не с кем. Выходишь замуж, рожаешь ребенка и оказываешься в вакууме.

— Почему ты не веришь в эту историю? Почему со мной не может случиться что-то красивое? Я не могу больше — вот так, между кухней и...

Сейчас Олька заревет, у нее нервы. Она хотела влюбиться, и ей это удалось. А такие мелочи, как...

— А такие мелочи, как «К двенадцати буду» тебя не остужают?

Собиралась зареветь, но на полпути остановилась. Тема уж больно животрепещущая.

— Ну ты же не желаешь ничего слушать! Это не те «двенадцать» были...

— Неужели двенадцать утра? Где же он всю ночь шататься собирался?..

46

Это действительно были двенадцать утра. Оленька промучилась до трех ночи, размышляя над вопросом — любовница? благоверная? ребенок? сестра? может, мама? Кто ждал его? Утром встала в отвратном настроении, не клеилось это все — зачем кивать на то, что она «далеко», если его самого нетерпеливо ожидают с жареной курицей?

Решила поговорить со Светой (она-то в теме). Небрежно так

бросить: «А Нико женат?» Или — нет, похитрее: «А чего Нико нас допоздна держит? Его что, дома не ждут?»

Но все разрешилось чудесным образом.

Вера-наборщица, юное создание, единственная, кто являлся поутру и отчаливал ровно в шесть (училась на вечерке), сдавала зимнюю сессию, но на работу приходила: когда брали, условием было, что служба во главе угла. Вера согласилась: капитализм, выживает покорнейший.

И вот у этой Веры случился экзамен, после экзамена юноши и юницы решили отметить успешное начало сессии, и ведь отметили. Что там такое приключилось, осталось Вериной тайной, но появилась она в подвале вместо десяти утра в половине третьего дня. На ее беду, Шлыков нарисовался четвертью часа раньше, а ведь поспеши она, история могла бы и не всплыть. Хотя, может, она и так спешила.

Шлыков, понятно, на ситуацию среагировал. Сейчас не гаркнешь — человек в ответственный момент, перед сдачей номера, еще что-нибудь отметит.

Вид у Веры был неважнецкий, но Нико это не смягчило.

— Я вчера вернулся домой в час ночи, — заявил он так, чтобы все слышали, а не только Вера. — А в полдень был уже в типографии, но, чтобы быть там к двенадцати, все личные дела сместил на с восьми до одиннадцати, и сделал.

На словах «быть там к двенадцати» короткий взгляд на Оленьку.

— Это я к тому, что личная жизнь, Вера, вещь замечательная, но выноси ее за рамки служебной. А то придется нам расстаться. Поняла?

Вера хмуро кивнула.

— Домой иди.

47

— В половине одиннадцатого вечера он звонит в типографию? — Алена сжимала двумя пальцами тоненькие, нежные лап-

ки Свинтуса. Как же они в природе по земле топают, может, коростой покрываются?

Оленька вздохнула: разве можно так жить, ничему не веря?

— Типография ночью вообще-то работает.

— Ты уверена?

— Я знаю.

— И ночью, и днем?

— Да.

— Какие трудолюбивые граждане.

Непонятно, чего Алена добивается. Все равно она не может судить, вот так, издалека. Как передать (и надо ли?) — это ощущение... два дня — нет, не ласки, не нежности, к ним дорожка уже проложена, но это еще не они, — два дня ты будто елочная игрушка в вате: тебя берегут, тебе мягко и уютно — зажмуриться хочется от блаженства.

В углу у Алены стояла небольшая елка, вместе покупали. Все шары были одинаковыми, усыпанные блестками, они только цветом различались. Иногда Алена обнаруживала полное отсутствие фантазии. Или нет, просто купила коробку, не думая.

Все новое: год, снег за окном, работа, и вот это — когда ты как игрушка. И Алена думает, что она, Оля, возьмет и откажется от этого только потому, что Шлыков слишком хорош.

Оленька стукнула ногтем по елочному шару, он тихо звякнул.

— Взрослые мужчины умеют окружить... теплом. Да?

«Да?» — просто чтобы показать: она тоже знает.

— Это твой Шлыков «взрослый»? Ему, ты говорила, сорок три? Ну, по моим меркам, он еще в штанишках коротких. Что похоже на истину.

— Нико? В штанишках? Ну-ну. Знаешь, сколько он всего повидал? Я тебе рассказывала, как он квартиру купил? Нет? Чтобы залог внести, на БАМ студентом поехал — зарабатывал бешеные деньги по тем временам, рублей восемьсот в месяц. Чуть там не остался.

— Деньги держали?

— Нет, ощущение свободы. Тайга, сопки, красиво очень.

— Воля...

Оленька встрепенулась:

— Верно, воля... Он так и сказал...

— Знаешь разницу между «свободой» и «волей»? Воля — это свобода без границ, даже внутренних. И ты хочешь, чтобы такой человек... Свинтус, куда собрался?

Свинтус стек с Алениных колен и принялся обследовать диван, вперед усишками.

— Чтобы такой человек — что?

Оленька знала одно: Алена против Нико, непонятно почему, но против.

— Чтобы такой человек стал себя чем-то связывать.

— Да кто ж его вяжет...

— Ты.

Это уж совсем смешно. Разве не она, Оля, первая сказала, что этакую рыбу, как Шлыков, ловить нельзя? И потом, где это она его «вяжет»?

— Ты же собираешься ему позвонить.

Сравнила — вязание по рукам и ногам с невинным звонком.

— Может, мне его не хватает. Может, мне поговорить надо. Что в этом такого?

— А то. Оставь мужика в покое.

— Я не...

— Хотя бы на выходные. Пойдем, познакомлю с Васей.

48

Вышла от Алены, но вниз не поехала. Ждала, пока утихнут лифты, крутила в пальцах телефончик: серебряная рыбешка, легонькая, изящная — выбирала сама, а купил Вовка, на день рождения. И оттого неловко как-то звонить с этого телефона Нико. Впрочем, какая разница, теперь поздно совеститься.

Понимала, что права Алена — хотя бы в том, что не стоит по-

роть горячку. И медленное сближение куда вернее воздействует на мужские мозги, чем столкновение. Но ведь она ничего крамольного не делает, на простыню к нему не прыгает, просто звонит и предлагает (как соседу) посидеть за бокалом винца. Давая таким образом понять, что дома она не приклеенная. И расширяя возможности лучше узнать друг друга. Чтоб столкновение не столкновением было, а мягким приземлением.

Звонить с подаренного Вовкой мобильника все-таки противно. Но это чувство будет теперь с ней повсюду. Люди придумали брак и священность его уз, а ведь на то и говорят «узы», потому что — если с радостью живешь с человеком, то ни о каких узах и речи нет, а коли нет радости — руки выкручены, священной веревкой перевиты: сиди и не рыпайся, иначе совесть до косточек заест.

Один лифт утих, но второй гудел, где-то далеко внизу терпеливо открывая и закрывая беззубую пасть. Наверно, ребятишки баловались, а может, кто-то переезжал: таскал мебель, как заведенный.

Оленька вышла на черную лестницу, притворила дверь. В наступившей тишине ухало сердце. Она стояла и прислушивалась к нему. Ей совсем, совсем расхотелось звонить. Несколько раз она начинала набирать, но волнение становилось нестерпимым — нажимала кнопку отбоя. Что сказать, как? Нет, уж лучше дома сидеть. Но она представляла себе Вовку (включил идиотский боевик, а Степана засадил за компьютер, проводить по лабиринтам блин с глазами, на ухабах подпрыгивающий), представляла этот гаснущий день, вспыхивающие за окном огни, дурацкая эта неоновая «АКЕТПА» не сразу загорится, а частями, с натугой, и бросит на снег за окном химически-зеленый отсвет... нет. Нет. Она позвонит Нико. Скажет Вовке, что они сегодня работают, недолго. Возьмет машину, Вовке ж не нужно.

Она набрала в легкие воздуха, выдохнула и побежала пальцем по кнопкам.

49

— Интересно, вот сейчас праздники... а со вторника кто будет Степу из сада забирать?

Вовка сидел перед телевизором — то ли фильм был бесконечным, то ли он его в два приема смотрел.

— Хочешь, чтобы я ушла из «Холостяка»?

— Я ничего не хочу. Просто спрашиваю.

Раньше он эту проблему решил бы сам, все неуютные мелочи быта всегда висели на нем, от «чтобы мыло не кончалось» до «сходить на собрание жилтоварищества». Оленька привыкла к этому копеечному, но — безусловно — комфорту, понятия не имела, где он платит за свет и как записывать показания счетчика. Еле добилась права сама себе прокладки покупать, в остальном Володик держал оборону. Хозяйственность не пропьешь.

А сейчас он все это сделал специально, Оленька уверена была. Знал, что она клювом прощелкает, не подумает. И вот за два дня невзначай интересуется.

— Я Алену попрошу, на первое время...

— Ну конечно. Сейчас. Своего бэбика одного дома оставит, а за твоим побежит. Во тьму и холод.

— Галю с одиннадцатого этажа можно...

— Галин сын в саду около дома, а Степа — по твоей милости — за три квартала. Никуда она не пойдет.

— Там сад лучше, и ты это прекрасно знаешь. Я ей деньги предложу.

Оленька поклясться могла, что в глазах у Вовки мелькнуло ну если не торжество, то что-то похожее.

— Она не возьмет. Никто этим заниматься не станет. А я раньше с работы уходить не-мо-гу.

Ну прямо беда.

— Вовка, что делать-то? Я ж тоже...

И тут он пожал плечами. Все. Умыл руки. Ревнует к Нико — факт, только методы борьбы у него какие-то жалкие.

— Хорошо. Я сейчас звоню маме и еду со Степкой к ней. Мо-

жет, она согласится. — И — громко, в соседнюю комнату: — Степан! Собирайся, к бабушке поедем.

— Ты хочешь заставить свою мать *каждый день* мотаться в Бутово, чтобы забирать ребенка? А потом на ночь глядя возвращаться?

— А я ее попрошу у нас пожить недельку. Пока замену ей найду.

Поморщился — не хочет тещу на недельку. Сам виноват.

— И как же ты найдешь замену?

Думает, она совсем уж беспомощна. Видно, для того и старался все это время — чтобы зависима была. Высадил в теплицу и знай температурку поддерживал.

— Ключи от машины дай.

50

Если Шлыков перезвонит, по крайней мере, она будет не дома. За последние дни у Вовки уши вымахали, как у слона, в квартире разговаривать невозможно.

Автоответчик сообщил, мол, не огорчайтесь, что не застали, — оставьте сообщение... как только, так сразу... Она и оставила, после некоторого колебания. Но это лучше, чем перезванивать.

Сказала, что ее посетила незатейливая идейка, которой она не прочь поделиться. «Набери меня, когда сможешь. Оля». Идейка, понятно, о встрече, но кто ж сразу карты раскрывает. Пускай сперва позвонит.

Просидела у мамы до одиннадцати (Степана уложили), потом домой поехала. Договорились, что завтра вернется и они втроем пойдут в парк. Степа недельку поживет у бабушки. А бабушка купит себе больничный, и дело с концом. Все довольны, включая участкового врача.

Как только в дом вошла, услышала странные звуки. То ли хрюканье, то ли повизгивание. Заглянула в кухню и глазам не поверила: на столе стояла большая клетка, а в ней сидел Свинтус.

В черненьких лапках он держал стебель цветной капусты и точил его, живо двигая усишками. Рядом примостился не вышедший встречать Вовка и чесал Свинтуса пальцем, сквозь прутья клетки.

Не хотелось заговаривать. Она с удовольствием осталась бы у мамы, если не надо было бы собрать Степке вещи на неделю. Но тут уж не до молчанки.

— Что случилось?..

51

Алена смотрела на спящее Юленькино лицо. Нежное такое личико, безмятежное...

Собралась буквально за час, покидала в сумку необходимое, забыла половину, пес с ним.

Напрочь из головы вылетело, что есть еще Свинтус. Насилу вытащила из-под дивана, весь в пыли, аж поседел, только глаза-бусины — черные, блестящие: глядят. Набрала Олин домашний, подошел ее муж.

Он оказался вполне милым, этот Володя. Поднялся, забрал клетку, сумку с вещами. Сказал, что отвезет на вокзал. Сообщил, что «Оля со Степой к матери поехали». «А меня никто не позвал», — добавил после паузы. Единственное, чем Алена нашла поддержать тему: «А чего они машину не взяли? У Оли же права есть» — натолкнулось на усмешку: «А я ей ключи не дал». Алена в ответ промолчала.

По дороге на вокзал говорили ни о чем.

Этот мальчик страдает, и у мальчика нет шансов удержать то, чем он якобы владел. Домашний мальчик. Не злой, но до поры: и хомяка можно растравить.

Мальчик сделал ставку на другое существо. Этому другому существу, Ольке, дано почетное право заполнять всю его жизнь. В общем-то пустую жизнь.

— А что ты делал до встречи с Олей?

Он принялся рассказывать — без энтузиазма, но гладко, — как жил в Гонконге, как тусовался с питерскими рокерами, как...

— И ты был счастлив?

Пожал плечом.

— Я не знаю. Ты о чем?

Он не знает. Не знает, что человек, который самому себе не нужен, никогда не будет нужен другому: это нехитрый закон.

Жалко мальчика, не на ту поставил. Ольке ведь герой требуется, а не передвигатель домашних тапочек.

Но он неядовит и заботлив. Он, может, жизнь за нее, Ольку, отдал бы. При случае. Ему не жалко. Но это не храбрость.

Как раз сегодня нашлась книжка Секстон — для Ольки. Ну куда уж. Кузнечик ничего не слышит, кузнечику герой мерещится. А в книжке как раз об этом —

«И когда любимый человек
ценою жизни спас тебя, та храбрость
не храбростью была, а лишь любовью.
Любовь проста, как мыльце».

— Любовь проста, как мыльце.

— Что?

Как ему объяснить, грустному Володе, что любовь — это просто? Не надо быть сильным, чтобы отдаться любви и затем «незаслуженно» страдать. А вот храбрости надо учиться.

Если сейчас у нее отнимут Иосифа, да, ей будет очень тяжело. Но она выстоит. Вот и все.

— Надо выстоять, Володя. Вот и все.

Приехали на вокзал раньше, чем она думала. У них полчаса было, но ей не сиделось — взяли кофе в пластиковых стаканчиках, встали у выхода на пути. Он хотел бутерброд — купить, отказалась. Ничего в горло не лезло.

— Володя, я тебе дам ключи от квартиры. Совсем забыла — у меня же цветы. Пусть Оля поливает, хотя бы раз в три дня.

— Я сам буду.

То ли неожиданное это сближение так подействовало, и он хочет что-то хорошее для нее сделать, то ли боится Ольке ключи от пустой квартиры давать.

Стучат колеса. В детстве она любила этот стук. Нина ино-

гда — очень редко — вывозила ее на море, и колеса стучали лучшей музыкой на свете.

Нина... Нет, *об этом* она будет думать утром, не сейчас.

То-то завтра Ося удивится, обнаружив ее в Нижнем. Всплыло его лицо, когда первого января она вбежала в комнату из кухни — уже спать легли, но свет еще не потушили. Пить захотелось, и возле раковины она обнаружила мускулистого такого таракана. Одинокого. Влетела в комнату: «Ося! Убей эту гадость! Скорее!» Приподнялся на локте: «Это ты так про Свинтуса?» Но тут не до смеха — зверюга уйдет в любую секунду, нарожает потом детушек. Надо же, новый дом. «Ося, ну прошу тебя, там тараканище огромный!» Даже ноги с дивана не спустил. Видно, очень идти не хотелось. Развел руками: «Так это ж Вася...» Метнулась в кухню — поздно, ушла животина. Меж тем Ося завелся: «Вася дом охраняет. Вася кому хочешь руки переломает...» Смотрела на его лицо; оно всегда будет для нее красивым.

Как оказалось, не только для нее.

Нина, зачем ты это сделала. Где найти вторую такую: в шестьдесят лет ей все еще пятнадцать, со всеми вытекающими — обидами, мечтаниями. Для нее это был позор и это было предательство — с ее, Алениной, стороны. Наверно, она навоображала, что они с Осей смеялись над ней все это время. Над ней, вытащившей Алену из семейки-клоаки, не пожалевшей своего будущего. Кто знает, могла бы тогда, давно, за своего Витю выйти, еще одно дитя родить — ей было сорок пять. А вместо этого отмыла Алену, запуганную Алену, первое время не отходившую от нее ни на шаг, потому что здесь кормили и не били. Нина... Может, это просто несчастный случай. Но теперь — все. Она будет рядом столько, сколько нужно. Прямо с Юлькой станет ночевать в больнице. Пускай попробуют не разрешить. Она так долго искала ее. Только бы — простила.

52

Все эти выспренние слова, тьфу. «Надо выстоять, Володя. Вот и все». Правда одна: он любит женщину, которая к нему рав-

нодушна. Которая непонятно почему выскочила за него замуж и даже ребенка родила (не хотела, но родила-таки, значит, в счет).

Странная она была в этот вечер, Алена. Может, у нее что-то случилось, он не стал спрашивать. Какие-то фразы бессвязные бросала. Ну поэтесса, у них все не как у людей. Хотя, может, на что намекала. Понятно, она информирована куда лучше его. Что же это значило — «Надо выстоять»? Что у Ольки просто блажь? Или что Олька уйти собралась? Куда она пойдет? Неужто и правда у них там с этим... как его... Шлыковым...

Его больше не раздражала Алена. Если бы она не была так взъерошена, не спешила бы так, они могли бы сесть, пивка выпить.

По пути с вокзала подумал, что можно было бы заехать за Олькой к ее матери, но не стал. Противно возвращаться в пустую квартиру, но — как там Алена сказала? — выстоять надо?

На самом деле, хотелось бы узнать Алену поближе. Может, это сейчас так показалось — было в ней что-то страдальческое, что ли. Хрупкая такая, загораживается усмешечкой. Он в Ольку влюбился именно поэтому — защитить захотелось. Все отдать, хотя и не владел ничем. Да... Защитил. Отдал. Ни разу «люблю» не сказала, сука.

53

Степка, жизнь моя, как я скучаю по тебе. Увезли на неделю, даже не спросили: Володя, а ты согласен? Деваться некуда, согласился бы, но как пусто стало в доме. Развлечение — телик под пивко да — около одиннадцати — ехать за Олькой. Она надулась, что ключи ей не дал, думает, мстил. (Есть уже за что?) Просто после этого неврастеничного «Жми на желтый!» за руль ее пускать не хочется. Еще и с ребенком.

...Приедешь в половине двенадцатого к ним под дверь, бутылочку вскроешь и ждешь до посинения. Главное, успеть отлить до ее прихода — очень раздражается, когда на полпути из машины вылетаешь.

...Повесила объявление в подъезде: «Ищу женщину, чтобы забирать ребенка из детского сада». Прошло четыре дня, никто не откликнулся. Это даже порадовало — не может она ничего, без него как была беспомощной, так и осталась. Позвонил в сад, узнал, что есть пара ребятишек, за которыми пенсионерка приходит, некая Эльвира Ивановна — у этой Эльвиры детсад на дому, обойдет два или три садика, соберет детей и домой ведет. Ужином кормит. А уж родители особо занятые забирают чад, когда могут. Добыл телефон Э.И., позвонил, сговорился. Все. На следующей неделе Степка дома будет.

54

У Шлыкова новая манера. Который день подшучивает, незлобно так. Можно сказать, даже ласково, но в меру.

В выходные не перезвонил. А как ждала. В воскресенье встала пораньше, собрала Степкины вещи и вон из дома. При маме проще.

— Не знаю, чем вы, господа, занимались в уик-энд, — выразительный взгляд на Егора, тот хмыкает, — а я сидел и строгал статью, как старый Карло. В рубрику «Холостой выстрел». Вводная статейка, как уславливались.

— Название? — Это Света.

— «Охота на охоту». По-моему, вполне.

— Нико у нас заядлый охотник, — зачем-то пояснила Оленьке Света.

И тут Оленьку черт за язык потянул:

— А я придумала еще одну рубрику со словом «холостой»...

Не стоило так шутить, особенно в присутствии Светы. Та уже косилась.

— «Холостой патрон»...

— Ну, «выстрел», «патрон»... Суть одна, — это Егор.

— Ничего себе одна. «Холостой патрон» — рубрика для тех, кто не знает, как общаться с одиноким, но симпатичным шефом... Патроном...

Нико хохотнул.

— Ну-у-у... — протянул Егор, — пожалуй, я тут лишний... пойду за «крошкой-картошкой». Кому брать?

Всем: Сереге, Нико, Свете, Оленьке.

Это была пятница. Назавтра выходили тоже — сдаваться ведь через полторы недели.

«Завтра будет разговор со Светой», — шестым чувством уловила Оленька.

55

Не подвело шестое чувство.

Пришла — Света уже у компьютера сидит, в углу покорно клацает клавишами Вера. Егор появился и сразу убежал за колой. Больше никого.

— Вас только двое?

— Да подойдут сейчас, — отвечает Света, оторвавшись от экрана. — Суббота как-никак. Нико, наверно, с женой в постели поваляться хочется.

Света смотрит на Оленьку в упор. И Оленька думает только о том, как спрятать лицо — изломавшееся, будто на картине Пикассо.

56

— Это было отчаяние. Но я не специально. Пошла, наверное, на красный. Я просто шла куда-то. Вот пыталась вспомнить, как в поезде ехала, как с вокзала выходила — будто не было этого. И около вокзала... Кажется, я все-таки не успела испугаться. Просто что-то страшное надвинулось, но испугаться ему я не успела. Я не успела...

Когда Нина повторяла одни и те же фразы, Алене казалось, что Нина далеко, думает совсем о другом, а может, и ни о чем не думает, у нее на голове гематома, неизвестно, какие последствия ждут.

— Знаешь, я запахи перестала чувствовать.

Вот тут-то ей, можно сказать, повезло. На соседней койке лежала бабулька: когда она шевелилась, от нее несло мочой.

Юльку Алена оставила у подруги (воскресенье), на несколько часов. Иосиф обещал подъехать ближе к вечеру, когда сочинит легенду для Ольги Эги-ди-юсовны.

— Нина?

На лице один шрамик, нога в гипсе. Это можно пережить. Будут ли делать операцию, неизвестно. Лучше, конечно, чтобы так срослось. Врач только завтра появится, выходные же.

— Нина, тебе очень больно?

— А ты как думаешь? — Всхлип.

Молчание.

— Знаешь, Алена, не это самое ужасное. Вот отчаяние, да. Где взять обезболивающее... Я такой одинокой себя почувствовала. Будто я совсем одна, понимаешь?

— Понимаю. Раньше у тебя была я.

Нина не ответила, отвернула лицо. Под другим углом шрам оказался довольно заметным.

— Я никуда от тебя не делась, Нина. Я с тобой. Я всегда была с тобой.

— Нет, — Нина зажмурила глаза, и ресницы сейчас же промокли. — Нет.

— Да.

Нина вытащила руку из-под одеяла, провела ладонью по глазам. Лак у нее на ногтях облупился.

Бабка на соседней койке завозилась, и Алена затаила дыхание.

Нина с минуту смотрела на лежавшие на тумбочке красные яблоки — единственное, что Алена успела ей купить, — потом произнесла тоном скорее доверительным:

— Я даже рада, что все так случилось. Знала, что ты прибежишь. И что тебе будет плохо.

Алена улыбнулась:

— Нина, ну какой ты ребенок! «Пойду выколю себе глаз, пусть у тещи зять кривой будет!»

— Мне было так... невыносимо, когда я из твоего дома утром уходила. И после тоже. Жар внутри, такой жар...

Глупо бабушке с внучкой конкурировать.

— Нина... Потом напишешь красивые стихи, ты ж еще не бросила «это дело»...

(Как-то Нина замучила гостей декламациями своих виршей, и один, подшофе, не выдержал: «Нинка, бросай ты это дело, скверно у тебя получается»; с тех пор в дом допущен не был.)

— А и напишу! — буркнула Нина.

Алена взяла ее за руку. Здесь, в мире рифм, они соперничали, посмеивались одна над другой, каждая уверенная в своем превосходстве. С того времени, как Алена перестала являть миру свои стихи, Нину разбирали разом любопытство и страх — а вдруг та, другая, лучше пишет, оттого и скрытничает, оттого и подшучивает над ней. Но сейчас Алена говорила без усмешки.

— Вот и напиши. Всегда же через боль.

Нина повторила:

— Такой жар, там, внутри. И одиночество.

Алена помолчала мгновенье, потом произнесла:

— *«...ты был один тогда, и пламя жгло,*
обугливало сердце, превращая
живое в пепел, ты ж его сжимал
рукой, пока не задушил последний всполох.
Затем, мой милый, это пепелище
засыпал ты, лицо припудрив горю,
покрыл все это плотным одеялом
и дал уснуть. Когда ж оно проснулось,
не горе это было, а цветок,
цветок из лепестков, как крылья».

Я тут для Оли, соседки, Энн Секстон нашла, полистала... Удивительно, все еще что-то помню.

Нина вдруг ожила. Что-то появилось у нее в глазах, и Алена

подумала: «Сейчас будет торговаться». Это было бы очень в Нинином духе.

— Алена... Прочти мне что-нибудь *свое*, и мы будем квиты.

57

Разве он обманывал? Она сама себе кино показала. Холостяк нашелся... Разве такие бывают холостяками? Или нет, такие как раз и бывают. Десять раз женат, а все равно свободен для предложений. Интересно, а со Светой у него тоже роман был? Уж больно она нервная. Ведь сколько удовольствия себе доставила своим заявлением. Сволочная баба. Да какой коллективчик ни вспомнишь — всюду бабы склочные. Что в «Доме и офисе», что в «Красоте», откуда еле ноги унесла: работа — тоска, сплошное «косметика-тренажеры-диеты», а тетки одна другой зубастее. А «Жлобус»! Лера, которая была с этим... как его, Хомяковым, и еще секретарша — готова слабого в клочья разорвать, а на вид вечно утомленная. Была там еще Кэтрин... Незлая, но озлившаяся от такой жизни Кэтрин. Самая нормальная в этой своре, несмотря на все свои закидоны. Надо бы как-нибудь повидать ее... Но какая же все-таки свинья эта Света. Да и Шлыков не лучше. Наверно, всем все видно, всем все «понятно». Она, Оля, круглая дура, вприпрыжку бегущая мужу рожки наставлять. Хорошее начало, ничего не скажешь. Вот тебе и «пшашник шишни». Как бы не пришлось увольняться, от стыда.

Схватилась за сумку:

— Пойду булку куплю.

Как это ни грустно, надо завязывать со всем этим. Просто работать. Если с кем-то не сложилось, это не значит, что пора в петлю. Вот тут-то и понадобится — как там Алена сказала? — храбрость. Когда ни шагу назад и еще даже улыбаешься.

«Олюшка... прекрасная...» — но ведь говорил же, зараза. Врал? Играл? И это тепло — просто отработанный цирковой номер? Наплевать. Все перечеркнуть. Все начать с листа белого. Чудо не случилось, ну и черт с ним. На днях проходила мимо вит-

рины с дорогим бельем. Ведь она таскает застиранную хэбэшку, ей все равно. Вовкино мнение не интересует, да и нет у него никакого мнения. Ему она нужна, а не белье.

Бродила между стайками кружевных, вышитых, усыпанных бусинками вещиц. Долго колебалась между строгим черным комплектом, с ниткой бусин цвета слоновой кости, и бледно-зеленым, с вышивкой: такие малахитовые тюльпаны — тонкие стебли, вытянутые лепестки. Померила оба, и оба подошли. Дорогое белье. Оленька никак не могла решиться взять один, не то что два. Но потом взяла. Оба.

Ни к чему теперь.

Машину Шлыкова она заметила издалека. Поскорей завернула за угол.

Как смехотворно все кончилось.

58

Степка теперь с Эльвирой Ивановной неразлейвода. В воскресенье гуляли, упал, завыл. И сквозь вой пробивается: «Э-эля... Э-эля...» Я сперва не понял, подумал, это припев такой. Но потом догадался. Недели Степану хватило для развития бурных чувств. Весь в маму.

Свинтус в квартире освоился, топочет, лезет под ноги, похрюкивает. Деловой. Степка сперва его боялся, а теперь только им и занят: «Свитус хочет яблочко», «Свитус кататься будет» («н» из вредности, что ли, не выговаривает). Сажает пушистого в грузовичок и возит за веревку по квартире. Тот встанет в кузове на задние лапы, передние положит на край и стоит, как некто на капитанском мостике, усов новогодний салют. Степка повозит его, а потом обязательно из кузова вывалит: крутит ручку сбоку, кузов поднимается, перекашивается, Свинтус скользит лапчонками и валится на пол. Дальше — кто быстрее: Свинтус — под диван или Степан со своими объятиями.

Олька ходит как в воду опущенная и вытащенная. Мокрая курица, словом. Что с ней, непонятно. На днях очнулась: а когда

Алена вернется? Когда захочет, тогда и вернется, мне она телефон не оставляла. Московский мобильный, понятно, отключен. Не ждет она звонков отсюда. Ольке, конечно, непросто: теперь бегать не к кому, жалиться. А ведь вся на нервах, чуть что — в крик или в слезы. Наверно, с начальничком проблемы. Тем лучше. Тем лучше.

59

— Свет, зайди на минутку, как закончишь.

Зашла.

— Ты что-то Оле ляпнула?

— В смысле?

— В смысле, что я мерзавец, у меня шестеро детей, две любовницы, которых я избиваю, и несчастная жена? Ты же обычно так действуешь?

— Нико, я дружу с Машкой и не позволю подложить ей свинью. Очередную.

— Машке никто свиней не подкладывает. Мы вместе уже двадцать с лишним лет. Я живой человек, Света.

Вроде как можно понять.

— Ну хорошо. Но что ты в этой Оле нашел? Или на безрыбье?

— «Безрыбья» не бывает. А нашел... да... что искал — то и нашел. Тут я ничего нового не придумал.

— Как всегда, таланты выискиваем?

— А почему нет? Она хороша собой — ладно, не спорь, это я тебе говорю, — и ум у нее живой. Меня такие женщины интересуют.

— То есть ты никогда ко мне не подкатывал, потому что я бездарна да еще и на Шрека похожа?

Откинулся на спинку кресла, потянулся:

— Если ты была бы бездарна, я тебя сюда не позвал бы. Ты же знаешь, для меня дружеских связей не существует, а есть

только работа: можешь — не можешь. А насчет Шрека... Ну... что есть, то есть...

Еле увернулся от пепельницы.

— С ума сошла! Пошутил! Сдаюсь! — И задумчиво: — То есть только что прозвучало предложение...

— Предложение? Не дождешься. Я ж с твоей «прекрасной Олюшкой» не стану конкурировать...

— Та-а-ак... Подслушивала?

— А то.

— Не люблю я это.

— Думаешь, мне нравится? Но надо же быть в курсе событий.

Хмыкнул:

— Я тебе сообщу, когда...

— Когда ее оприходуешь? Давай. Только вряд ли у тебя это получится.

Нахмурился, уткнулся в компьютер.

— Свет, слова выбирай, ладно? Мм... почему такие мрачные прогнозы на мое светлое будущее?

— Ты ее видел последние дни? На ней же лица нет. Она как ужаленная выскочила булку покупать, когда я сказала, что... ну, про Машку сказала.

— Тебя кто за язык тянул?

Света достала из кармана зеркальце, посмотрела в него, ощерив зубы.

— То есть ты девчонке голову морочишь?

— Да она ничего не спрашивала. К тому же у нее у самой муж наблюдается. Сморчок такой.

— Вот-вот. Она спит и видит, как от него отвалить. А тут ты, на белой кобыле. У Оли с головой проблемы. В тридцать лет нормальные люди в меру циничны.

Оторвался от компьютера.

— Светка, ты не понимаешь. В этом и весь цимус. Она просто потерянная такая. Сидит корректором, хотя могла бы дальше двигать. Мужа не бросает, потому что, опять же, куда идти, не

знает. Смелости ей не хватает. Знаешь, у меня даже какое-то такое чувство появилось... Защитить ее хочется, проблемы ее на себя взять. Чушь, но трогательно. Я собой доволен. Давно ничего подобного не испытывал.

— Понятно. Вот таких, как я, защищать не хочется.

— Тебя — защищать? Да я еле от пепельницы увернулся.

Помолчали.

— Ага, а потом будешь от нее избавляться, как ты это обычно делаешь.

— Да в том-то и дело, что с ней такой номер не пройдет. Она из тех, у которых «все или ничего».

— Максималисты, по-научному.

— Да нет. Просто она все слишком серьезно воспринимает. Может потом глупостей натворить, в стиле пятнадцатилетней. Сто пудов, что позовет к себе, едва сморчок отъедет на пару дней, — понаставит свечек, музычку подберет. И будет ждать признаний.

— Да... иначе, боюсь, никак.

Опять уткнулся в компьютер:

— А ты не издевайся. Вообще-то я не тороплюсь. Посмотрим.

Света встала, подошла к двери.

— Ты только уж скажи ей что-нибудь... жизнеутверждающее. А то она рассеянная стала, глаза на мокром месте, детский сад. Если бы я знала, что она такая сахарная — замужняя с ребенком, — не говорила бы ничего. Кстати, она уже две опечатки упустила. А нам сдаваться через неделю.

— Ну, скажу, что статью ее в следующий номер поставим.

Света резко повернулась.

— Да неужели? А мои тексты тебя не устраивают!

— Свет, не кипятись. Тут ничего личного. У нее хороший материал, с ним можно работать. Из этих рассказов кайтеров она вылила всю воду, получилось очень живо. С технической частью разберемся. А ты... ты фантастический дизайнер, но писать тебе вредно.

— Ясно. Что ж ей сразу не сказал? Она скисла, бедная.

— Ну так, чтобы не расслаблялась. И прекрати говорить о ней в покровительственном тоне. Склочный вы все же народ, бабы.

Света пожала плечом, взялась за ручку двери. Отправил ей вдогонку:

— Машке не скажешь?

— Черт с тобой. Делаю исключительно ради нее. Зачем ей трепать нервы. Да и у тебя, надеюсь, ума хватит цветочек не срывать. Камушком потом на шее повиснет. У меня одно условие: держи в курсе. Нико... ну немножечко... Мне ж интересно.

— В ближайшее время новостей не жди, работы полно.

60

Самое трудное — это не падение. Ну что — падение? Летишь себе, думаешь о жизни. Думаешь о том, что — не сложилось, о том, что глупо от этого зависеть. Заставляешь себя делать обычные дела — если не с радостью, то хотя бы не с отвращением. Говоришь себе, что у тебя нет поводов для того, чтобы отворачиваться от мира и утыкаться носом в диванную подушку. Ведь и правда — ты ничего и никого не потеряла, потому что ничем не владела. Это все фантазии: вообразишь полные ладони, а потом окажется, что они по-прежнему пусты. А ощущение от сладкой тяжести осталось, вот ты и тоскуешь. Но это все можно пережить.

Самое трудное — это падение и за ним — взлет. Ты уже стреляный воробей, ты веришь и не веришь. Сердцу верить хочется, но разум отказывается — ты только-только начинаешь успокаиваться, жизнь входит в колею. В конце концов, в колее тоже неплохо: нервы на месте.

Еще немного — и Оленька прониклась бы благодарностью к Володику. Терпел, молчал. Делал вид, что ничего не понимает. А может, и правда ничего не видел?

Да и было что?

Наверно, что-то было. Потому что сегодня Света ни с того ни с сего поинтересовалась у Шлыкова, как его жена терпит постоянные ночные возвращения. И добавила: «Ей что, все равно?» Губу прикусила, сдержала улыбку. Оленька заметила. Наверно, Света его жену не переносит. Или, скорее всего, просто завидует. Так или иначе, вопрос бестактный. Но Нико не надулся, спокойно так ответил: «Может быть».

И Света не выдержала, хихикнула, непонятно, что ее так рассмешило. Наверно, безучастие, с которым он это произнес. Да кто ее знает.

Но с той минуты начался этот пугающий взлет, пугающий: второй раз падать страшнее. Это как в аквапарке: съехать первый раз с горки — как нечего делать, а вот второй... Но стало так легко сразу. Так легко.

А, да, еще в апрельский номер кайтеров ставят. Надо позвонить Глебу, порадовать.

61

Номер сдали, сидели напролет последнюю неделю, поэтому Нико отпустил всех до первого февраля: с субботы до вторника, четыре дня свободы.

Четыре дня для того, чтобы подумать.

Хотя о чем думать? Последнюю неделю носились как сумасшедшие, не до сантиментов было. Первый номер надо в срок сдать, хоть умри.

Кстати, вроде неплохо получилось. На обложку поставили актрису из нашумевшего сериала (все видели, кроме Оленьки; непонятно, когда они телевизор смотреть умудряются). У актрисы больше открыто, чем прикрыто. Ну, холостяки, они такие, сразу побегут покупать.

Статьи... Оленьке приятно было их вычитывать. Это тебе не «Дом и офис» с излияниями про кондиционеры и утюги.

А с Нико... Оленька вдруг поняла: все шло своим ходом, с Нико. Какая нелепость — форсировать эти отношения! Сейчас, за-

вершив отчаянное падение мягким взлетом, она никуда не спешила. Она дорожила настоящим. Потому что в нем было все: обещание, надежда. Куда уж лучше.

62

В понедельник отвела Степу в сад, вернулась. Будто бы и нечего делать. Решила разобрать склад барахла в прихожей, повытаскивала из тумбочки ссохшиеся кремы для обуви, еще какой-то мусор, а в процессе раскопок наткнулась на странную вещицу.

Вернее, странной была не вещица, странным было ее нахождение в дальнем углу тумбочки. Аленины ключи, она их сразу узнала — по брелоку. Брелок — миниатюрную, до сучка-задоринки прорисованную мышеловку с кусочком сыра, — привез Алене Иосиф со встречи «сырогонов».

Предположить, что Алена встречается с Вовкой, было бы нелепо. Или она дала ему ключ, чтобы он кого-то водил туда?

Не то что ревность, но какое-то противное чувство.

Вот если взять и подняться к Алене? Может, она просто подарила Вовке брелок, а ключ вообще от других дверей (от каких?). Попробовать открыть квартиру.

Нет, невозможно.

Но ведь если Вовке разрешено, то ей, Оленьке, и подавно позволено. Вовка на днях сказал, что Алена звонила, не застала ее, Олю. Какая чушь. Чтобы заставать — на то мобильный есть.

Оленька почувствовала прилив раздражения. Алена всегда будет дикой, никогда ни к кому не привяжется. Еще своего Осю за милую душу бросит. Только и умеет, что посмеиваться и оценки раздавать. Никогда ни слова о себе. Вполне в ее духе — уехать, не предупредив, не попрощавшись. Не оставив координат. Ничего не объяснив. Может, с Иосифом поссорилась и поскакала мириться? Только ее уж три недели как нет.

Одна разгадка — подняться на двадцать первый этаж. Пусть это гнусно. А Вовке не гнусно скрытничать? У них там, видно, за-

говор. И возможно, никаких следов она не найдет. Но надо попытаться. Все-таки неприятно чувствовать себя дурой. А дуру из нее сделали, это точно.

Оленька взяла ключ с мышеловкой, вышла на лестничную клетку и вызвала лифт.

63

Потом был февраль. Тринадцатого Света поинтересовалась у Нико:

— Господин Шлыков, ты помнишь, что завтра День влюбленных?

Оленька уткнулась в экран компьютера: правила финальный вариант статьи «Будь под кайтом!» — название придумывать не пришлось, лозунг кайтеров всем понравился.

Нико хмыкнул:

— Сообщаю всем, что в ближайшие три дня дизайнер будет отсутствовать. Завтра он отмечает, а потом у него последствия.

— Здесь отметим, — отозвался Серега. Похоже, его такой вариант вполне устраивал.

Но Света на реплику внимания не обратила.

— Нико, я тебя предупредила при свидетелях. В шесть часов меня тут уже не будет. А в первой половине дня мне надо кое-куда съездить. Это значит, что я постараюсь прийти пораньше, но ничего не обещаю.

— То есть ты за меня все решила?

Оленька печенками ощутила — заводится. Вообще, иногда Света разговаривала с Нико просто безобразно.

— Знаешь что... Если *тебе* все равно, это не значит, что другим...

Как это понимать: «тебе все равно»? С женой, похоже, и правда все не очень.

Нико встал и ушел в свой кабинет, и остаток вечера эти двое не обменялись ни словом.

64

Света выключила компьютер без пяти шесть и была такова. Шлыков не показался из кабинета, хотя Света нарочито громко заявила:

— Всех — с праздником!

Вышел он только около семи, сказал — расходимся в девять, раньше смысла нет, пробки.

— А я на метро поеду! — обрадовался Егор. — Можно я тогда... прямо сейчас?

— Ну валяй, раз уж бунт на корабле. Серега, ты тоже свободен.

Но Серега, вот дурень, намека не понял.

— Да не, мне дома делать нечего...

— Понятно, — Шлыков повернулся к Оленьке. — А тебе?

65

Вот так взял и спросил: «А тебе?» В смысле: «А тебе есть что делать дома четырнадцатого февраля?» И что отвечать? «Нет»? При всех «раздеться»? Сказать «да»? И потом доказывать, что...

— Есть еще третий вариант: «Затрудняюсь ответить», — это Нико.

Пошел к себе, на ходу бросил:

— Если не хочешь в метро толкаться в час пик, подожди до девяти, я тебя отвезу. Мне по дороге.

— Я дальше живу...

— Ну и что?

Сделать Вовке сюрприз, ввалиться в десять домой.

66

Как весело! Шлыковская «Субару» летит, в два счета обходит квелые автомобильчики. Нико мягко ведет машину, играется с

— Говорят, вполне логично, что мышь присутствует, а не жираф.

— Тут не поспоришь.

— И еще Саша Черный писал, что мышь храбрее всех на свете.

— Да? Странно. А как же лев?

— И ты туда же... Видишь ли, «легко быть храбрым, если лапы шире швабры»...

— Это была цитата?

— Ну типа того.

— Догадался. Я ж дремучий человек, Оля. Так почему мышь-то храбрее?

— А что ей остается, как не храброй быть?

Посмотрел внимательно:

— Да нам всем только это и остается.

67

— Адрес твой надо было в навигатор забить, не подумал.

— Да я знаю, как ехать. Сейчас направо.

Молчание.

— Теперь прямо и во-он там налево.

— Я тебе потом, если хочешь, дам этот фильм посмотреть. Должен понравиться — раз храбрые мыши интересуют. Съемки шли тринадцать месяцев в Антарктиде.

— Где? Это случайно не про пингвинов?

— Точно. Про императорских. В русском прокате — «Птицы-2». Но не люблю я, когда названия передергивают.

— Да, я слышала. Отважные пингвины.

— Вот-вот.

— Налево. И опять налево. Вон мой дом.

Остановились у подъезда.

— Спасибо тебе.

— Да не за что в общем-то. Приятно было побеседовать со знатоком литературы.

Оленька отстегнула ремень безопасности.

— Да какой я знаток... Просто ребенку стих недавно читала. Вот у меня соседка... вернее, подруга, Алена, она, наверно, часа три может без остановки, да наизусть.

Шлыков приглушил мотор.

— Восхищаешься? Завидуешь?

— Вот еще.

— Ну давай как-нибудь в гости к ней сходим. К соседке твоей.

— Да? Не знаю... Ее сейчас нет. Уехала.

— Когда приедет. Спешить некуда. Ну ладно, с праздником тебя.

Потянулся, Оленька на секунду растерялась, — но нет, коснулся губами щеки.

— Кстати, если хочешь, могу забрасывать домой. А то чего мужа гоняешь. Мне ж нетрудно.

Едва сдержала улыбку.

68

— Супруг не ревнует? — Нико не отрывал глаз от дороги.

— Я сказала ему, что меня Серега отвозит.

— А Серега безопасен?

— Ну уж безопаснее, чем некоторые.

Иногда разговоры по пути домой не клеились — если Нико был раздражен или устал. Иной раз спорили о работе, и Оленька втайне жалела, что время тратится на то, чему место в офисе. Когда беседа становилась слишком личной, Нико мягко, но упрямо сворачивал с нее.

Поначалу скрывали, что Оленька едет не с мужем, — приходилось ей выметаться первой и ждать на холоде. Быстро поняли, что это не выход. Тогда она стала брать ключи от машины, а Нико — парковаться на соседней улице. Оленька ждала в тепле и добре. Но Света что-то учуяла и однажды увязалась за Нико, мол, где ты теперь паркуешься, машины не видно, нарыл укромное местечко, покажи, я тоже хочу. К тому времени Оленька уже си-

дела внутри. Завидев приближающуюся пару, она не нашла ничего лучше как улечься поперек сидений: головой на водительское. Но Света была не так наивна (Нико обрадовался, увидев пустую машину, — решил, что Оленька забежала в ночной магазинчик). Те двое остановились возле водительской дверцы, и Света столкнулась с лежащей Оленькой глазами. Оленька примостилась на боку, поэтому взгляд у нее получился исподлобья, зыркающий такой. Света что-то сказала, и Нико резко повернулся. Глупо стало валяться; Оленька выпрямилась, в попытке сохранить остатки достоинства. Потом между теми двумя за стеклом произошло подобие ледового побоища, только на словах и очень быстро. Света развернулась и потопала прочь. Нико рухнул на сиденье.

— Дура.

69

Они потом смеялись — ведь Нико ее со злости (или назло?) поцеловал. Света еще маячила вдалеке, может, даже оглянулась. Но Оленьке было без разницы.

И диалог у них получился замечательный:

« — Дура.

— Я?

— Нет, она».

Это было в самом начале марта. Только-только сдали апрельский номер и начали майский.

70

Оленька запретила себе бояться Свету. Да и что та могла ей сделать? Они почти не разговаривали.

Что пугало больше — мысль: куда все катится? К осваиванию заднего сиденья «Субару»? «Давай сделаем это по-быстрому», или как там фильм назывался. Но Шлыков не торопился: не до того ему было. Героиня на обложку никак не находилась, журналист с материалом подвел. Пошла вторая неделя марта, гряну-

ли праздники. Свете, Оленьке и Вере вручили по веничку мимозы и по косметическому набору (Серега выбирал; зачем ему только деньги дали).

На Восьмое марта Оленька дозвонилась Алене. У Глеба-кайтера вызнала телефон первой школьной любви дочери Иосифа, у школьной любви выяснила домашний телефон Кочуров. Трубку все время брала противная баба (видимо, жена), и на третий раз Оленька не выдержала и официальным голосом попросила «Иосифа... э-э-э...» — «Александровича», — неласково подсказала трубка. Оленька извинилась, наплела, что она журналистка из Москвы и что «друг знакомого дочери Иосифа... э-э... Александровича посоветовал обратиться к Иосифу... э... Александровичу, потому что сырное производство — очень интересная тема для журнала». — «Какого журнала?» — буркнула трубка. И тут Оленька, заметая следы, отчеканила: «Дом и офис». И торопливо добавила: «Наши читатели хотят знать, как начать свое дело... сыры... это так уютно звучит... По-домашнему». Трубка смягчилась и сказала, что Иосифу Александровичу можно позвонить в офис, вот номер. Все. Алена была у Оленьки в руках.

Если бы не история с Нико, Оленька не стала бы так исхитряться. Алена прекрасно себя показала: за два месяца — ни весточки, ничего. «Подруга». Даже не думает, что о ней тут вообще-то беспокоятся.

Ну потому что ей-то другие до лампочки.

Да. Оленька была обижена. Но на заднее сиденье «Субару» не хотелось. Хотелось по-человечески, красиво. А для этого надо знать, когда появится Алена.

Ключик-то подошел — тот, который с мышеловкой.

71

Нико начинал психовать — в сроки не укладывались. Журналисты тянули с материалами, Света простыла и сидела дома, хрипела в телефон. Да еще и Егор поскользнулся на улице и растянул связку на ноге. В общем, светопреставление. Всю дорогу до

дома Нико молчал, гнал, злился на «чайников» и если о чем говорил, так только о работе, в тоне, от спокойного далеком.

— Нико, ну хочешь, я не буду сейчас тебя... обременять.

— В смысле?

— В смысле, не отвози меня, я Володю попрошу...

— А, это. Нет, все нормально.

Нервно так: «Все нормально» — и молчок.

Тишина в салоне.

— Нико? А что, Суш... как его, Шушлебин не прислал статью про суши?

— Нет.

Молчание. Затем раздраженное:

— Это не статья, а интервью. Из Токио мэтр приезжает, дает мастер-класс. Шушлебин выпросил у него полчаса личного общения.

— И что?

— Крутит теперь хвостом. Может, не сделал, может, перекупили.

— А если не ставить материал?

— Мы анонс в прошлом номере дали, не помнишь?

— А, да.

Молчание.

— Нико, а давай сами найдем японца и все у него выспросим.

— К японцу не подступиться. Да он уже, наверно, уехал. И кого я к нему пошлю? Внештатники еле ворочаются. И по-английски только Шушлебин сносно.

Молчание.

— Нико? А можно я схожу к японцу?

72

Конечно, он сказал «нет». Если даже японец и не уехал, то пойди сыщи его. А сыщешь — не подпустят: Шушлебин записывался за два месяца.

Оленька встала пораньше и принялась обзванивать бары суши. В одном сказали, что мастер-класс прошел третьего марта, в японский праздник девочек, а где сейчас господин Коимори Итиро, пес знает.

Имея на руках имя, можно звонить по фешенебельным отелям (не станет же мэтр ютиться в дыре). В отеле попугай берет трубку, а ты официальным тоном просишь соединить с господином Коимори Итиро. На имя среагировали в «Мариотте»: сказали, уже уехал, но могут дать телефон пресс-службы. Взяла, без всякого энтузиазма. Не получилось Нико удивить.

Позвонила в пресс-службу, так уж, просто.

— Hi, can I speak with Koimori Itiro?

— Девушка, можете по-русски...

Да, мэтр отбыл в Страну восходящего солнца. Но никаких интервью он не давал. У старика с английским туго.

— Но наш корреспондент записывался...

— Он, наверно, на мастер-класс записывался.

— Нет, сказал, что господин Итиро ему полчаса выделил...

— Господин Коимори. У них сперва фамилия, потом имя. А как зовут вашего корреспондента?

— Шушлебин.

— Шушлебин, лохматый такой? А, так его с мастер-класса вывели. Была презентация, он напился саке и начал, ммм, неуважительно себя вести по отношению к господину Коимори.

— Правда?

— А что вы думаете... Если у вас есть вопросы, подъезжайте, ответим.

— Но мне нужно, чтобы сам...

— Вы как маленькая. Напишете, что он и отвечал.

73

У них все было: фотографии с мастер-класса, яркие картинки японской снеди, даже портрет Коимори-сана: тощенький такой

япоша, в морщинах — будто взяли и хорошенько смяли личико. Сидит на стульчике в этаком золотистом халате.

Как все обговорили, Оленька включила мобильный и обмерла: четверть пятого, и не меньше сорока минут добираться. Едва вышла из офиса, телефон зазвонил.

— Оля, ты где? Шлыков зол.

— Сережа? Я еду. Скажи ему, что японец у нас на крючке.

— Какой японец?

— Ну скажи. Он знает.

Не успела до метро добежать — звонок.

— Оля, что за шутки?

— Нико, я с представителями японца встречалась. Материал есть.

Молчание.

— Ты когда будешь?

Не слишком-то он обрадовался.

— Через полчаса.

— Поторопись.

И трубку положил.

74

— Оля, когда все делают что в голову взбредет, это называется анархия.

— Но...

— Я тебе этого задания не давал. Вообще, ты корректор, а не репортер. Забыла?

Вот так, прилюдно. Света, с красным от сморкания носом, от экрана оторвалась, наблюдает.

— Я хотела...

— Да мало ли, что ты хотела, мне на фиг не нужны представители, мне китаец нужен.

— Японец, — это Серега.

— Ну японец. А не какие-то там...

— Да он никому не давал интервью! Он не говорит по-анг-

лийски! Он старый и больной! И статью он эту никогда не прочтет, кому какая разница! У них половина ответов была заготовлена, он еще дома у себя на вопросник ответил! И ничего, никто не жалуется! Твой любимый Шушлебин вообще наклюкался и нахамил старикану, вывели под белы руки! Ну давай, я сейчас все порву и в помойку! Выкручивайтесь сами. Мне все равно.

Оленька достала из сумки листы — с подробным рассказом о суши, о становлении мастера Коимори, с его ответами на вопросник, — и исписанные ею самой.

— Не надо так не надо. Только фотографии оставлю — обещала вернуть.

Разорвала надвое листы и бросила в мусорную корзину.

— Все.

Никто не шевелился.

Оленька села за стол и уставилась в компьютер. Она повторяла себе, что сама виновата, инициатива наказуема, Шлыков такой же, как и все. Слезы поднимались, накатывали, она их смаргивала, но было их слишком много.

— Оля, зайди ко мне... с картинками.

Ушел в кабинет.

Оленька поднялась не сразу. Потерла глаза, напрочь забыв, что с размазанной тушью будет больше походить на панду, чем на обольстительницу. Посидела, глядя в экран. Просто глядя в экран, как в пустоту. Вера снова принялась стучать — ведь есть же динозавры, которые все еще приносят от руки нацарапанное. Остальные занялись своим делом. Никто не подошел.

Оленька взяла фотографии и поплелась к Шлыкову.

75

— И бумаги, которые ты так театрально порвала, захвати.

Вернулась к своему столу, достала из мусорки что было.

Молча перебирал фотографии. Посмотрел на горку обрывков:

— Вот тебе скотч, склей их, пожалуйста.

Села здесь же, потянула за хвостик моток липкой ленты, он взвизгнул, заскрипел, раскручиваясь.

— Ножницы есть?

Посмотрел исподлобья.

— Есть. — Протянул. — Ты мне такой даже нравишься.

— А ты мне — нет.

Она понимала, что — хамит. Нико прежде всего начальник.

И она понимала, что ему это не придется по нраву.

Несколько секунд он боролся между желанием одернуть ее и осознанием того, что она права. Не нашел ничего лучшего как выйти, оставить ее одну.

76

Может, это и было похоже на объявление войны. Хотя смешно: воробей против пушки. Прозрачным на просвет клювиком долбит гусеницу танка:

— Я сегодня сама домой поеду.

Это уже когда он склеенные бумажки полистал.

— Если поедешь, я тебя уволю.

77

После истории со Светой — когда она потащилась проверять, не прячется ли Оленька в машине (влюблена она в Шлыкова, что ли?), — выходили вместе. Серега с Егором то ли не придавали этому значения, то ли до лампочки им было.

Сейчас тоже вышли вместе, ни слова не говоря. Нико снова парковался недалеко от подвала — что теперь скрывать. Сели в машину. Все уже разъехались, они последними были.

Оленька пристегивала ремень, когда Шлыков склонился к ней, прижал ладонью плечо к спинке сиденья.

Она увернулась от его губ.

— Не надо.

Отпустил, завел машину. Сорвал с места.

Ехали в гробовой тишине.

Оленька сперва как-то неприятно волновалась, потом задумалась о чем-то. Да, о том, как нехорошо с Аленой вышло. «Я в ближайшие три недели не приеду. Правда, мне кое-какие бумажки нужны...» — «Хочешь, пошлю их тебе?» — «Нет. Спасибо. Не знаешь, Володя не забывает поливать цветы?» — «Он ничего никогда не забывает». (Вот оно что, цветы!) И тут самое время было спросить: Алена, можно мы с Нико... как-нибудь к тебе в гости... пока тебя нет? Но следом за этой мыслью — другая: а вдруг не согласится? Алена, она сиропиться не станет — нет, и весь сказ. Лучше молчать. Все равно в марте не появится, а ключики с мышеловкой, они все там же лежат, Оленька для отвода глаз опять завалила их засохшими кремами и прочим мусором. «Ну как у тебя с начальником-то?» — вдруг спросила Алена. «Все сложно...» — Оленька отчаянно колебалась: спросить про квартиру — нет? И тут Алена выдала странную фразу в своем духе: «Сложно? Да нет, любовь проста, как мыльце». Наверно, какая-то поэтическая ересь.

— И что ты во мне нашла?

Голос Шлыкова пробился извне, издалека. Оленька повернула голову, хотела ответить, но тут как раз последовал крутой вираж, тряхнуло.

— Ты вот берешь и одной левой всех из дерьма вытаскиваешь, — я про китайца.

— Он японец.

— Ну один бес. Ты находчивая, ты интересная женщина. Ты стихи читаешь... про лапы-швабры. А что я?

Оленька молчала.

— Я просто мужик, который пытается что-то делать в жизни. Но таких полно.

— Ты проскочил поворот.

— Черт. Ничего, там еще один есть.

Помолчали.

— Знаешь, как я боялась звонить японцу?

— Боялась? Почему?

— Боялась, что разговаривать даже не станут, а если станут, то откажут; или поймут, что я не настоящий журналист, и посмеются. Боялась, что не буду знать, как с японцем говорить, о чем говорить, что мой английский недостаточен, что я не пойму его акцента, что...

— Трусиха.

— Да, пожалуй... Вот ты спрашиваешь, что я в тебе нашла. Наверно, я знаю, как ответить. Нашла человека, ради которого я готова этот страх перебарывать. Во имя которого готова идти против течения. Как карп. Ты знаешь, что в Японии карп весьма уважаем?

— Нет. А что так?

— За стойкость характера. Это единственная рыба, что может идти против течения и даже по водопаду взбираться. Мне сегодня рассказали. У японца-то фамилия Коимори. Я спросила, что она означает, оказалось, это производная от «кои», карпа.

— Вот чего он суши-то занялся. А «мори», случайно, не «рис» означает?

— Нет, «мори» — лес. Что общего с карпом, непонятно.

— Лесной карп. Обычное явление.

— Мутант.

Нико улыбнулся:

— А Коимори — это Карпов такой японский.

— Не, «Карпов» не от карпа происходит, а от имени Карп. А имя — от греческого «карпос», плод.

— Ты и это знаешь...

— Да нет, у нас просто препод в институте был по фамилии Карпенко. Он и рассказал.

— Слушай, и у нас был Карпенко. Хулиганистый такой.

— А наш все время бегал вдоль доски... Маленький, толстенький, пальчики-сосиски, снует туда-сюда, быстро-быстро, сейчас взлетит. Мы его Карпосоном прозвали... — Оленька отвернулась, посмотрела в окно. Бросила, не поворачивая головы: — Ты понимаешь, Нико, сколько делаешь для меня?

78

Будто перешагнули некую грань. Теперь каждый знал, чем дорог другому. Их переполняла благодарность. Сейчас уже все было бы уместно — и заднее сиденье «Субару», и разговоры — о том, что раньше не приходило в голову спрашивать.

— Ты о чем мечтала в детстве?

— По дороге на дачу обнаружить лесок, где на деревьях растет мороженое.

— И карп с двустволкой прохаживается, охраняет.

— Нет, правда, у такого дерева ствол был бы как эскимо. Подошел, лизнул, дальше пошел... Еще я мечтала, чтобы никогда не случалось дождя.

— Дождя?

— Да. Мне казалось, что тучи когда-нибудь дойдут до земли и мы все задохнемся.

— Страсти какие.

— Да. А ты?

— А я мечтал школу взорвать. Сидел, изобретал порох.

— Изобрел?

— Нет, но пожар дома устроил.

— Да... Лучше бы ты велосипед изобретал...

— Олька, мне кажется, я его как раз с тобой и начал изобретать. Заново проходить всем известные вещи. Мне самому вроде бы известные.

Замолчал. На дорогу смотрит.

— И... что теперь?

Резко съехал на обочину. Наклонился к Оленьке.

Как удержать его? Сейчас он снова возьмется за руль, а через пять минут она войдет в свой подъезд. И назавтра — весь день — он будет чужим, восхитительно чужим, хотя уж все знают, играть не перед кем. Но он и не играет. Это мужчина, он не может жить одной любовью, ему будет душно. Любовью... Она ли это? Но ведь не спросишь. Бросишь: «И... что теперь?» — ждешь, может, скажет хоть что-то — конкретное, зримое. Изобретатель... Ну разве это признание? А как хочется признаний. Но

трудно представить себе Нико в амплуа воздыхателя. У него не чувства — а изобретение велосипеда. Сколько этих «велосипедов» у него уже было... И сколько покорежено, отправлено на свалку, без сожаления, безжалостно. Взрослый мужчина, успешный, море шарма. Будь что будет. Пускай потом все разлетится вдребезги. Но минутки радости, кто их отнимет?

— Олька, только номер сдадим, и я что-нибудь придумаю. Если ты не против.

Кивнула, отвернулась.

Как собака теперь — подъедать куски, со стола его жизни упавшие.

А, да. Есть выход. Стать такой, как он.

79

Уже второй материал она подписывает своим именем. Мама показывает подружкам. Вовка, может, и горд, но виду не подает. Отношения натянулись, март идет к концу, с января переспали пару раз, так, скучно. Да и то Оленька тогда просто назло Шлыкову сделала — когда Света про жену доложила. С Вовкой и вначале все было не ахти, что уж говорить, когда семь лет вместе. Одно и то же, одни и те же слова, боже мой, одни и те же, кому скажешь — не поверит. Почему-то Вовка убежден, что «после» надо обязательно что-то изречь. Ласково прошептать. Семь лет шепчет, пластинка заезженная. Правда, эти последние разы ничего не сказал.

Номер сдали.

Ехали домой, Шлыков всех отпустил опять на четыре дня, как когда-то зимой.

А что, если сейчас доедут — уже недалеко, — и Нико скажет: «Ну, до следующего глянца» — ведь уже было так. Он доволен — успели! Ну хорошо, успели. Дальше что?

Почему она, а не он, должна думать — где, когда? Ей что, позарез нужно парад лифчиков устроить? Ей самца не хватает? Как бы не так. Ей просто надо...

Нет, стыдно признаться.

Стыдно самой себе признаться.

Ну ладно. Ей просто надо обладать им. Час, два, три. Полчаса — на сколько приедет. Чтобы только с ней говорил, чтобы близко был, так близко, что и не бывает ближе. Эта невозможность ухватить, этот его деловой вид — она не хочет, не может больше переносить их. Нужна передышка. Нужна близость.

Вот дура. Сама ж говорила — не ловить его. Женщины ловят мужчин, это неправильно, это нечестно. Он бежит, она ставит ему подножку: «Дорогой, я беременна». Мерзавец перепрыгнет, а хороший остановится. Мерзавец и не нужен — катись. А хорошего я буду на цепочке водить. «Теперь ты мой». Как в анекдоте. Зачем это все, боже.

Но она же не ловит, не привязывает. Просто немного, немного близости — разве и того нельзя?

— Кстати, дать тебе фильм про пингвинов?

Решилась:

— Не хочешь вместе посмотреть?

80

Она спросила: «Помнишь, я тебе о подружке рассказывала? Алене? Соседке? Ты еще в гости к ней набивался. — И не дав опомниться: — У нее можно устроить киносеанс. Желательно в ближайшее время, а то хозяйка вернется». — «А где она?» — «Далеко, отсюда не видно. В Нижнем Новгороде».

Молчал, вел машину.

— Я в субботу могу. У нас что сейчас, среда?

Выбирать не приходится — это он выбирает. У него полно дел.

В выходные Вовка дома — решит цветочки полить, а ключика-то и нет. Но не объяснять же это Нико.

— Когда в субботу?

— Часов в восемь.

Ладно, как-нибудь.

— Жена не заругает?

— У нас собирушка на старой работе. Но я обещал вернуться не поздно.

— Понятно. Полчаса-то у тебя будет?

— Ну почему полчаса? Часа два.

— Отлично.

Еще целых три дня — ждать.

А потом целых два часа — быть.

Кусочек со стола для счастливой собачки.

81

Четверг и пятницу была дома. Ключ лежал на месте. Вечером Вовка из квартиры не выходил. В субботу утром — тоже. Катастрофа. Ведь ей «к четырем на работу»: она — за порог, а он про цветочки от нечего делать сразу вспомнит. Пошла ва-банк:

— Алена сказала, ты ее зелень поливаешь.

— Ну, например. А что?

— Почему не говорил?

— А это интересная информация?

— Нет. Но раньше ты все рассказывал.

— Раньше и ты все рассказывала...

Улыбнулись друг другу. По-доброму так... Не роняя улыбки:

— Засушишь цветы. Давай ключ, ладно уж, схожу, полью. Жалко растения. Живые же.

— Я сам.

— А что так?

— Ты на работу идешь? Вот и иди.

— Вот и пойду! — завелась Оленька.

Она совершенно не понимала, что ей теперь делать.

Но уходя ключик прихватила.

Было странное чувство, что тогда, в машине, это она настояла на встрече. Отменить которую из-за Вовки значило бы отсрочить все непонятно на сколько. Вот только что — все?

Почему-то ее фантазия не шла дальше порога. Это казалось самым ярким: звонок в дверь, открываешь...

Выбралась из дома около трех, а Нико обещал к восьми приехать. Значит, сорвется с собирушки — не окончится же она в семь. Но как ни крути, пять часов ожидания.

Всякую мелочь — свечи, белье чистое, полотенце — притащила еще в пятницу, упрятала в шкаф, у Алены там полка как раз пустая.

Хотела поесть приготовить, но потом подумала — на собирушке, наверно, покормят, да и как-то это по-семейному получится — с котлетами встречать. То ли дело фруктовый салат.

Оленька дошла до супермаркета, купила пару яблок, горстку мандаринов, три больших банана, веточку винограда, банку консервированного ананаса. И еще такую белую штуку, мусс.

Главное, чтобы Вовка не вышел гулять со Степой в тот момент, когда она в подъезд заходить будет. А ведь хорошо еще, не навязался отвозить. Пришлось бы потом возвращаться в общественном транспорте.

Страшнее всего было открыть дверь парадного. Оленька так перетрусила, что удивилась, не увидев за ней никого.

82

Пять часов ожидания — в чужой квартире, на пустое брюхо (на нервной почве от съестного воротит), с мыслями о том, что пропажа ключа обнаружена, что хозяйка согласия не давала (как свалится сейчас), что тот, кого ждешь, не придет... Ну и угрызения совести тоже. Люди брак придумали, чтобы вот так угрызало. У них спать с нелюбимым, но по закону — дело чести, а с любимым, но вне штампа — дело, соответственно, бесчестия. Сколько можно быть честной, но несчастной?

А если Вовка начнет в дверь ломиться, вот стыд-то будет.

Надо сделать вид, что никого нет, и все.

Вообще, как мало радости от этого всего.

Хотелось радости — бог с ним, со счастьем. И вот результат:

она торчит в чужой квартире, так пусто, так сиротливо, и страшно... не по себе. Раздайся звонок в дверь — он гранатой разорвется. Дожить бы до восьми, а вдвоем уже легче. Хотя Шлыкову — что? Пришел — ушел. Не перед кем отчитываться и оправдываться.

Пусть так. Пусть ее торжество выглядит так убого. Но оно есть, хромоногое, но живое. Сердечко кувыркается — лишь на две стрелки глянешь: осталось три часа, два сорок, два двадцать пять. Оно столько лет лежало дохлой мышью — пускай помечется. Оленька открыла шкаф, достала белье. Или Аленину кровать перестелить, что наглость, или вообще в спальню не соваться. Но в большой комнате неуютно, и даже легкого одеялка нет.

Спуститься домой: «Вовка, я на минутку, плед нужен»... Нет, не смешно.

Перестелить в спальне, там у Алены колонки, музыка, лампочки разноцветные. Такая уютная берложка. Детская кроватка, правда, глаз смущает, но его все смущает, что уж теперь присматриваться.

Две свечи было у Оленьки — фиолетовая и красная. Одну она у кровати поставила, вторую — подальше, на полочку. Аленино цветное белье в Юлькину кроватку сложила; на свою белую простыню бросила стеганое одеяло.

Топталась, как осел буриданов, между вещицами: двумя черными с нитью бусинок цвета слоновой кости и двумя бледно-зелеными, с вышивкой — долгие стебли, филигранные изумрудные лепестки.

Когда она первый раз пришла, заметила на столе блюдце с засохшими кубиками сыра. Теперь в нем лежал жирненький таракан — не всякому перепадет такая вкусная смерть. Таракана вместе с сыром Оленька похоронила в мусорном ведре. Чуть позже сообразила — вот она себя и выдала. Алена поймет, что не Вовка чистоту навел. Да и самому Вовке все ясно станет. Оленька подумала — не выложить ли натюрморт обратно, но уж слишком противно было. Может, ни Алена, ни Вовка и не вспомнят о тарелочке.

Порезала мелко красные яблоки, апельсины, бананы, долго

возилась с банкой ананасов — не открывалась. Нашла на одной из полок большую прозрачную чашу для салата, все туда сгрузила. Красиво получилось.

Когда Нико придет, она разложит по пиалам салат и сверху водрузит по шапке мусса (если не съест его раньше: уж больно вкусный).

Стояла у окна, играла тихая музыка, Оленька смотрела вниз, на россыпь огонечков. Сейчас они принадлежали ей, а не Алене.

Под легким платьем — хитросплетения тонконогих тюльпанов, зеленый рай малахитовых лепестков.

83

В двадцать минут девятого набрала номер Нико.

— Еду.

Это короткое неласковое «еду» — сколько раз она слышала его, когда в машине раздавался телефонный звонок — в половине двенадцатого ночи, — и вот теперь и ей перепало. «Еду» — и трубку положил, он за рулем не любит говорить. Осталось только ждать.

Будто нет для него праздника.

Будто он с работы домой возвращается.

Еще скажет, что она его от старых друзей оторвала.

Оленька прошла в спальню, зажгла фиолетовую свечку — ту, что на полочке стояла. Легла на кровать — за окном было пустое ночное небо. Тень от свечки пританцовывала, переминалась, как если бы ждала на холоде троллейбуса. Самыми горькими казались именно эти бескрайние минуты. Тень от свечки. Свежесть простыни под ладонью. Далеко, за стеной, два голоса — мужской и женский.

84

«Что потом?» — спрашивает среднестатистическая Она. «Что сейчас?» — вопрошает Он. Если Он вообще о чем-нибудь вопрошает.

«Что потом?» — думала Оленька. Ей казалось: очень многое зависит от этого вечера (смешно сказать «вечера»: Нико опаздывает почти на час, сколько им остается?) — так много надо было успеть: разглядеть друг друга — положить начало радости и муке или остаться прежними. Когда, как не сейчас, за фруктовым салатом с легчайшим муссом (мусс она почти весь съела...), под пляску пламени свечи, на этом островке, где никого, кроме них, — как не здесь попытаться сделать тот шаг, которого она всегда боялась, — шаг, что ставит тебя слишком близко, так, что чувствуешь тепло и холод того, кто рядом, и холод непереносим, но ты будешь его терпеть — потому что тепло слишком ласково. Ей надо этот шаг сделать. Ей пора. Она и за Вовку выскочила, потому что побоялась сделать шаг — с другим: знала, одно страдание потом будет, ну его, лучше за Вовку.

Но теперь все иначе. После стольких лет быта, заботы о ребенке, нелюбимой работы, отсутствия чуда — ей нужна радость со страданием вперемешку. Этот человек, человек-торпеда, научит ее плавать быстро и ничего, ничего не бояться. Чтобы восхищать его, она станет выше самой себя. Да, она перерастет себя, а потом сама себя догонит. И это будет уже не прежняя Оленька. Пусть кто хочет, тот думает, что это интрижка, тривиальная история, служебный роман. Пускай осуждают за сворованный ключ, за расстеленную простыню. На этой простыне начнется новая Оля: Ольга, не Оленька. Начнется женщина, которая его заинтересует по-настоящему.

В девять ноль пять раздался звонок в дверь.

Ни разу до этого она не обнимала его — вот так, свободно, не в тесноте машины, не украдкой в его кабинете, где он спешил оттолкнуться, мягко отводил ее руки. Целуя, он приподнял ее, теперь она стояла на мысочках и, когда скользнула вниз, уткнулась носом в уголок между шеей и плечом, зарылась в ворот рубашки, когда знакомый одеколон смешался с запахом пока незнакомого тела, она подумала, что выбор ее сделан, и еще — что минута, когда она закроет за Нико эту дверь, будет просто душераздирающей.

85

— Народ только к шести подтянулся. Я ушел в восемь, кого-то так и не застал.

— Жалеешь?

— За двумя зайцами не угонишься. Тем более что один из зайцев весьма привлекателен...

— Но... у тебя же время до десяти? Уже четверть десятого.

— Уйду в одиннадцать. — Остановился у окна. — Ух ты. Здорово.

— Да... Есть фруктовый салат.

— Давай. Я вино притащил, «Côtes du Rhône», пойдет?

Оленька кивнула, улыбнулась. Странно видеть Нико в домашней обстановке.

— Штопор есть?

Бутылка хлопнула, открываясь.

— А как подружку зовут? Забыл.

— Алена.

— Поблагодари от меня лично.

— О'кей, — Оленька подумала, что не стоит рассказывать Нико историю с ключами. Получится, будто она на все готовая. — В комнате ее фотка стоит, она там с дочкой.

Нико ушел в комнату и уже оттуда, задумчиво:

— Девушка с акварели Мари Лоренсен.

Короткий укол: Алена — с акварели? И кто такая Мари Ло... ло... Ладно, все равно. Пусть будет с акварели. Но знакомить их, пожалуй, не стоит.

— Готово. Пойдем... Вино захвати.

86

Виноградина соскальзывает с ложки, катится по подушке, оставляя сладкий белый след, и спрыгивает на пол.

— Ай!

Нико перегибается через Оленьку, поднимает ягоду — первый раз она чувствует его тяжесть.

— Ну что? С ложечки тебя покормить? — улыбается: она уже вторую виноградину роняет. Кто виноват, что они такие юркие.

Он берет у нее из рук пиалу, отставляет свою. И снова — это ощущение: Нико не за компьютером, не за рулем, а здесь, в мерцании свечи, в наполовину расстегнутой кремовой рубашке, как странно. Можно поднять руку и провести ладонью по волосам. Но нет — еще рано. Для нежности еще рано — пока тут место только ласке да страсти. Нежность сродни близости, а близости пока нет. Близость — не катание по кровати; близость — найденное слово, точное слово, которое отзовется там, далеко внутри, войдет иглой в сердце. Был человек, который знал такие слова, — она бежала от него, трусиха. И к кому убежала — к Вовке. Какая глупость.

Она ловит губами дольку мандарина в белых хлопьях, прихватывает зубами ложку. Глаза у Нико смеются:

— Я так сыновей кормил когда-то.

— И... никого больше?

— Хочешь быть единственной в своем роде? Нет, больше никого.

— Знаешь... приятно все-таки это слышать: «больше никого». — Она улыбается. — А в чем я еще уникальна?

Нико ставит пиалу на ночной столик, откидывается на подушку.

— Я уже думал об этом. Какая-то ты... Как сказать... Тебе хочется сильных чувств, но ты их боишься. Вернее, себя боишься. Потому что тебя понесет. И это создаст массу неприятностей окружающим.

— Тебе создаст?

— Я ведь тебя окружаю. Значит, да. Я готов тебе помочь, но потом всем будет трудно.

— То есть ты меня не хочешь?

— Ну как ты могла... — Он притягивает ее к себе, он целует ее, и — больше ни слова, только тяжесть его тела, и это не оставляющее удивление: неужели... Нико? Выгнуться, пропуская платье вверх: оно бежит по вскинутым рукам и отлетает прочь. Зеле-

ные тюльпаны с долгими стеблями — они еще здесь, их пока не сорвали, не отбросили. И ей внезапно жаль с ними расставаться. Нико отрывает ее тело от простыни, скользит ладонью по спине, останавливается — там, где металлический язычок цепляется за скобочку; пальцы пытаются разъединить их — скобочку, язычок, все такое микроскопическое, неудобное.

— Оставь.

Пальцы медлят, потом скользят мимо — спасены, не сорвут вас, не скомкают, лепестки, листья, стебли.

Ольга тянет с плеч расстегнутую кремовую рубашку. И дальше — до головокружения близко незнакомое тело, рубец возле ключицы, тело, что станет любимым, и это — Нико? Нет, нет, только не мусолить имя, затрепанное дальними и пусть даже ближними, не Нико, нет.

— Николай...

Обмен взглядами, улыбками. И затем — уже без преград — друг другу навстречу, быстрее, как можно быстрее, сливая воедино две гигантские тени на стене, расплескивая дыхание, вырываясь из опостылевших рамок в новую жизнь.

87

— Интересно, здесь можно курить?

Она проветрит, когда он уйдет.

Николай стряхивает пепел в пустую пиалу, в остатки белых хлопьев. Ольга лежит на спине, смотрит на стену, на тени.

— А я волка умею делать.

Она поджимает указательный палец (глаз), сгибает большой (ухо), отводит мизинец (рот). На стене щелкает беззубой пастью морда.

— Это ж собака.

— Нет, волк. А ты мог бы не позвонить мне?

Как множество женщин, Ольга любит, сблизившись, вспоминать, как все начиналось.

— Сегодня?

Они только сегодняшним днем и умеют мыслить, мужички.

— Сегодня! — передразнивает Ольга. — В конце декабря! Когда работу предлагал.

— А, да. У нас с корректором не сложилось.

— Не сообразила дама шарахнуть монтировкой по окну?

— Это был парень. Просто не сошлись... характерами.

— Мужчина-корректор?

— Бывает.

— А я давно хотела спросить, откуда ты мой телефон взял? С какой из моих «прошлых работ»?

— Издательство «Глобус» тебе что-то говорит?

Ольга кивнула.

— Мне тебя порекомендовали, еще когда ты там работала. Я тогда тоже корректора искал, но потом не понадобилось.

— А кто телефон дал?

— Кэтрин. Помнишь такую?

— Ты Кэтрин знаешь? А я о ней недавно вспоминала! Не в курсе, что с ней сейчас?

Затянулся, потушил окурок: раздавил в пиале.

— Понятия не имею. Мы с ней плохо расстались.

— Расстались?..

— Да я все потом думал — зачем начинал.

Приподнялась на локте:

— Постой... Ты... Коля?

— Не понял. Ты меня за Петю принимала?

— Ты Коля... Какая же я дура... Почему я сразу не...

— Мышонок, в чем дело?

Попробовал обнять, но она руку оттолкнула.

— «Мышонок»? Мы-шо-нок. А ведь точно... Она мне говорила — ты ее тоже мышонком называл. Ты нас всех мышатами, да? Я не люблю животные клички.

— Да что с тобой?

Оленька смеялась. Она смеялась все сильнее, уже не могла остановиться.

— Сестры... Мы теперь с ней сестры... Молочные... А молочко-то... «постелизованное»...

— Какое? Ты о чем?

— Постели-зован... ой, нет, не могу...

Она плакала.

Не Николай.

И даже не Нико.

Коля.

Только не он. Только не леший этот.

88

«Еще не хватало Кэтриновых объедков».

Нет, не то.

«За Кэтрин обидно».

Не то.

Вся та муть поднялась, все, что Кэтрин говорила о своем Коле, как честила его, все эти его выходки — его безразличие, и как он бегал от нее, и врал как. Ведь Оленька сколько знала, правда, помнила уже далеко не все, но ощущение гадостное, оно осталось. И то, что он говорил Кэтрин «Ты здесь лучшая, ты талантливая, а остальные все — мусор», так и говорил: «мусор», это она помнила. А потом талантливая Кэтрин стала обузой, и как он выкручивался, как ужом вертелся, в «Глобус» ее сплавил, и врал, постоянно врал, и это Оленька помнила, Кэтрин в подробностях расписала, и не раз. И «мышонок», да. Оленьку это еще тогда насмешило.

Но даже и не в том дело. Ну, врал. Избавиться хотел. Не его одного Кэтрин доставала. Уж Оленьке да и не понять.

Нет. И это не беда. А беда другое.

— Слушай, Нико, а по какому принципу ты себе девушек выбираешь?

— По уму.

— А по какому принципу вышвыриваешь?

— Ты о Кэтрин?

— Я о себе.

— Вы разные.

— Это неважно. История повторится.

Зажег новую сигарету. Оленька бросила три года назад. Ее вдруг стало раздражать, что он курит.

— Если я правильно понял, ты мне после первой встречи предъявляешь претензию, что я не клянусь тебе в вечной любви? Ты не знала, что я женат? Может, Кэтрин твоя не знала?

Оленька молчала. Он был прав. Выходит, где-то в сознании, на самой глубине, она не мирилась с тем, что он не ее и ее никогда не будет. Как заставить себя любить — да еще и *такого*?

— А Машу ты любишь?

— Машу? Жену?

— Ну, если со времен Кэтрин она не сменилась...

— Вы что, с Кэтрин подругами были?

— Ну вроде того.

— А, ну тогда ясно. Я уж испугался, у тебя прямо истерика сделалась. Значит, за подругу обидно. И за себя — авансом.

— Машу-то любишь?

— Оля, мы с ней на одном курсе учились. Я знаю ее уже двадцать шесть лет, представь себе. Мы друзья.

— Да?

— А что ты думала? Что у нас страсть необузданная?

— А с Кэтрин страсть была.

— Кэтрин завоевать хотелось. Ну кто я был в то время — функционер, администратор. Хозяйственник с творческими потугами — я ведь еще тогда журнал задумывал, но не складывалось. А она — королева, книжки через одну идут в ее переводе, фамилия на слуху, вид независимый, не красавица, но не подойди к ней. Я думал, у нее мужиков два воза. Но решил посметь.

— Крепость быстро пала.

— Это немыслимо, что вы подругами были. А что разбежались?

— А что *вы* разбежались? Нико... зачем я тебе понадобилась?

— Ты? — загасил сигарету, откинулся на подушку. За руку взял. — В тебе черти водятся.

— Не боишься, что тихий омут затянет?

Хмыкнул:

— Я хорошо плаваю.

Он выплывет. А вот она, возможно, нет. Как он сказал? «Потом всем будет трудно». Кому-то будет трудно выкручиваться и врать, кому-то будет трудно выживать. Оленька вдруг вспомнила Кэтрин — не Кэтрин, просто лицо Кэтрин — серое, с двумя бороздками от крыльев носа к опущенным углам губ, губы шевелились — «Коля, Маша, Коля, Коля, я хочу сдохнуть». И вдруг Оленька поняла, почувствовала эту бедолагу Кэтрин — нет, не как тогда, когда она ее просто жалела; ощутила нутром — Нико занят, у Нико безразличные глаза и ровный голос, он «перезвонит, как время будет»: ты ему просто надоела. И пламя обугливает сердце, живое осыпается пеплом, но кому ты об этом скажешь? Кто тебе поможет? Беременная девчонка, что работает с тобой в одной конторе? Ты ее затащила домой, а она косится на часы и пальцы в тапках поджимает, потому что старые тапки, еще папины, но в этот дом ничего не хочется покупать, здесь вообще не хочется жить, а у Нико холодный голос. У Коли, у Нико — хоть как назови.

Оленька подумала, что дома сидит Вовка, смотрит тупой боевик, что за окном зеленоватый отсвет от вывески, что Степа уже спит и что Нико никогда не полюбит ее. Все это пустое.

Вот он приподнялся, потянул ее к себе. Губами нашел губы, и Оленька ощутила вкус сигареты, противный вкус. Поцелуй она не вернула.

89

В форточку плеснуло холодком. Пока комната проветривалась, Оленька ушла на кухню, убрала в холодильник чашу с остатками салата, стол протерла. Все здесь было как до вторжения — только исчезло блюдце со стола, то, что с высохшим сыром и почившим тараканом.

Оленька вернулась в остывшую спальню, захлопнула форточку, огляделась. Одна из свечек — красная — оплавилась лужицей на стеклянный ночной столик. Оленька принялась скрести ногтем восковое пятно, но быстро бросила. Надо было перестелить постель, окурки выбросить, помыть пиалы, бутылку с недопитым вином вылить в раковину (куда его?). Отцарапать воск. Всего этого делать не хотелось.

Она вернется сюда завтра. Завтра же воскресенье. Отправит Вовку гулять со Степой, а сама все сделает без спешки. И без этого скверного чувства опустошения.

Завтра все будет иначе.

Может быть, завтра хоть что-то будет иначе.

90

— Вов, поезжайте со Степкой куда-нибудь. В Битцевский парк, например. Такое солнце.

— А ты что будешь делать?

Действительно, а что она будет делать? Вернется во вчерашнюю квартиру? Будет драить ночной столик и пережевывать кислое воспоминание. Белье перестеливать.

Она станет жевать эту жвачку в одиночестве, жевать, жевать, пока ничего не останется от перетертого до последнего волокна воспоминания. Пока оно не станет бесцветным, пока не утеряется зелень долгих стеблей, красный отблеск на плече, пока тени на стене не расползутся бесформенным пятном, пока она не забудет новое имя, данное ею человеку, которого не было. Она снова будет звать его Нико, как все. Но это будет не тот Нико, что влек, это будет другой Нико, так и не ставший Николаем, оказавшийся Колей, из-за которого Кэтрин хотела «сдохнуть». Жевать это все, жевать. Какая гадость.

— Хочешь, чтобы я с вами поехала?

— Ты ведь не поедешь.

— Поеду.

91

Понятно, что Вовка — не идиот, учуял все. Но — на удивление — ни одной сцены, все в себе носит, злобится, ясное дело, но молчит, вот выдержка. Это даже вызывает уважение. Уважение или раздражение. Хоть бы проорался, что ли. Тогда можно проплакаться или нет, возмутиться, да! возмутиться — как он мог подумать, что она клюнет на Шлыкова, у Шлыкова, между прочим, был роман с Кэтрин, помнишь Кэтрин? Она, Оля, такое знает про этого самого Шлыкова, что смешно было бы предположить...

Утро понедельника. Вовка на работе... Где ключ?

Ключа нет.

Наверно, перед работой ходил цветочки поливать. Это когда у него два выходных было.

Посадил Степку хлопья шоколадные есть, а сам мухой — наверх? Наверно, забыл ключ выложить, с собой уволок. Что теперь делать? Только ждать, когда ключик на место ляжет.

Вряд ли Вовка заглянул в спальню — там цветов нет. А все остальное в норме. Кроме блюдца с тараканом.

Оленька шла на работу, думала: это единственное, что осталось от того вечера, — смятая постель, воск, окурки. И оно пока живет, там, в пустой квартире, живет субботний вечер. Как дать понять Нико, что это — всё?

Он, конечно, примет ее слова за игру. За набивание цены, обиду за подружку, капризы. А это просто страх. Тот же, что тогда, когда она бежала от Максима к Вовке. Только с Максимом все иначе было. Может, еще страшнее. Да, страшнее.

Нико встретил ее долгим взглядом, она опустила глаза.

Она вспомнила его.

Ей будет тяжело бежать.

92

В шесть вечера зазвонил мобильный. Как раз обсуждали разметку нового номера. Звонила Алена. Она просто сказала:

— Я приехала.

И ничего больше. Это же Алена.

Вот куда пропал ключ. Вовка его под половик положил или в почтовый ящик кинул.

— Алена, я тебе все объясню. Ты во сколько спать ляжешь? Если я в двенадцать...

— Оля, я устала с дороги. И мы с Ниной рано ложились.

— А завтра?..

— Завтра утром бегу по делам, — и обратно в Нижний.

— Алена, я приеду к девяти. В девять-то можно зайти?

Не говорить же Нико, что она за два дня не нашла времени убраться и ей срочно надо оправдываться перед подружкой, которая не в курсе дела.

— Нико, мне надо уйти в восемь.

— Что-то случилось?

— Нет. Просто надо.

— Полагаешь, у тебя привилегированное положение?

Выговаривать он ей еще будет, как школьнице.

— А разве нет?

— Нет. Могу я знать...

— Думаю, не можешь.

И в этом «не можешь» — все, что терзало напролет: ночь, день, ночь, утро. Не можешь полюбить. Не можешь открыться. Не можешь быть рядом. Хорошо плаваешь.

Без десяти восемь Оленька встала, улыбнулась:

— Нико, у меня работы нет, я пойду, если ты не против.

Он сидел возле Светы, они отбирали картинки в номер.

— Зайди ко мне, — и пошел в кабинет.

Света с любопытством посмотрела — на него, потом на Оленьку.

93

— Кто ее спрашивает?

— Шлыков. С работы.

— Ах с работы... А вы в курсе, сколько времени? Будьте любезны, после одиннадцати звоните ей только на мобильный.

— Звоню. Не отвечает.

— Не отвечает? А что вы от меня-то хотите? Ее нет.

Забыла в сумке мобильный, ускакала к Алене. Сидит там третий час. А мобильный весь вечер — тирлинь-тирлинь — придушенно.

Тирлинь-тирлинь.

Дернуть «молнию» на сумке, нырнуть рукой в нутро, тирлинь-тирлинь звонко выплескивается. Где ж этот телефон... Тирлинь-тирлинь...

Смелость это или отчаяние?

— Алло.

Замешательство. Но трубку не бросили.

— Простите? Я думал, что на мобильный звоню. На сей раз.

Удивительное дело. Голос спокойный. Низкий, можно сказать, красивый голос, но главное — твердый. «На сей раз», — с такой дружественной усмешкой.

— На сей раз — на мобильный. Ольги нет... Слушайте... Я знаю... Я хотел бы... Я встретиться хотел бы. С вами.

Пауза.

— Хорошо. Завтра я буду в редакции, скажем, в половине третьего. К трем уже народ начнет подтягиваться. Полчаса устроит?

— Да.

Пауза.

— Ее действительно нет. Она у подруги, на другом этаже.

— У Алены?

— Вы хорошо информированы.

Еще одна короткая пауза.

— До завтра.

Не успел ответить — трубку положили.

94

В половине одиннадцатого Оленька выползла на кухню. На столе лежала Степина коробка из-под шоколадных хлопьев и горстка высыпавшихся из нее хрустящих — даже на взгляд —

лепешечек. В плошке с зайцами еще оставалось молоко — пара глотков — и горстка размокших-уже-не-хрустящих. Свою чашку Вовка, как обычно, помыл. По чистоплюйскому обычаю.

Свинтуса не было. Алена его еще вчера забрала — повезет в Нижний. Степа — Оленька сквозь сон слышала — даже поплакал, не обнаружив клетки.

Спешить некуда. Оленька сварила себе кофе, вернулась в спальню, села на кровать. Только ноги одеялом обернула. Такое солнце.

Пол, стены заляпаны светом.

Залпом допить кофе, откинуться на подушку. Спешить некуда.

Когда она выйдет из дома, Володя уже припаркует машину в соседнем с издательской конурой дворе, едва не поцарапав новенький темно-зеленый «Опель».

Она будет ехать в метро, а он — рассматривать парящий в воздухе баклажан.

Она выйдет на «Смоленской», когда он будет расплачиваться за пиво.

Она остановится возле цветочного лотка, будет долго стоять, смотреть на лепестки, листья, стебли; на пестрые личики, жмурящиеся под бледным солнцем, — личики умирающих растений, которые еще не знают о своей смерти.

Он толкнет дверь подвала, он войдет внутрь. Оглядится. Никого.

Она будет стоять, смотреть на цветы и уже не видеть их.

Он услышит: «Владимир? Сюда проходите...» — и пересечет комнату, за которой — распахнутая дверь.

Она медленно пойдет по булыжной мостовой Старого Арбата.

Он перешагнет порог кабинета, подумает: «Этот человек своего не упустит. И ведь есть — ямка на подбородке. Слишком уж по-киношному выглядит».

Она будет стоять у двери подъезда, пока девочка с ранцем не позвонит в домофон и мама ей не откроет. Девочка нырнет в квартиру на первом этаже, покосившись на тетю, с ней вошедшую. Лифт сползет, ненадежный, как побитое алюминиевое вед-

ро, опрокинутое на дно колодца. Оленька станет подниматься по лестнице. Спешить некуда.

Когда Володя выйдет из подвала — на ослепительное апрельское солнце, Оленька остановится перед дверью на последнем этаже. Переведет дыхание. Сквозь побитое дождями серое окно будут рваться на лестничную клетку длинные лучи. Оленька нажмет кнопку звонка. За дверью прошаркают. Не открывая, спросят: «Вам кого?» И она — с внезапно сжавшимся сердцем, с горлом, отказывающимся пропускать слова, выдавит:

— Я к Кэтрин.

Часть третья
НИКОЛАЙ

1

Если взять одну-единственную песчинку — удержать ее подушечками большого и указательного пальцев — и посмотреть на просвет, она окажется такой бесплотной, бесцветной. Провести ладонью по ласковому покрывалу, устилающему пляж, с вечно промокшим краем — там, где море. Эта почти пыль составила бы счастье не одного миллиона песочных часов... Сжать горстку в кулаке, смотреть, как высыпается ниточка из-под согнутого мизинца. Порыв сырого ветра разбивает ее. Солнца нет, серо. Если без ветровки из дома выйдешь, продрогнешь до костей, только «Суктинис» спасет.

Эгле встает, стряхивает с юбки песок. Ветер спешит куда-то, но он все время здесь, ветер; спешит, да никак не уйдет. Эгле медленно поднимается по склону — прочь от моря, в дюны. В дюнах песочное покрывало изорвано мелким кустарником: стелются по земле узловатые пальцы, когтят ненавистный песок — мертвый, ничего не дарующий. За дюнами — сосны, они гасят ветер. Гасят: будто на кнопку нажимают, и нет его. Счастлива ли она здесь?

Здесь, где по утрам запах свежего кофе с корицей и теплого хлеба. Где зимой до самого горизонта — серое ледяное крошево, бескровный полог неба над ним, брошенные, как кости в настольной игре, белые тельца голодных чаек. Где летом джаз, выплескивающийся с открытой веранды прибрежного ресторанчика, шепот сосен, осколочек янтаря вперемешку с мокрым песком — на ладони. В кабачке, с хозяевами которого она дружна, — камин, глинтвейн, цеппелины с грибной начинкой.

Разве можно быть здесь несчастной? Здесь, где она больше не представляется Ольгой. Ее зовут Эгле, ее всегда так звали.

Все вышло из-за того, что в общежитии Ленинградского политеха, куда восемнадцатилетняя Эгле заселилась, подав документы на инженерно-экономический факультет, в одной с ней комнате оказалась некая Люда (или Люба?), разбитная девица из то ли Саранска, то ли Саратова (разве сейчас вспомнишь; да и разницы между этими двумя «Сара-» Эгле не видела). «Тебя как звать?» — спросила та, и Эгле ответила. «Как? — девица хихикнула. — Кегля?» Пришлось объяснять, что Эгле — старинное литовское имя, означает «Ель». «Елка? — Люда-Люба из Саранска-Саратова выдохнула даже с каким-то восхищением: — Ну и дурацкие у вас имена! — И повторила, смакуя: Йолка!»

Про «дурацкие имена» Эгле хорошо запомнила. Люда-Люба орала через весь коридор: «Елка-а-а! Я твою помаду возьму!»; представляла соседям: «Ее Елкой зовут, вообразите?» «Ольгой», — тихо поправляла Эгле. Потом Люда-Люба не поступила и уехала, забыв вернуть помаду и еще кое-что. Про странное прозвище «Елка» никто не вспомнил. В институте Эгле стали звать Ольгой, и вне его — тоже. Эгле как-то познакомилась в компании с балкарцем Ильясом, спросила: «Почему ты не представляешься Ильей?» — «А зачем?» — удивился тот. Зачем... Чтобы за своего принимали, зачем. Чтобы не чувствовать себя вороной в утиной стае. Конечно, от акцента и от фамилии — Даукантайте — не убежишь. Но Эгле и не бежала: происхождением она гордилась — и еще как. Только вот ни кеглей, ни елкой ей быть не хотелось.

Здесь она снова — без малого спустя полвека — звалась Эгле. Сорвала в тело проросшую шкурку — Ольгу, — бросила в огонь. Всякий раз, представляясь, не могла сдержать улыбки: «Эгле». Это было так, будто... будто в юность упала. Оступилась и упала. Думала, далеко лететь, так ведь нет, вот она, юность, рукой подать.

— Kuo Jûs vardu?

— Egle, — улыбка.

Юность ли? Скорее детство. Мама, в сотый раз рассказывающая старую-старую сказку о королеве ужей. Каститис, старший брат, сует голову под подушку: «Может, хватит?!» Нет, не хватит: Эгле каждый вечер просит сказывать одно и то же — о том, как ее тезка купалась в озере и к ней в рукав рубашки забрался уж. Мама говорит на разные голоса: «Уходи прочь!» — закричала девушка, а уж ответил: «Пообещай выйти за меня замуж — уйду». Брат отпихивает подушку, вывешивает худые ноги из-под одеяла. Мама отвлекается на него:

— Ты куда?

— Попить.

— А потом, а потом? — Эгле дергает маму за край юбки. Будто и вправду не знает, что «потом».

— Делать нечего, Эгле соглашается выйти за ужа замуж.

— Нет, не так! А про сестер забыла?

— «Чем не жених тебе, — сказали они, — соглашайся, сестрица».

— И засмеялись!

— Да, и засмеялись...

— А потом?

Мама засыпала на ходу, но Эгле, только когда выросла, поняла, как мучила ее своим «потомом». Редко добирались до конца сказки, Эгле засыпала раньше. Да и конец ей не нравился — как пришли братья Эгле на берег, вызвали ужа и убили. А уж не ужом ведь был, по правде, а красивым юношей, принцем. И прожила с ним Эгле девять счастливых лет на дне озера. Узнав, что нет в живых ее любимого мужа, превратилась она в ель. И до сих пор роняет в озеро смолистые слезы.

Эгле придумала другую концовку — где братья с ужом подружились. И еще одну, под настроение, — где уж братьев топил, а они захлебывались и орали. Утопил-таки.

Детство.

— Мам, а я тоже буду королевой ужей?

Счастлива ли она здесь? Здесь, где не осталось старых друзей — кто уехал, а кого и нет больше. Хотя можно ли назвать их

друзьями — так, школьные приятели, не о чем сожалеть. Дочки слетаются сюда только летом — побродят в прохладном прибое недельку-другую, оставят внучек и — прочь. Много мест интересных на земле, не на задворках же Европы короткий отпуск куковать. Нет, не их это страна, они и языка-то не знают, Эгле сама виновата.

Но разве эта страна — ее? Она рвалась сюда, рвалась неистово — в свой потерянный рай. В аккуратный уютный мирок, вылизанный, выстриженный, пахнущий свежей выпечкой, сосновой корой, прелыми водорослями. В этом мирке было все, чего она не находила в неопрятных, неприветливых русских городах — сколько их мелькнуло перед ней за время мужниной службы? — здесь, казалось, был Дом. Она так и не смогла отыскать подобный ему в России: может, оттого, что ей требовался простор, шторма, ветер, бросающий в лицо песок; а может, оттого, что Дом, он всегда один.

Вот только не повстречалась она здесь с Домом. Но как сказать об этом Иосифу — после всего того, на что он ради нее пошел...

2

Уже скоро два года, как это случилось. Как она решилась.

Шел январь, сонный постпраздничный январь, сессия. Давно почувствовала — есть кто-то у Оси. И это «есть» длилось и длилось, никак не засыхало. Ося остался дома на Новый год — сбежал только вечером первого, — а она до последней минуты декабря ждала: сейчас войдет в комнату, держа в руках телефон, возмутится — надо ехать, партнеры совсем обалдели, срывают в такое время... но уж больно контракт хорош, нельзя упустить. Как собака глядит на занесенную руку, она ждала — не поедет тогда к дочкам, останется одна. Готовила через силу — кому это все? Но не уехал, слишком явно вышло бы, а может, пожалел ее.

За три недели до этого попросил связаться с семейством Дайнавичюса — у них ферма на дому, разводят морских свинок.

Сказал, работница хочет к Новому году подарок дочке сделать, только нужен обязательно далматин, в черных пятнышках который. И как раз там один оставался, его кто-то зарезервировал и передумал брать. Внучка Дайнавичюса, Рута, собиралась в Москву на праздники, договорились, что она в Нижний заедет в первых числах января, хрюшку завезет. Ну а уж потом Ося сочинил свой съезд сыроделов и как бы промежду прочим сказал, что теперь сам может зверька забрать, в Москве. А ведь так хотелось увидеть Руту, расспросить обо всем. Она потом рассказывала — появился, раскланялся, забрал свинку и — на выход. Рута никак не могла со зверьком расстаться, спустилась с Иосифом к такси, а там на заднем сиденье коробка большущая: «Что это у вас?» — «Как что? Домик для поросенка». Ясно, какая «работница», вез этой... своей.

Видимо, решили они из Нижнего в Москву прокатиться. Наверно, *эта* в гостинице дожидалась, пока он к Руте ездил.

Но ладно бы что-то приличное подцепил, нет, на такую мымру позарился. Тьфу.

Как-то — тогда же, в январе, — явился за полночь: «Телефон разрядился, позвонить неоткуда было, что ж ты спать не легла?» А она — весь вечер ужом по квартире: мобильный не отвечает, в офисе никого... Около половины двенадцатого скрепя сердце набрала номер шофера — куда отвез? Тот помялся — не знал, можно говорить или нет, — и нехотя сообщил. Назавтра поехала в эту самую больницу, а мужа там все девицы в регистратуре уже знают как «веселого дядьку». Ходит в девятую палату. Хорошо хоть, не в шестую.

Дошла до девятой — послеобеденное время было, — остановилась перед широкой крашеной дверью. Стояла, вдыхала запах больницы, раньше от него всегда сжималось сердце. Но сейчас — нет, сейчас не до того. Сколько в палате коек? Как узнать — *эту*? Да и надо ли? Зачем оно все?

Толкнула дверь, но в последнюю секунду не решилась войти, просто голову в щель просунула.

3

Нина полулежала на кровати и ковыряла незамысловатый больничный обед: жиденькое картофельное пюре, тщедушное рыбье тельце. Полпалаты расползлось, остальные кто спал, кто, как бабка на соседней койке, пялился в потолок, переваривал. Пюре с рыбой остыли — только что Алена ушла, болтали. Врач обещал обойтись без операции; нога была надежно закатана в гипс и закреплена прямо перед носом.

Дверь скрипнула и приоткрылась. В нее просунулась голова.

Голова, шарившая глазами по кроватям, показалась смутно знакомой. Решительно, эту пресную физиономию Нина где-то видела. Столкнулась с ней взглядом, но и тогда память ничего не предложила, даже на выбор. Физиономия же, напротив, что-то там себе прокумекала. Смотрела несколько секунд, не мигая, а затем втянулась назад, за дверь.

4

Доездилась, мымра: вон как ей ножищу оприходовали.

Надо думать, там, в Москве, и навернулась.

И это с *ней* — Иосиф? Теперь понятно, чего она на кафедру в сентябре заявилась. Отношения выяснять. Бороться за мужика. Пускай забирает.

Без косметики ее и не узнать, плюс — лохмы, расческу в Москве забыла, видно. Ося таскается к ней что ни день — всеобщий любимчик тут, — она даже для него не приведет себя в порядок. Мымра. Уехать. Этот год придется доработать, но в конце июня уже можно...

Уехать. Ничего не бояться.

Родная Паланга...

Первое время пожить у Дайнавичюса, все-таки друг отца, и дом у них немаленький. Потом... а что потом? Сбережений нет, если Иосиф не поможет — хоть под мостом поселяйся... Под мостом в море... Каститис, братец, продал дом, когда родителей не стало, отвалил с деньгами в Штаты. И хоть бы на дело они по-

шли, ведь нет, прокаркал. «Прокаркал», — говорит Ося в таких случаях... Ося... Как мог он с такой кикиморищей связаться?

Чувство одиночества и обиды — они-то и развязали руки.

Не оставалось больше обязательств: дочки выросли, у мужа — мымра. Не нужна никому тут. Чего же ждать... гражданство литовское есть.

Вспомнила, как ездила подавать на него документы в Москву, в серое бетонно-стеклянное здание в Борисоглебском переулке. Девушка в окошке перебирала листы: «А у вас есть бумага, удостоверяющая...» — не выдержала, перебила ее: «Вы видели мое свидетельство о рождении?» В свидетельстве — дата: 15 июня 1940 года. Девушка сморщилась: «Нам нужны бумаги до пятнадцатого...» Родительский архив братец утащил в Лос-Анджелес — пойди сыщи.

— Слушайте, я родилась в восемь утра, а Литва открыла границу советским войскам в девять сорок пять. Вам этого недостаточно?

Девица повертела в руках свидетельство о рождении.

— У вас не указано время...

Бывают же дуры на свете.

— Вы полагаете, что рядовой Иванов на сносях пересек границу, вылез из танка и разрешился от бремени?

Девица посоветовалась с начальством и документы приняла.

Ничто более не держало... Позвонила Дайнавичюсу, к телефону подошла Рута. Пока говорили — так, ни о чем, мучила мысль: как спросить, есть ли возможность остановиться у них? Вдруг показалась нелепой эта мысль: ехать туда, где нет крыши, проситься в чужой угол.

— Рута, а сколько в Паланге стоит снимать квартиру? Маленькую совсем? На одного?

Что за нелепая идея снимать жилье. Пожить можно прямо у них, правда, летом все комнаты сдаются, дом ведь недалеко от моря, «приезжайте ранней весной — папа будет рад».

— Рута, ты не поняла... Во-первых, я не могу весной, у меня студенты...

— Ах да, я забыла...

— А во-вторых, я насовсем хочу приехать. Понимаешь?

Рута не понимала ничего. Как так — насовсем? А где жить? А почему без мужа? А дочки-внучки? А работа? А...

— У Иосифа бизнес... он не может его оставить. А я все равно на пенсию выхожу. Рута, хочешь, буду у вас комнату снимать? Все ж веселее мне с вами, чем одной.

Нет, чтобы папа брал деньги с дочери своего друга?

— Эгле, даже не думайте. Знаете, есть у меня один вариант... Если он вас не смутит...

Вспомнила про мымру: «Рута, меня уже мало что может смутить».

Рута помялась и выдала:

— Живите сколько захотите у нас... в свинарнике.

— Где??

— Ну мы же хрюшек разводим, Иосиф еще для своей сотрудницы одного покупал... У нас целая комната с хрюшками. Там диван есть. Нет, Эгле, вы не думайте, они совсем не вонючие! Чистюли еще какие! Да и мы за ними следим. При желании будете нам помогать, а нет, так и просто живите. Вы в них влюбитесь, вообще никуда переезжать не захотите...

В шестьдесят пять лет поселиться в свинарнике.

Мужа оставить, детей, внуков, дом... работу, наконец.

Да какая разница. На работе ждут не дождутся, когда она уйдет, а дом пуст.

В Паланге можно будет вставать ранехонько и — на пляж. Бродить вдоль воды, искать медовые камешки, солнечные осколки.

Ведь верила ребенком в эту легенду... Что давным-давно гуляли по небу целых два Солнца: одно поменьше и полегче, а другое — большое и тяжелое. Такое тяжелое, что однажды небо не удержало его: огненный диск упал в море, ударился об острые подводные камни, осыпался бесчисленными золотыми осколками — вроде тех, что усеяли пол на веранде, когда она попала мячом в стекло. Брат злился, говорил, мол, только глупые девчонки

могут верить в то, что было два солнца: «Люди ослепли бы!» Но Эгле знала, почему он так заводился. У него была своя версия, у этого дурачка.

Она будет часами сидеть на песке, перебирая его пальцами. Возьмет напрокат велосипед, тряхнет стариной — проедет по всем тропинкам, где в семнадцать лет они гоняли с Йонасом, первым мальчиком, который ее поцеловал — повернулся, резко притянул к себе, а она отступила от неожиданности, больно оцарапав икру о велосипедную цепь...

Она будет подниматься на холм Бируте и смотреть на море.

Каждый день она будет видеть море.

И когда-нибудь у нее в глазах ничего больше не останется — только огромная водная равнина. И ничего ей уже не будет нужно — только этот простор, эта гладь... И долгий мост.

Какими мелкими покажутся ей сегодняшние сомнения. И печали.

5

Иосиф высылал деньги аккуратно. Вернее, не высылал — просто сливал на ее счет в «Парекс банкас» — каждые две недели, будто ей было куда их тратить...

Свинарником звалась довольно просторная комната на втором этаже, под крышей. Вдоль стены стояли клетки на двух полках одна над другой: Рута взялась за свиной бизнес засучив рукава. Здесь же хранился запас самого необходимого: сенце, корм, водица. В углу — вполне сносный топчан. Одежду Эгле сложила в шкафу в комнате Руты. Возле топчана поставили тумбочку, Рута притащила из отцовской комнаты большую настольную лампу допотопных времен: синий абажур, ножка в виде бронзовой полуприкрытой отрезом ткани наяды — как раз такие Эгле и нравились, не то что современные поделки для офисов, которые теперь в любом доме.

Перед сном Эгле читала. Брала из библиотеки Дайнавичюса книжки на литовском; лампа отбрасывала синий отсвет на стены,

от клеток шли долгие тени. Читать по-литовски было труднее, чем по-русски, «докатилась» — говорила себе Эгле. Правда, катилась она без малого полвека; по дороге утеряла литовский акцент, и он всплывал, только когда она нервничала. А в литовском, наоборот, появились чужие нотки, некоторые слова вылетели из головы напрочь. И сидя под синей лампой, слушая посапывание хрюшек, она пыталась вернуть себя прежнюю. Думала: а что было бы, если не понесло бы ее в Питер? Останься она в Литве... Вся жизнь иначе сложилась бы, вся жизнь. Но тогда, в восемнадцать, так хотелось бежать в «большой мир», прочь из приморского городка. Что она тщилась найти? Эгле уже не помнила. Жалела ли, что связала жизнь с Иосифом? Что теперь ничего не осталось — только топчан в свинарнике, да и тот чужой? И этот город... Время от времени приезжали сюда с Осей, селились всегда в санатории, в гостинице. Город менялся — в конце девяностых выстроили новый пирс; всякий раз в портрете Паланги появлялась свежая краска. И теперь Эгле смотрела в лицо родного городка и не знала — узнаёт ли. Утром, перед зеркалом, сталкивалась с собой глазами и не понимала — нашла ли то, чего так долго и мучительно жаждала.

Утро: Пятрас Дайнавичюс с газетой — старику глубоко за восемьдесят, но маразма нет, такой пессимистический живчик.

— Я, слава богу, не доживу. А вы еще третью мировую понюхаете. Видели, что в Ираке творится? Скоро китайцы активизируются... Рута, я не хочу яичницу. Кстати, куриный грипп уже до Европы дошел, — взмах газетой.

У родителей Эгле не дом был — слезы. В одной комнате с Каститисом ютились, на лето Эгле перебиралась в захламленный мезонин. Но это и спасло — когда советские пришли. А вот Пятрасу Дайнавичюсу с его двухэтажными хоромами и хозяйством спокойная жизнь была заказана. В сорок восьмом всю семью выслали, час на сборы дали.

После обеда старик устраивался в кресле-качалке (классическое зрелище; он даже плед на ноги кидал, хотя лето было в разгаре), Эгле подсаживалась, расспрашивала — о прошлом. Рядом

с ним она чувствовала себя молодой, он к ней так и обращался — девочка. Хороша девочка в шестьдесят с лишним... И она слушала истории... Пятрас рассказывал, как кинули они с женой на подводу мешок муки, мешок яблок — их можно было выгодно выменять в Сибири на картошку, немного одежды разрешили им взять. Везли в «телячьих» вагонах, где — только нары в несколько этажей. Добирались долго, сутками стояли на железнодорожных станциях; нужду справляли возле вагонов: не до церемоний было. Хлеб, что выдавали охранники, почему-то синюшным цветом отливал. Сослали семью Дайнавичюса — он, жена, двое ребятишек — в Кежму, Красноярский край. Десять лет подряд комендант раз в месяц проводил перекличку — не дай бог опоздать. Работали — хребет трещал, жили впроголодь, но детей подняли. А в пятьдесят восьмом впервые комендант не явился — сняли литовцев с надзора, даже разрешили домой съездить. Только съездить, без права остаться.

Вспоминал и о войне: знавал литовцев, за немцев стоявших, и тех, кто на сторону русских перешел. Сам он в драку не лез: не его это война была. Помнит, как ездил в магазин покупать плотную черную бумагу, чтобы окна завешивать — бомбили, если свет видели.

— А какие были виллы до войны! Мы немецким курортам не уступали...

Яркое впечатление... он стоит, не в силах пошевелиться, — в сотне метров сцена: немец достает из пакетика мармелад, протягивает мальчишкам, а у самого автомат на шее. Старший сын Томас ближе всех стоял к немцу, первый и взял...

В начале девяностых Рута принялась потрясать документами — в попытке вернуть национализированный дом. Там проживали себе четыре семьи, в ус не дули. И попытка удалась, как удавались многие — после того, как Литва из Союза вышла. Дед с внучкой поселились в доме, от которого весной сорок восьмого отошла подвода с мешками муки и яблок... А вот сыновья не вернулись в Палангу.

Эгле слушала истории — сажала на колени хрюшку, гладила теплое тельце. Дни текли...

6

Хрюшки шли на руки охотно. Незлобивые беззащитные создания: глаз черный, круглый, выпуклый — смотрит задумчиво, пока кусочек дыни не исчезнет в пушистой утробке. Эгле научилась отличать шелти от коронетов, знала, кого чем кормить, а когда в конце июля родился Гинтарас, поняла — одиночества больше нет. Гинтараса, шустрого английского селфа золотого окраса, принесла молоденькая свинка Чуча — это была ее первая беременность, и получился только один детеныш. Чуча на сносях походила на мягкую матрешку: возьмешь в руки, осторожно пощупаешь животик, вон он, там, еще один зверек, поменьше. Эгле впервые видела роды: Чуча по-деловому села на корточки, дышала глубоко, черный глаз блестел. Околоплодный пузырь она порвала, умяла за обе щеки плаценту и принялась вылизывать маленького. Золотого, как его было назвать иначе? Эгле предложила имя Гинтарас, Янтарик. Рута согласилась. Руте было все равно. Свиненок был на продажу.

Рута только улыбнулась, когда Эгле сказала: «Давай я его у тебя куплю». Сама по чужим углам, а зверька заводит. Да и нельзя к каждому младенчику привязываться — так никого никогда не продашь. Но Эгле уперлась, и Рута сдалась, исчерпав последний аргумент: «Вы же не станете его выставлять. А у него порода!» Нет, это будет породистый свин, которого оставили в покое.

Ее тоже все оставили в покое. За лето дочери позвонили лишь пару раз. Что до Иосифа, то он жил своей тайной жизнью, шитой крупными белыми стежками. Так был увлечен мымрой, что не находил времени набрать номер Дайнавичюса. Если бы не плюшевое солнышко, хрюкотун Гинтарас, она шкурой чувствовала бы, что не нужна никому. А тут-то травки принеси Гинтусе, то своди его на прогулку.

Как-то собралась с духом, взяла зверика да и пошла знакомиться с хозяевами проданного братом домишки на краю Паланги. Раньше приезжала — даже близко не подходила, горько бы-

ло. Последний раз она переступала порог своего дома, когда мамы не стало: та лежала на кровати в родительской комнате, и Эгле почему-то подумала — а вдруг спит? — хотя и вызвонил ее Каститис именно потому, что не спала мама.

Хозяевами оказалась приятная молодая пара с ребенком. «Мы сюда только на лето переезжаем, слишком маленький домик, — женщина запнулась, — у вас». — «Теперь уж у вас», — Эгле сжала Гинтараса так, что он пискнул.

7

Зашла в костел Святой Девы Марии — постоять в тишине, напоить зрачок густыми красками витражей. Потом направилась к морю, но до воды не дошла: осенний ветер ужом лез за воротник, обвивал шею — легкий шарфик не спасал. Но за дюнами было тихо. Солнце еще не село, аллея, что бежала вдоль побережья, алела, отливала медью, пронизанная стылыми лучами.

Иосифа Эгле узнала не сразу — только подумала: вон навстречу идет человек с палочкой, как Ося. Кто ж мог ожидать.

— Оля!

— Ося?

Так их и звали когда-то: Ося и Оля. Когда-то.

Взял тур и приехал, вещи бросил в гостинице. «Рута сказала, ты гуляешь...»

И вдруг Эгле ярко, вспышкой, осознала: вот он, ее Дом. Дом, который ушел от гнома...

— Зачем ты приехал?

Слушала его, стоя на аллее, забрызганной солнцем с донышка дня, и — не верила. Хочет приехать жить — дай только срок. Квартира пуста — без нее, Ольги. То позвонить большим трудом было, то вдруг — «квартира пуста». Неужто мымра дала от ворот поворот?

— Я тебе еще здесь нужен?..

Нужен ли он ей — ее ходячий домик. Домик, что носило по

российским просторам — и ее вместе с ним. Домик, без которого...

— Дела-ай, ка-ак хочешь...

Умрет, а чувств своих не выдаст. Только слова русские «потекут», смажутся чуть-чуть, подчиняясь закону другого языка: волнуется. Давно это Иосифу известно.

Сказала — «делай, как хочешь», дала карт-бланш. Будто ей все равно. Рута говорит, что не похожа Ольга на довольную жизнью. Заглянул в ее комнатку — тихий ужас: клетки повсюду со свинтусами, в углу топчанчик и лампа нелепая. И в этом виноват он, Иосиф.

Получила, что хотела, а счастья нет. И опять он, Иосиф, повинен.

— Рута жильцов держит?

Кивнула.

— Пойдем, я замерзла.

Шли — молчали. Иосиф думал о том, что придется продавать бизнес — так проще. Квартиру девчонкам оставить. Здесь купить большой дом и сдавать комнаты, как Рута. Не бог весть какое дело, но на первое время сойдет. Потом замутить что-нибудь. Так и не открыл «Сыроежку» в гастрономе: всем «дай», никто ни за что не отвечает, у директора глаза как у рыбы.

— Сюда.

Привела в уютный кабачок, сели возле камина.

— Pra'au, — симпатичная девочка в футболке цветов радуги подала меню, улыбнулась. Ольга махнула кому-то рукой.

— Я знакома с хозяевами. Возьму себе «Суктинис», согреться. Ты будешь?

Вдруг подумалось: вот так и доживут они свои дни — вдвоем. Зимой здесь тихо и ветрено, крики чаек, обжигающий нёбо медовый «Суктинис» и согревающий лучше любой телогрейки. Летом музыка из дверей кафе, пестрые толпы, можно сидеть на берегу, потягивать «Швитурис», их знаменитое бочковое пиво. Этого следовало ждать — разве не знал он, что пройдет блажь у Алены? Тебя оставляют — потому что ты стар, ты ветошь. Но это

только тело, ты все тот же, тебе по-прежнему хочется любви. А тебя меняют на кого-то помоложе... что ж, закон рынка. Новая вещь дольше служит. Не свались он к Алене внезапно в тот день, так и не знал бы, почему она твердит — к жене поезжай. И ведь нет чтобы прямо сказать — так и так, другой мужчина, прости. Ведь нет...

— Ты что-то будешь?

— А?

Девочка-радуга стоит напротив стола, улыбается. Ольга поджала губы: эта его вечная рассеянность...

— Та-а-ак... Вот тут у вас есть вареный горох со свиным ухом... Надеюсь, не морской свинки ухо?

Девочка свела брови к переносице, посмотрела на Ольгу, ища перевода. Слишком молоденькая.

Пока ждали заказа, перебрасывались незначительными фразами, но больше молчали. Не виделись три месяца, и вроде бы сказать нечего. Или так: о том, о чем хочется говорить, — не заикнешься, а прочее — вздор. Смотрел в огонь в камине; тогда, еще зимой, сестрички в больнице доложили: приходила такая — щеки втянуты, глаза закачены, — вас искала. Спрашивала, к кому ходите... Не знали сестрички, что он в палату ни ногой, просто выстукивает Алену, у которой странная идея выключать мобильный, чтобы хворых не тревожить. Когда Ольга нагрянула, Алена, скорее всего, была там. Может, поговорить об этом? Всем легче станет.

— Оля, я хотел тебе объяснить...

Ну уж это слишком. Откровения про мымру — это слишком, слишком. Еще утешить попросит. Как после этого — вместе? Зачем он...? Эгле протянула руку ладонью вверх:

— Если есть у тебя желание, приезжай и живи. Снимем что-нибудь, зимой не дорого снимать. А в остальном... могу за руку подержать.

Иосиф улыбнулся. Эту фразу она говорила, когда его одолевала хмурь, — и особенно часто тогда, после автокатастрофы: «Труба мое дело, Оля...» — «Могу за руку подержать». Другими

словами: ты вытащишь себя сам, ты сумеешь; не проси ничего у мира... разве только... разве что за руку подержать. Когда-то он это ляпнул от ужаса. У Ольги начались схватки в первую беременность, он метался возле, не зная, как помочь, и вдруг вырвалось: «Хочешь... могу за руку подержать...» Ольга тогда усмехнулась. А после вспоминали... Никто не родит за тебя, не встанет за тебя на ноги после операции, не переборет муку несущее чувство. Иосиф положил руку на ладонь Эгле — знакомую ладонь. Точно так же они сидели в каком-то заштатном кафе в Питере, когда она призналась, что ее имя, ставшее ему дорогим, взято с потолка. Ей потребовалось полгода, чтобы удостоить его признанием.

8

Сыра к чаю больше не было. Как не было и Оси. Продал заводик полтора года назад, уехал в Литву, что и требовалось доказать. Сама гнала его к Э-ги-ди-юсовне, гнала, надеясь, что — нет, упрется, оставит все, в Москву переедет: не в Нижнем же втроем жить под носом у дочек и прочих — Ося одно время в местную политику лез, вот и заработал никому не нужную известность в масштабе города.

— Пряники?

Володя кивнул. Алена вытащила пакет медовых, разорвала упаковку. В дверях кухни появились Степан с Юлькой, дала им по пряничку, убежали.

— От Оли вестей нет?

Алена наливала чай в чашку; Володя следил, как бежит гранатовая струйка.

— Сегодня обещала позвонить.

Каждый день он, как заведенный, таскался к Алене. Правда, оставался ненадолго — тем для разговоров кот наплакал. Звонил, прежде чем подняться, как когда-то Оленька, и иногда Алена отвечала: занята. Это значило, что хмырь у нее.

Променяла душку Иосифа на красавчика помоложе.

— Скучаешь?

Скучает ли он по Ольке. Бесполезно скучать. Да и то — была она здесь, но будто и не было ее. Загораживалась, чем могла. По чему скучать-то?

— Скоро обещала вернуться.

— Вернется, да опять умчится. Может, тебе с ней ездить? Иногда? Я же вижу, как ты это все переживаешь.

Ошибаешься, Алена. Отпереживался уже.

— Мне, с ней? Смеешься? Я для нее слишком мелок. У нее же там Большая Жизнь с Большими Людьми.

— Цитируешь? Мне она говорила — «настоящая жизнь».

— Да-да, точно. С настоящими людьми. А я игрушечный, значит.

— А ты не будь игрушечным.

Алена временами здорово раздражала — вот этой своей прямотой, о которой не просили.

— Мелкий человечек пошел по-маленькому.

Алена фыркнула.

Закрыл дверь в санузле, сел на край ванны.

Олька носится, доказывает себе, что не зря родилась. А в свободное время у нее увлечение — кайт. На семью остается — что? А ничего. Со Степаном нет у них близости, которой хотелось бы. Наверняка завидует ему, Володику: неразлейвода они со Степкой. Но ведь ребенок тоже видит, кто им занимается, а кто, скажем так, занимается собой. Он, Володик, никогда не выбирал — себя: сперва все Ольке отдавал, потом стал отдавать сыну. Как-то с Олькой состоялся премилый диалог — она опять куда-то на две недели намылилась, он взъелся и высказал ей:

— Эгоистка ты...

На что получил хамский ответ, в ее духе:

— Вот ты не эгоист, но не потому, что такой хороший. У тебя просто эго нет.

Может, и правда нет. Но не она со своим «я» квартиру выплачивает, на работу выскакивает каждое утро, как кукушка из часов; не она отводит Степана в школу, и не она его спать уклады-

вает. А мелкий человек, которому предлагается не быть игрушечным.

Он слышал, как в кухне зазвонил мобильный. Наверняка Олька — так хотел ее услышать, а сейчас — ноль желания. Тошно. Надо что-то делать с этой жизнью, но что?

— Алена! Ответь на телефон...

Звонки прекратились, Алена разговаривала, но о чем говорила — не было слышно.

9

— Это не Олин телефон. Ее мужа. Оли нет в Москве. Может, что-то передать ей? Кто? Кэтрин?

Имя Кэтрин что-то смутно напоминало Алене. Точно! Переводчица. Когда познакомились, Олька целую стопку книг приволокла, все в переводе этой самой Кэтрин. Тогда еще мелькнула мысль — почему имя такое, но ответ сам пришел: полукровка, раз английский у нее в совершенстве.

— Кэтрин, я читала ваши переводы! Меня Алена зовут, я Олина подруга.

Выяснилось, что Олька заходила к Кэтрин пару лет назад:

— Квартиру я сдала, жильцы записывали, когда кто-то меня спрашивал. Я позвонила Оле по старому телефону, мне дали этот номер... Значит, она не в Москве?

— На Кольском полуострове мерзнет.

— Мерзнет? Ну, вы не знаете, что такое мерзнуть... Вот я только что из холодных краев, жара тут у вас.

— Жара? В начале апреля? Вы с Северного полюса прилетели? — улыбнулась Алена.

— С Южного, — Кэтрин сделала паузу. — Я из Антарктиды вернулась.

Такое путешествие не один десяток тысяч долларов стоит. Ничего себе переводчица.

— А вы на сколько дней ездили?

— На два года. Работала я там.

«Ничего себе...» — повторила Алена, и вслух:

— Кэтрин, послушайте, а можно было бы с вами увидеться как-нибудь? Интересно ведь, как там, в вечных снегах...

Уговорились на три часа дня.

10

Алена была уверена, что Володя Юльку покараулит. Он уже выручал ее так, вроде бы даже в радость ему это. Конечно, можно было бы и с Юлькой поехать, как всегда и всюду, но Кэтрин заупрямилась, сказала, что у нее самой тут полуторагодовалое чудо, «непонятно, как они друг друга примут, лучше не надо». Может, она и права — так спокойнее. Ведь хочется обо всем расспросить... снег, лед, простор... белое безмолвие, про которое пел Высоцкий. Эту песню она услышала только в тринадцать лет — а может, не «услышала», а «расслышала». Была на дне рождения у одноклассницы, пошла по длинному коридору в туалет, из-за одной двери в конце коридора доносилось:

«Север, воля, надежда — страна без границ,
Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья.
Воронье нам не выклюет глаз из глазниц,
Потому что не водится здесь воронья...»

Алена остановилась. Хорошо сказано — про жизнь, похожую на снег без конца и без воронья. Посмотреть бы на такой. А потом дверь распахнулась, и брат одноклассницы вышел, чуть на Алену не налетел. Смотрели друг на друга несколько секунд, потом он сказал — заходи, что под дверью слушаешь. И она зашла, села на краешек кровати, нырнула сомкнутыми ладонями между коленок, замерла. Брат подружки уже взрослый был — семнадцать лет, — можно сказать, красавчик. Как тут не замереть. Он собирался выйти, но остановился, кивнул на проигрыватель: «Тебе эту с начала поставить?»

Алена сидела одна в комнате, слушала. Каждое слово ловила. И ей так захотелось этого — как сказано в песне, этой «награды» — вечного полярного дня. И правда, награда: нет ночей, ко-

гда думаешь о том, о чем думать не надо, потому что все равно ничего сделать не можешь. Темноты просто нет. Именно там, в темноте, она чувствует себя одинокой. Днем — нет. Днем просто никому не доверяешься, кроме Нины. Днем школа, и потом еще «домашку» делать надо. Днем легко молчать.

Она б уехала куда-нибудь далеко. Например, туда, где снег и безмолвие. Она жила бы там, одна. Ну или, может, с Ниной, но Нина ведь не поедет.

Слушала, как завороженная:

«Наше горло отпустит молчание,
Наша слабость растает, как тень.
И наградой за ночи отчаянья
Будет вечный полярный день».

Вот как тут к Кэтрин не напроситься?

11

Володя подбросил на машине до метро. Последние годы любая незначительная поездка в город стала событием. Алена постановила отдать Юльку в сад только после трех лет — нечего маленькой стресс устраивать, уж не говоря о том, что ребенок нездоров. Конечно, не терпелось пойти работать (вопрос — куда возьмут, без опыта, да на какие деньги), хотелось вырваться из четырех стен, но больного ребенка чужим отдавать на весь день страшно — случится приступ, сумеют ли помочь? Иосиф исправно присылал деньги, и Алена все думала: теперь-то, когда бизнес продан, откуда он их берет? И знает ли Э.Э. о переводах тугриков?

Э.Э. — Эгле Эгию... Эгидю... Эги-ди-юсовна: прошлым летом выяснилось, что никакая она не Ольга. Прошлым летом, когда Иосиф настоял на том, чтобы вывезти Юльку в Прибалтику — воздух целебный, лечит даже взрослых. Есть где жить. Не виделись полгода. А что до Э.Э., так она все знает — той зимой, когда с Ниной беда приключилась, заявилась в больницу, затаилась в

уголке, Алена по три раза на дню к Нине прибегала, трудно не застукать.

После визита в больницу Э.Э. ходила с видом неприступным и кислым; попытки навести мосты пресекала. Потом, в конце июня, уехала в Литву, не попрощавшись: сбежала среди бела дня, записку оставила.

Если бы не записка, не видать было бы ей Оси. И вышла бы очередная гнусная и банальная история, каких уже тысячи в этом мире случилось, и все как под копирку: когда старый друг ни с того ни с сего оказывается хуже новых двух... Но кто Алене эта Э.Э., чтобы ради нее собственную жизнь крушить? Когда выбираешь между своей радостью и чужой, выбор очевиден.

Иосиф позвонил и грустно сообщил, что Э.Э. отчалила, пока он был на работе. Адреса не оставила, но наверняка на первое время поселится у свиноводов, больше не у кого. Денег у нее не ахти, хорошо, что номер счета в банке известен, можно будет ее подкармливать против воли.

Иосиф был не в своей тарелке: сник, потерянно вздыхал, начинал одну фразу, бросал, заговаривал о другом. «Хочешь, приезжай», — сказала Алена. Он приехал.

Сидели на кухне — впервые возникла эта неловкость, которая после разрослась, корешки пустила. Вот сидят друг напротив друга два человека, виновные в том, что третий несчастен — третий, никому зла не делавший.

«Она меня жить заставляла... после всех этих операций... в госпитале ночевала...»

«Ну и ответь ей той же монетой».

«Ты же все понимаешь, зачем...»

Уехать в Литву значило для него крушение всего: потерю Алены, Юльки, бизнеса, наконец. Ося до сих пор свою «Сыроежку» пробивал. А что делать в Паланге? Стареть?

Тут-то он и сказал: «Она записку оставила». Полез в карман рубашки, достал вчетверо сложенный тетрадный листок. Алена подумала мимоходом — я на таких же стихи царапаю. Она люби-

ла писать от руки — в рукописном тексте есть душа. Сочинится стих — перепишется в тетрадку, вроде живой. Протянул:

— Вот.

Помедлила, раскрыла. Иосиф вздохнул:

— Ну что, ей-богу, за театр...

Он сказал «театр»... Слова Иосифа шли издалека, из настоящего. Их — его и ее — внезапно разделил этот листок бумаги, встал между ними тонкой фанерной стенкой: все слышно, а коснуться уже нельзя. Там, за стенкой, было настоящее, здесь же — такое привычно горчащее прошлое, не все прошлое, нет, но тот лоскут, что до сих пор отдавал горечью.

12

«Не плачьте обо мне — я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой...» —

в пятнадцать лет Алена еще не сочиняла стихов — переписывала чужие. Было две толстые тетради (с тех пор и привычка к листкам в клетку): одна — для английской поэзии (едва разбавленной французской), а другая — для Серебряного века. Прочее не интересовало. Да, и еще было это, приблудное, записанное на последней странице тетради, где царил Лоуэлл:

«Не плачьте обо мне — я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет Божью Матерь...»

Она наткнулась на него в каком-то допотопном сборнике, валявшемся у Нины на шкафу: то ли «День поэзии», то ли еще что.

Оно звучало для нее как заклинание.

Заклинание, протест; как нота об объявлении войны.

Она знала — не будут плакать. Ни мать, ни эта, вторая, младшая... с позволения сказать, сестра. Как-то столкнулась с ней в магазине: «привет — привет». Будто и не родные. Ну что она, Алена, им сделала? Там семья, чужой мужчина, так и не пожелав-

ший стать ей отцом. А настоящего отца простыл след — не держатся мужики в их доме: от бабушки ушел, от матери ушел, а от нее, Алены, и подавно у... Пускай кто угодно уходит, только пусть придут эти двое. Младшей двенадцать — чем она живет? Было бы здорово иметь сестру. Семью. У всех в классе есть семьи.

Они не будут плакать — с чего бы им? Но если бы... если бы они просто пожалели о ней. Если бы позвонили и сказали: «Как ты?» Если попросили бы вернуться. Вот тогда она и ответила бы им — со всем сарказмом, на который способна: «Я проживу!»

Нищей, каторжанкой, хромоножкой — без вас обойдусь. Уж как-нибудь!

«Сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моею и пресветлой
уж как-нибудь, а всё ж я проживу».

Ей нравилось это — про пресветлую звезду.

Но однажды *они* и вправду позвонили.

13

— Твоя психованная мать, — протянула трубку Нина. — По-моему, выпила.

Нет, не то чтобы это был первый звонок за несколько лет; иногда «оттуда» звонили, но общение сводилось к нескольким формальным фразам, и тут же — позови бабушку. Что-то от Нины *им* было надо.

Но на этот раз специально попросили к телефону Алену.

Что-то там случилось, перегрызлись; мать всегда любила поскандалить, а тут, видимо, получила отпор: у сестрицы переходный возраст, с ней шутки плохи.

— Знаешь, что она мне заявила?

Алена молчала. На том конце всхлипнули.

— Что я старая драная кошка.

Алена хотела ответить, но сдержалась.

— Почему ты молчишь?

— А что я должна говорить?

Пауза. Всхлип.

— Они оба на меня... Сейчас ушли... Мне кажется... мне кажется, она отца ко мне ревнует. Как женщина, понимаешь?

Алена молчала. Зачем она ей-то это сообщает?

Всхлип, трубное сморкание, шлепок.

Разом вспомнилось: мать, когда плачет, не в салфетку сморкается, а в руку, и потом это — шмяк на пол: «вода одна». Ветхое воспоминание.

— Не молчи, Алена. Расскажи... как ты?

И это жданное неожиданное «как ты?» — будто нож, до донышка вошедший.

Пусть не о ней мама плакала — о себе. Все равно. Не осталось ни сарказма, ни злости. Как мало надо было, чтобы...

— Нормально. У меня все нормально... мама.

Сто лет как это слово не произносила: мама.

А если... если ты меня полюбишь?

Но там хлопнула дверь, и мама только сказала «береги себя», а потом — короткие гудки. Она всегда клала трубку когда пожелается.

Надо же, «береги себя». И Алена улыбнулась.

Правда, на этом все и закончилось: у *них* мир наступил, видно. Но Алена уже знала — не злость это у нее была, а отчаяние. «Я проживу!» таило не «Подите прочь!», а надежду — что будут плакать, что придут. Это она сейчас, с высоты своих неполных тридцати, знала, что нельзя оплакивать живых: они проживут свою жизнь так, как сумеют, и для них это, может, будет единственно правильным — зачем жалеть их, о чем плакать? Но тогда очень хотелось, чтобы плакали, а она утешала.

«Не плачьте обо мне — я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечёткой
мои стихи, моей рыжея чёлкой,
как дура будет знать. Я проживу».

Тогда еще и стихов никаких не было. Но все равно.

И сейчас, держа в руках тетрадный лист, разделивший их с Иосифом подобно государственной границе, она вспомнила это все. На листе ничего не было, кроме: Я ПРОЖИВУ. Большими буквами, как крик.

14

— Это же крик о помощи, разве не видно?

Иосиф вяло махнул рукой. Ему не хотелось спорить и уж тем более делать вид, что все в порядке. Но чего она, Алена, этой своей прямотой добивается? Сейчас, когда можно жить начать, пытается все порушить? Или нет, не будет ему жизни — совесть заест.

— Ну какой крик, Алена. Это строчка из стихотворения Ахмадулиной. Мы на этом выросли.

Неловкость никуда не ушла. Фанерная стенка не обрушилась.

Окончательно Иосиф уехал в Палангу — зимой.

15

Летом еще встречались, даже отдохнуть съездили в Геленджик. Юлька плохо перенесла жару, всюду бродили толпы, и Иосиф пошутил, что надо было отправляться в Прибалтику: прохлада, цивилизация. И уже серьезно: Юльке лечебный воздух Паланги просто необходим. Вот если бы...

Что «если», Иосиф не договорил, этим летом они многое недоговаривали.

— Почему ты не позвонишь этим... свиноводам?

— Я же один раз звонил. Она там. Что еще-то надо знать...

— Разве это все, что надо знать?

— Алена, скажи честно, чего ты добиваешься?

Знала бы она сама, чего «добивается». Если Иосиф уедет, она будет несчастна, это очевидно. Если останется — она не сможет его уважать. Вот и выбирай.

Ну а потом получилась дурацкая вещь: в первых числах сен-

тября Ося свалился в гости без предупреждения. Привез новую клетку для Свинтуса: двухэтажную, с белыми прутьями и дверцей в «потолке». На второй этаж ведет деревянная лесенка, но это невысоко: даже если свин сверзнется, оно на здоровье.

И так получилось, что они с Николаем столкнулись: один пришел, другой уходить собирался.

После этого — все. Взял себе в голову, что она оттого и гонит его к жене: любовника помоложе завела, закон жизни, понимаете ли.

— Ну зашел человек в гости.

— Ага. В полдвенадцатого ночи.

— Он раньше не может. Работа у него.

— Не сомневаюсь.

Раньше говорили часами, теперь — короткие диалоги, больше похожие на стрельбу из лука:

— Ося, почему мобильный отключаешь?

— Работы много.

...

— Когда приедешь?

— А надо?

Квартира у Иосифа теперь «пустовала», но он к себе не звал. Говорил, что Э.Э. может свалиться в любой момент, не вынеся радостей жизни на исторической родине; дочкам тоже никто не запрещал являться, у них и ключи есть... Отговорки. Работал допоздна — то ли убегал от проблем, забивал голову служебной бытовухой, то ли просто в пустом доме не сиделось.

После встречи с Николаем звонить практически перестал — каждый вечер Алена сама набирала его номер. Теперь он мог свободно разговаривать из дома, но будто и не о чем стало.

Еще у него появился пунктик: возраст. Внезапно выяснилось, что Алена ему во внучки годится.

— Ося, не надо преувеличивать.

Задумчивое:

— В общем-то, я так всегда к тебе и относился... Как к своему ребенку.

Хорош «дедуля».

Но самое интересное, что это было правдой. Алена никогда не чувствовала себя ровней с Иосифом, и именно это пленяло. У Иосифа за плечами была *целая жизнь*, вы знаете, что такое целая жизнь? И не просто, а прожитая сознательно — когда каждое событие кирпичиком укладывается в здание опыта. В этом здании хочется жить. И, более того, не обозлился Ося, не набрался цинизма до кончиков ушей. Носит с собой свой тихий свет. Свет и тепло — что еще нужно в кирпичном домике для счастья?

— Я старый и весь изломанный. На черта я тебе сдался?

Принесло же Николая именно в тот вечер...

16

В середине октября Иосиф исчез — три дня Алена не могла дозвониться, уже начала психовать: на заводе сказали, что отъехал, когда будет, неизвестно. Володя совершил чудеса находчивости и отыскал телефон Осиного шофера.

Шофер мялся — не желал издавать лишних звуков. Он уже один раз издал, заслал Э.Э. в больницу, за что был строго пожурён.

Удалось вырвать только часть информации: начальство приказало забрать из аэропорта в среду вечером.

В среду же на ночь глядя раздался звонок, Иосиф серым голосом известил о прибытии; извинился: уезжал спешно, не успевал предупредить. Алена по цвету голоса поняла: хотел свредничать, волноваться заставить, но, когда осознал, что переборщил, уже поздно было — Э.Э. под боком.

— У меня почему-то не включился роуминг...

— Знаю. Звонила...

Помолчали.

Потом выплеснул — так, что сердце сжалось:

— Уеду в Литву зимой.

— А завод? — глупо спросила Алена. Ну действительно, не спрашивать же: «А я?»

— Все продается и все покупается, Алена.

Она потом ревела ночью в подушку.

Первый раз он был несправедлив к ней.

17

Потом он как в черную дыру провалился и вынырнул из нее только в конце весны.

— Ося! Как так можно!

— Ну тебе же деньги на счет приходят...

И не дав пискнуть:

— Скоро у Юльки день рождения. Приедете?

Алена оторопела, а Иосиф затянул старую песню:

— Тут воздух волшебный. Для Юльки самое оно...

Будто Э.Э. не в счет!

— Дом большой... Я купил дом... Жильцов уже пускаем.

— Но...

— Свинтус здоров? Можешь и его взять. Тут на ферме барышни заждались.

— Лучше бы спросил, как твой ребенок... За пять месяцев ни слуху ни духу.

— ...

— Ося? Алло?

— Я не мог, — и голос посерел. — Мне тяжело было тебе звонить.

Алена молчала.

— Но сейчас уже нормально, наверное. Приедешь?

— А...

— Она на тебя не сердится.

Алена хмыкнула, и Иосиф подхватил:

— У нас тут целая драма была. Ольга вообразила, что я... ну, что я с твоей бабулей закрутил лихой роман, видишь ли.

— С Ниной?!

— Ну да, она ж ее в больнице видела. А мы-то думали...

— Ося, но как...

— Нина к ней, оказывается, на кафедру приходила.

— Зачем?

И тут Иосиф не выдержал, как пар из-под крышки выпустил, приступами смеха:

— Она профессора Кочура... искала... Осипа Эмиль... Эмильевича...

Алена фыркнула.

— Не смейся над моей бабушкой, Ося.

— Да уж мне не смешно — несколько месяцев к разговору готовился, и вот говорю: «Ольга, раз уж ты все знаешь, не мучай меня, пускай Алена летом приезжает, ребенку воздух морской нужен». Ольга смотрит на меня, как баран на проезжающую электричку, а потом отчетливо так произносит: «Какая Алена?» И тут я понял, что пропал.

Алена слушала такие знакомые интонации в потихоньку набиравшем краски голосе — будто никуда и не уходил, будто не было фанерной стенки и диалогов, схожих со стрельбой из лука. Внезапно вернувшаяся близость: как давно потерянное дивное кольцо, выкатившееся из-под дивана.

18

Если бы Иосиф не сказал про дочь — про свою третью дочь; плодит одних девиц, — и речи быть не могло, что Завадская ступит на этот порог. Пусть хоть десять раз у нее уже другой мужчина. Пусть хоть сто раз Ося говорит, что — как ее? — Алена гнала его, и вначале, и под конец. И пускай тысячу раз талдычит свое «Вы с ней похожи». Никто ни с кем не похож, она, Эгле, ни у кого мужиков не уводила.

Но ведь ребенок не виноват... Да нет, не то. Просто отказать сейчас Иосифу — значит оттолкнуть окончательно: и так зиму-весну как неродные прожили, с Гинтарасом больше бесед велось, чем с Осей. И ведь даже на шантаж пошел: «Не примешь Алену — уеду». Тоже, облагодетельствовал своим присутствием...

Этот Аленин приезд надо было пережить. И пережить с дос-

тоинством, если не сказать — с любовью. Лишь так, принимая тех двоих, что оставались дороги мужу, получилось бы снова оказаться рядом с ним, опять сродниться, может, еще крепче, чем раньше; обойти в благородстве ту, что когда-то обокрала тебя: только слепой этого не оценит.

Лишь одно условие Эгле выставила — чтобы Алена приехала в июне. В начале июля старшая дочь привезет обеих внучек, и не хотелось бы...

Когда Ося отправился за Аленой в аэропорт, Эгле принялась бесцельно бродить по дому, к которому до сих пор не привыкла, хотя был он ей мил. Заглянула в комнату, выделенную для *той*: у окна — детская кроватка, которую отдали новые хозяева ее старого дома. Иногда они с Осей заходили к ним перекинуться словом, и Эгле скользила рассеянным взглядом по комнате, ища примет прошлого, которых и не было уже.

Эгле взяла Гинтараса, спустилась на первый этаж. Жильцы — их набралось пока немного: семейная пара; парнишка, искавший приключений и являвшийся всякий раз под утро; две девчонки, ходившие подозрительно обнявшись, — разбрелись. Эгле выпустила зверька на траву. Он осторожно потопал вперед, вытягивая мордочку: мохнатая рыжая сарделька на ножках, сладкий Хрюнтарас. Если у них хватит наглости привезти того далматина, что Ося заказывал «для работницы», то этого Эгле уже не вынесет.

Потом к дому подъехало такси, Эгле вышла из оцепенения, заметалась. Подхватила Гинтараса, рванулась к дому. Но они уже заходили: впереди Ося, а следом — худенькая девочка с малышкой в панамке. Девочка, Алена Завадская, — вспомнилась сразу вся: с этим своим дикарством; прямым взглядом; с руками, которые она, сидя в легендарном кресле красного дерева, держала перед собой, поставив локти на колени: загораживалась. «Действительно похожи», — подумала Эгле.

И не осталось злости. Или нет, может, все-таки осталась — так, на донышке. Эгле присела перед девчоночкой в панамке:

— Как тебя зовут?

Но девчоночка зачарованно смотрела на Гинтараса. Потом отвела глаза — только на секунду, оглянуться:

— Ма, Свиньтусь жёльтий! — и потянулась к зверьку.

Но Эгле Гинтараса не отдала. Она подняла голову — Алена серьезно смотрела на нее, прихватив зубами нижнюю губу. От этой дурацкой привычки Эгле годами не могла избавиться — кусала губы, когда нервничала, а эта идиотка из Саратова-Саранска верещала на всю общагу: «Елка, с кем целовалась?!» — это ей-то, после истории с Йонасом шарахавшейся от парней.

Эгле встала. Перед ней кусала губы девчонка. Девчонке требовались поддержка, защита, внимание. Это было видно невооруженным глазом. У Оси всегда срабатывал мужской условный рефлекс — защищать слабого. Это нынешним мужчинкам подавай товарища, в ногу шагающего, а Ося, он... «всамделишный», как внучка Таня выражается. Все это не значит, что она, Эгле, готова подарить девочке близкого человека. Но стало ясно, почему сошлись эти двое. Их даже прощать и то было не за что.

19

Алена развернула листок с адресом Кэтрин: «Метро «Смоленская» выход к Ст. Арбату...» — она там гуляла с Осей, всего один раз. Вот так живешь в городе и не видишь его.

Наверно, народ повсюду — в три-то часа дня; вагон метро — как банка со шпротами, хорошо, на конечной сесть удалось.

Выходила из дома — накрапывал дождик, но зонт — пошарила рукой в сумке — с собой. Пальцы нащупали что-то кругленькое, выпуклое. Достала. Так и есть — совсем о нем забыла: кольцо. Дурацкое массивное кольцо из янтаря, подарок Э.Э. Если два пальца втиснуть, будет впору. Литовцы выдумали, что янтарь — это то ли божьи слезки, то ли осколки подводного замка.

В первый же день в Паланге набрели с Юлькой на скульптуру: Он и Она, склонившиеся друг к другу. «Зацепила» Она: выгнувшаяся в какой-то неестественной позе, будто выкручивают из

нее душу. Ося сказал, какая-то легенда. У Э.Э. выяснять не стала, надо думать, та и без докучных расспросов находилась на грани нервного срыва.

Володя, к которому Свинтус, на радость Степану, поступил на содержание, идею поездки не одобрил.

— А что говорит этот твой...

— Николай?

— Да...

— А что он должен говорить?

— Я бы на его месте...

Понятно, Николай устроил сцену.

Нина восприняла информацию спокойнее всех:

— Поезжай, Алена. Подумай о Юльке. А вобле так и надо.

— Вобле?

— Жене.

— А ты откуда знаешь, какая она? — фыркнула Алена.

Но про свой поход на кафедру Нина и под пытками не рассказала бы.

Бродила по ласковому пляжу, смотрела издалека на вооруженную красной лопаткой дочь: в этой огромной песочнице копай — не перекопаешь. Думала: одно — решиться приехать, другое — месяц здесь прожить. Нелепость: Ося хотел бы побыть с Юлькой, но выглядит любая его отлучка из дома как... случка. Хотя уж не идет об этом речь.

Сдружиться с Э.Э.? Ну, это из области фантастики. Как была в свое время пропасть «учитель» — «ученик», так и осталась, даже если историю с Осей в расчет не брать. Вобла, она и есть вобла.

Потихоньку начали возвращаться стихи, спугнутые новой обстановкой. Алена брала в руку горсть песка, смотрела, как медленно он высыпается из сжатой ладони, сочиняла. На пытавшихся познакомиться смотрела удивленно, отрешенно — отставали.

Правда, у нее завязались приятельские отношения с парнишкой, снимавшим комнату в доме: он все тянул ее по вечерам на танцульки, и она даже поддалась как-то, пошла, но сбежала — слишком много народу, слишком громкая и пустая музыка.

Она обходила стороной эти людные лакомые местечки — пирс и пешеходную улицу, названную именем местного умницы, собирателя народных сказок. Оставляла на Осю дочь, бродила, кормила в парке лебедей; большие птицы, они иногда утопывали далеко от своих озерец, важно шлепали черными перепонками лап по плитам тротуара на пустынной улочке: белые, как непрокрашенные пятна в пейзаже.

Дни походили один на другой, в меру солнечные, в меру дождливые. Э.Э. то ли поняла — ничего не грозит ей, то ли подивилась на Аленино спокойное одиночество, но стала делать мелкие шажки к сближению. Как-то сидели после обеда в саду, рассматривали с Юлькой бледно-рыжие камушки, что Алена насобирала, бродя в прохладном прибое. Камушков было всего ничего, и тут появилась Э.Э., принесла целую горсть. Ося дремал у себя, но Э.Э. не ушла, осталась. Молчали. Что-то бубнившая Юлька тоже притихла — она побаивалась Э.Э., не позволявшую брать в руки «жёльтего Свиньтуся», злая тетя.

И вдруг Э.Э. заговорила.

— Моего брата зовут Каститис.

— У вас есть брат?

— Да... В Америку уехал... Мама назвала его в честь рыбака из легенды. Знаете легенду о Юрате?

Алена помотала головой. Э.Э. начала как бы нехотя:

— Была такая богиня Юрате, жила на дне Балтийского моря в янтарном замке. Ничто ее не тревожило, не знала она человеческих чувств, ни любви, ни ненависти. Но однажды послышалось ей красивое пение, потом снова и снова... Она стала слушать эти песни... А пел их молодой рыбак Каститис — он выходил в море ловить рыбу, кидал сети прямо над крышей янтарного замка. Может, ее пленил его голос, может, смелость — не уходил он, даже когда она заставляла плясать волны...

— Зачем же было гнать? — спросила Алена, глядя под ноги.

— Полюбила, — Э.Э. замолчала.

В траве невидимый скрипач чирикнул смычком, но играть передумал.

— А потом?

— Потом забрала Юрате Каститиса в свой замок. У нас в легендах часто подводные жители простых смертных к себе забирают. И никогда это добром не кончается...

Э.Э. опять замолчала, задумалась о чем-то. Зачем тогда начинала?

— Что же случилось? Неблагодарный изменил богине с акулой?

Э.Э. улыбнулась — растянула тонкие губы на секунду.

— По закону моря нельзя бессмертным с людьми водиться. И самый главный бог, Перкунас... Перун... узнал, что сделала Юрате, и ударил молниями в ее замок. Богиню приказал навечно к развалинам приковать, а рыбака — укачать насмерть, что волны и сделали. И когда люди находят крупный янтарик — это осколок замка, а если море выбрасывает мелкий — это слезы Юрате, познавшей любовь.

— Она все еще там?

— Бессмертная же...

— А о чем плачет?

— О Каститисе, — удивленный взгляд.

— Думаю, о нем она давно думать забыла. — Алена встала. — И никакие это не слезы любви. Это злость, тоска и отчаяние. И еще жалость к себе, такой дуре. Я так поняла, она познала всю гамму земных чувств, безмятежная богиня. Что хуже с ней могло случиться?

— Алена, это просто красивая легенда.

— Я всегда говорила — у красивых легенд некрасивая изнанка.

Хотелось уйти, побыть одной.

Не надо ей благодарности Э.Э. и россказней в знак признательности. У нее, Алены, тоже гамма чувств, и все человеческие.

20

С тех пор девять месяцев утекло — Ося звонил, всегда ненадолго: справиться, как дела. Иногда передавал привет от Э.Э., но это всякий раз выглядело странновато, несмотря на то, что расстались, можно сказать, хорошо. Тему Алениной личной жизни Иосиф обходил стороной, но недавно не выдержал, спросил, будто мимоходом:

— Ты с Николаем?

С Николаем ли она... Что тут ответишь?

Когда полтора года назад этот же вопрос задал сосед Володя, парировала: «А ты — с Олей?» Вскочил, чай не допил, поплелся «до дому, до хаты». Наверно, не надо было, по больному-то. Правда, через два дня вернулся — одиноко ему.

Олька в то время совсем обесенела: являлась с работы в двенадцать ночи, звонила и просилась «поговорить, на полчасика». Все разговоры — вокруг Николая. Иной раз приходилось отказывать, несмотря на протесты и нытье: Николай стоял у окна на кухне, смотрел вниз, ждал, когда закончатся препирания.

— Я ее уволю.

— Это низко.

— А ведь знал, во что лезу. И полез-таки, дурак.

— Тебя на аркане волокли?

— Алена, я же живой человек. Мужчина...

— Если она сейчас придет, я что делаю? Открываю?

— Придет и уйдет.

— Или в дверь начнет звонить и разбудит ребенка.

— Алена, не понимаю, ей что от тебя надо?

— А тебе?

Стоит, молчит, в окно смотрит — точь-в-точь как Олька, только она на табуретке устраивалась.

— У меня тут приют для психов, которые не в состоянии сами с собой разобраться. Только я здесь при чем, не пойму.

Повернулся резко (психи, они такие).

— Я уже говорил, при чем тут ты. И разбираться мне не в чем.

— Еще про Мари Лоренсен вспомни.

В дверь поскреблись: так и есть, Олька.

Алена прошла в коридор, оттянула язычок замка. В дверном проеме — Олькино бледное личико.

— Оля, я же сказала, давай завтра...

— Ну на минуту можно?

— Нет.

— Алена...

— Я не одна.

— Я скажу Иосифу, что только...

— Оля, это не Иосиф.

Растерялась.

— Иди спать, Оль. До завтра.

Вернулась в кухню:

— Теперь благодаря тебе у меня репутация шлюхи.

21

Первый раз он заявился вскоре после того, как они с Юлькой вернулись из Нижнего, в конце мая. Нина уже вовсю ковыляла по дому, жить втроем в малюсенькой квартирке сил не было (от худого быстро отвыкаешь). К тому же речь тут шла не только о тесноте, но и об обиде: Нина оседлала конька и поехала, внушая Алене чувство вины просто уже из «любви к искусству».

— Ты видишь, кто у них крем от морщин рекламирует? — во время рекламы по телевизору. — Девчонке от силы лет двадцать! Все кругом врут, жизни нет...

— Ты на меня намекаешь, Нина?

— Ладно, больше не буду.

Дома в первый же вечер прискакала Олька, вывалила последние новости: с Нико то любовь, то война, в лапы не дается, в конечном счете, ни тепла от него, ни ласки, ни о каком будущем речь не идет. К тому же он крутил с ее бывшей сотрудницей, и та говорила то же самое.

— Ну так и оставь человека в покое. Или вам нравится нервы друг другу трепать? Тогда не жалуйся.

В то время еще сыр в доме водился, самый разный. Резала кубиками, Олька выхватывала их из-под ножа.

— Алена, ты не понимаешь. Я все с ним хочу...

— А он-то хочет?

— Он ни с кем ничего не хочет. Эгоист.

— Ну так и оставь...

Песня без конца.

Олька ему и сказала, что хозяйка квартиры, где они кувыркались время от времени, вернулась.

В будний день, часов около девяти вечера, просто позвонил в дверь. Да и что другое он мог сделать?

— Здравствуйте... Простите, вы Алена?

Олька ничего не знала: он завалил всех работой и уехал, якобы в типографию.

22

— Можно?

Прошел в комнату, встал у окна. Немного иначе она его себе представляла: не таким плотным, не таким порывистым. Но красивый мужик, ничего не скажешь.

— Я сейчас. — Зашла в спальню: Юлька только-только уснула — приучила ее Нина рано ложиться. Теперь отучать придется: ребенок в семь утра уже безнадежно бодр.

Вернулась, села на диван. Николай по-прежнему стоял у окна, смотрел вниз. Повернулся:

— Я, собственно, насчет Оли.

Ерунда какая-то. Она, Алена, при чем тут?

— Я подумал, может, вы с ней поговорите...

— Каждый вечер говорю.

— И что она...

— Вы же знаете, что — она.

Прошел через комнату, сел в кресло напротив дивана. Их те-

перь разделял низкий стеклянный столик, Алена опустила глаза, заметила след от чашки: незамкнутый круг.

— Я не могу ей этого дать.

Алена хмыкнула:

— Еще скажите, что у вас жена и дети.

Вскинулся:

— Именно так.

— Нет, не так.

Мысль мелькнула: зачем я тут сижу и препираюсь с незнакомым человеком? Ворвался в дом и хочет решить свои проблемы за чужой счет. Но сдержаться невозможно:

— Нет, не так. Если бы она действительно нужна вам была, уже ничто не имело бы значения.

Думала, он сейчас затянет песню про ответственность за приручeнных, и в общем-то будет прав. Как Ося. Но не затянул.

— Знаю.

Молчание.

— Значит, не любите.

— Любовь женщины выдумали, — усмехнулся. — За пяльцами.

— За чем, простите?

— За пяльцами. Пряли, скучали, страстей жаждали.

Навязался монстр на Олькину голову.

— Понятно. Что от меня требуется?

— Алена, обидел я вас?

— Ну что вы. Уж мне-то точно все равно. Просто я не пойму...

Перебил, с улыбкой:

— Я вас такой себе и представлял.

— «Такой»?

— Колючей немножко. Гордой. Сильной. Да, спасибо за предоставленную жилплощадь.

— Оля сказала, на аркане вас сюда тащила всякий раз.

Вот где она лишнее брякнула. И все оттого, что сбило с толку это «гордая-сильная». Ну какая же она...

Будто дала повод к откровенности. Будто вопрос задала — так ли? на аркане, да?.. И точно — ответил:

— Да... Можно сказать, был с ней мил — насильно... Алена, ей всего меня надо — это при том, что она понимает — я никогда...

— Так потому-то и надо.

Плечом пожал.

— Николай, а вы знаете, что муж ее любит? И она его ни в грош не ценит... Она говорила вам про «большие буквы»?

— Нет.

— Ну, неважно. Просто все, что со строчных букв, ее не интересует. А вы как бы с заглавной — в ее иерархии. Вы — Новая жизнь. О чем я должна с ней поговорить? О том, что Новая жизнь не состоится? Ну так вы ей сами скажите.

— Она мучается, Алена.

— Я-то знаю.

— Ну может, мы как-то вместе сумеем...

— «Вернуть ее в болото». Знаете, Николай, а ей летать охота.

Аж застонал:

— Ну почему — я?

— Потому что вы первый попались.

Ушел около одиннадцати, попросил телефон, сказал, позвонит. «Ольке — ни слова. Ревнива, как орангутанг». Видно, совсем мужика достала.

Да... решили, что свои проблемы он будет сам решать.

23

Потом Олька явилась кислая, заявила, что «Нико урод и с ним все кончено». Долго рассказывала, как объяснение вышло. Спрашивала, как сделать так, чтобы стать ему необходимой. Поплакала.

На следующий день позвонил Николай:

— Как она?

— А что, разве не видно?

— Она со мной не разговаривает. Хорошего я себе сотрудничка подобрал.

— Отойдет. Сказала — у вас все.

— Свежо предание... Помните, у Набокова в «Лолите»: «Я страстная и одинокая женщина, и вы любовь моей жизни»? Вот-вот. Ну как после этого...

Совсем у Ольки нет чувства самосохранения.

— Если я заеду сегодня? Где-нибудь ближе к десяти — в прошлый раз в пробках стоял...

Приехал: об Ольке уже — ни слова.

24

Зачем она говорила с ним? А вы посидите в четырех стенах с ребенком, в чужом городе. Вечером — не поздно — является муж подруги, сопит, вздыхает, с темами для разговоров туго; ему хочется спросить — а что там у благоверной сейчас творится, в личной-то жизни, но он не решается. Потом уходит. Совсем поздно или же поутру является подруга. У нее Гумберт Гумберт, у нее «страсть и одиночество» и еще отчаяние.

Вот и все развлечения.

Николай оказался интересным собеседником. Да, в нем было именно это — о чем говорила Олька, когда рассказывала про большую рыбу, которую не поймаешь, — что-то восхитительно-мужское. Говорили обо всем подряд: о журнале, все увереннее стоявшем на ногах («пока что — на ножках»), о геологоразведке в Сибири, которая теперь в упадке, а когда-то... И Николай вспоминал, как ездил с геологическими партиями, а потом Алена рассказывала, что говорил Бродский, — тайга, плоские бесконечные болота... комары... тучи комаров... так? — Ну не всюду... а что, разве Бродский... — Конечно! Школа жизни для поэта — самое важное... Он даже маленькое месторождение урана нашел... уран ведь искали.

Попутно она думала... Она всегда будто на двух стульях сидела. Вот и сейчас: сказала, что школа жизни важна для поэта, но

разве это правда? Уже сколько раз она об этом размышляла — Эмили Дикинсон носу из дома не показывала, а все с ее стихами носятся. Значит, и это затворничество с Юлькой — не наказание для ее дара, и если последнее время она пишет меньше, так это не от нехватки впечатлений, а оттого, что иссякает... Сколько еще длиться этому кризису? Нет, что хотите говорите, а впечатления нужны. Пускай даже чужие.

— Расскажи о себе.

И он рассказывал о своих путешествиях, о встречах, о планах. Большая восхитительная рыба. Каким течением ее занесло в эту квартирку?

Потом стало ясно — Николай не может пройти мимо очередной юбки.

— Я видел тебя на фотографии, — кивнул на рамочку в комнате.

— Не очень-то это честно по отношению к Ольге.

— Ерунда. Если ты честен с избранником — это не честность, а любовь. Если нечестен — это не измена, а просто отсутствие любви. Быть верным тому, кого не любишь, — абсурд.

Хватило ума сообразить — все это только слова, пляска рвущихся наружу сперматозоидов.

Да и за Ольку как-то обидно.

25

Потом прозвучала эта фраза про Мари Лоренсен: она ее потом долго поминала ему, эту грубую подделку под искренность.

«Ты девушка Лоренсен... такая же неуловимая».

О существовании этой художницы, исключительно барышень живописавшей, Алена знала только потому, что та была возлюбленной Аполлинера; его «Мост Мирабо» Алена помнила наизусть, хотя и прохладно относилась к французской поэзии. Кстати, написано было из-за разрыва с Мари.

В том, что Николай разбирается в живописи, как свинья в апельсинах, сомневаться не приходилось. Он и не скрывал.

— Мне всегда любопытно бывает — что хотел сказать художник. Ну вот изобразил он цветы на подоконнике, дальше что? А пейзажи?

— Тебе известно такое понятие, как «настроение»?

— Мне известно понятие «информация». Настроения мне скучны.

— Вот как? У Лоренсен сплошные настроения.

Сотни раз повторенные девушки: нюансы, фантазии; едва намеченные глаза, рот, лица полукружье; вечная бледность, тонкость рук, томность движений; пастельные тона: масло, так похожее на акварель. Девушка в сопровождении длинномордой собаки, заблудившегося единорога. Вот уж точно — ноль информации. Хотя нет, есть она: нарциссизм рисовавшей. Но кому нужно это бесполезное сведение...

Потом добавил:

— Неуловимость и сдержанность... Странное сочетание.

— Я кажусь тебе странной?

— За это и полюбил. Сразу.

Как это дешево.

Да и после Ольки постель еще не простыла.

Выискался любитель неуловимости. Охотник до живописи с отрицательным балансом информации.

Вот и именно что — охотник.

И все же этот абсолютно непоэтичный человек приводил за собой стихи. Алена чувствовала, как шажок за шажком выбирается из кризиса; но стихи начали неожиданно менять интонацию — они и раньше были прозрачными — причудливая вязь слов, ни одного душного; но теперь стали походить на акварельные картинки, выполненные на пористой бумаге: размытые, будто в дымке, они не отражали реальности, но были фантазией, настроением, как сказал бы Николай — никакой информации.

26

Она предпочитала ласки простым телесным радостям. «Когда мы занимаемся любовью, я играю с его пуговицей на воротничке», — как-то призналась. И еще: «Моя мать, моя кошка и я: жестокая крепостная стена, так раздражавшая Гийома». Мечтательница, живая, самовлюбленная, капризный ребенок, Мари Лоренсен воспринимала свою связь с Аполлинером как большое приключение.

Аполлинер: неуклюжий гигант, круглое лицо печального клоуна, скрашенное иронией. Шляпа, которая ему маловата, да еще и сидит криво. Лохмота усов и до блеска выбритые щеки. В тридцать лет жил с мамой, хотя она и говорила — я вижу тебя только тогда, когда надо постирать рубашку. Вечно опаздывал. Да! Никакой он не Аполлинер был, у него фамилия — Костровицки, по маме...

Всему виной длинный язык Пикассо. Подвел к Гийому Мари: «Я встретил твою невесту».

А дальше — несколько лет терзаний. Было прямо по Бродскому: «Зная мой статус, моя невеста пятый год за меня ни с места...» Ему нравилось страдать публично: такое утонченное удовольствие... Сталкивались, ранили друг друга, расходились, чтобы сойтись вновь. Гийом был страшно ревнив, Мари — неуловима.

Вновь и вновь он направлялся на улицу Ла Фонтен в буржуазный пригород Парижа Отёй, переходил Сену по мосту Мирабо с его оцепеневшими у воды бронзовыми фигурами — четыре морских божества, покинувших свою стихию.

Потом была встреча в баре на улице Вавен.

— Я сообщу тебе сейчас важную новость.

— У меня тоже есть новость для тебя...

— Я выхожу замуж.

Он расхохотался.

Когда понял, что правда это, заплатил и вышел, не сказав ни слова. Больше они не виделись. Через несколько лет он погиб, не дожив до сорока.

Она умерла много позже, пережив две войны. Ей был семьдесят один год, когда ее похоронили на кладбище Пер-Лашез, в белом платье, с розой в руке и письмами Аполлинера на сердце.

27

Николай искал именно это — чтобы как тростник была: гибкая и сильная. Ровню хотелось, а не так чтобы — просто женщина. Или даже нет — хотелось восхищаться, на цыпочки привставать: пусть в чем-то выше будет.

Когда на Маше женился, еще ничего не знал — про тростник; молодой был. Маша долго сбивала с толку своими утверждениями, заражая верой в них.

«Я женщина, мне можно быть слабой».

«Мне можно не работать, я же женщина».

«Мужчина должен за женщину отвечать».

«Мужчина должен содержать семью!»

Ей все можно, она же слабая. А он все должен, он большой.

Потом вдруг начали нравиться женщины постарше. Состоявшиеся. Они-то и казались настоящими феминами: таинственными существами, способными не только выживать, но — просто жить, не нуждаясь в подпорках. Чуть позже пришло прозрение: «просто жить» — одно, а творить свою жизнь — другое. И он потянулся — к тем, что создавали — пускай самую малость, и — второе не вытекало из первого, но являлось его условием, — были талантливы.

Талант и самодостаточность: он, как мальчишка, бежал за ними, разглядев их в пускай не красотке и не такой молодой. Что есть красота и молодость против глубины в глазах?

Потом он отыскивал в них изъяны — может, не везло или приходил слишком поздно. Эти женщины уже любили кого-то, в настоящем или прошлом, их не отпускавшем; эти женщины были опутаны друзьями и близкими, занимавшими все свободное пространство, или — что чаще — находились в пустоте, вакууме, творя свои шедевры: острые статьи, шелестящие одежды, непо-

нятные картины. Им никто не был нужен. Или, может, так: не нужен был он, Коля.

Он говорил себе: недостоин, примитивен.

Одна так и сказала: «Ты видишь только основные цвета, а оттенков не различаешь...» Не злился. Пытался понять.

Маша оставалась рядом. Она пела свою тихую песню, сидя с детьми: уверенная, что реализовала себя — «как женщина». Он без остановки работал, вписываясь в схему: содержал, нес ответственность. Это давало право если не на многое, то на кое-что.

Вика случилась сразу после Кэтрин. С Кэтрин он промахнулся: чуть до желтого дома не довела своими руладами. Сколько дано ей было — ведь переводчик от бога, — все в его глазах обесценила нытьем и претензиями. Пока избавлялся от Кэтрин, в издательстве мелькнула Вика: ее пригласили оформлять новую серию детских книг.

В свободное от изображения лягушек и принцев время Вика писала пейзажи и цветы «в стиле Мари Лоренсен». Озадачился — кто такая эта Мари: нашел альбом репродукций, полистал. Девушки-девушки-девушки, никаких цветов и пейзажей. Заявил авторитетно:

— Лоренсен только барышень рисовала...

Вика вскинулась:

— Рисовала! Рисуют дети мелками. А картины — пишут.

У нее был вздорный характер, у Вики. Но она открывала ему простые истины, которые он сам не умел постигнуть.

Она говорила:

— Глаз глуп — в картине он невольно ищет сюжет, сообщение, повествование — иными словами, пищу для ума. А художник обращается к твоему бессознательному... Картина — зелье, его надо пить, а не пытаться пилить ножом, как засохшую пиццу. Главный завет: не препарируй!

Он брал себя в руки: старался смотреть отрешенно, отключив чирикавшее сознание.

— Ты говоришь, я «барышень не рисую». А вот скажи, какая

разница между цветами, пейзажами и этими самыми барышнями?

Он пожимал плечами. Только слепой не увидит разницы.

— Да нет ее! — Вика смотрела на него как на дебильчика. — Это ж одно и то же! Ты видел у Лоренсен хоть одно конкретное лицо — у бесконечных девушек? По-настоящему прорисованное лицо? Не видел и не увидишь, потому что это нескончаемая череда фантазий, одно сплошное мечтание длиною в сотни полотен — как анфилада комнат во дворце: все непохожи и все похожи друг на друга... И тут уже не важно, о чем мечтаешь — о цветах или...

— Или о бабах, — ввернул зачем-то, так, для шутки.

Схватилась за голову.

Она рассказывала ему, как Лоренсен работала: ей требовалась натура, неважно какая — просто нечто материальное, трамплин для фантазии. Она сажала перед мольбертом девочку — дочку друзей. Та потом рассказала в книге, как приходилось часами сидеть, не двигаясь, утеряв чувство времени, в тишине, в безмолвии. «Какие у тебя большие черные глаза», — говорила ей Мари напоследок. Глаза у девочки были карие и совсем обычные. Мир, что творила Лоренсен на холсте, выплескивался в реальность — пусть только для нее одной.

С Викой не сложилось, но он и не претендовал: долго на мысочках не простоишь. Да и характер у нее был похлеще, чем у Кэтрин, а уж Кэтрин держала пальму первенства в спиногрызстве.

Несмотря на то что друзьями с Викой остаться не удалось, он купил альбом Лоренсен — качественный, дорогой — и изредка листал его, вглядывался в фантазии полвека как покинувшей землю женщины. Пытался понять — о чем говорит неловкий поворот головы (как только модель не вывихнула себе шею), что шепчут опущенные уголки едва намеченных губ, к чему тут единорог, остановившийся в пустоте в верхнем углу холста: будто болтающаяся елочная игрушка, на которую никто не обращает внимания. Нет, эти фантазии были ему чужды. Если он о чем-то

мечтал — мечты были «весомы, грубы, зримы»: он знал, что надо сделать для того, чтобы их осуществить, а если и не знал, то это оставалось делом времени. Худые угловатые фигуры, хрупкие, будто фарфоровые, и их светло-пепельный мир были завернутой в саму себя галактикой.

А потом он увидел фотографию Алены.

28

В этот дом — двухкомнатную квартирку на двадцать первом этаже затерянной среди прочих высотки — сота в улье, — привела Ольга. Была суббота, Маша порывалась выдвинуться образцовой семьей в Битцевский парк: очередной номер «Холостяка» был сдан, ничто не держало на службе работящего супруга, в последнее время все выходные трубившего в офисе. Но супруг внезапно сообщил, что в Картчасти, где в незапамятную эпоху он вдохновенно плодил карты полезных месторождений, наметилась собирушка, и его позвали, не забыли — ну как же проигнорировать... Да и понять его можно: одна работа в голове, надо бы проветриться.

— Может, тебе проветрить голову в парке?

— Голого в парке? Холодно, Маш... Да и не поймут.

Она даже не улыбнулась.

Картографы и картографини не спешили: собирушка была назначена на четыре, а в шесть еще не все нарисовались. Стоял с пластиковым стаканчиком шампанского в руке, болтал с Беллинсгаузеном, разглядывал новые лица. Беллинсгаузен, он же Сашка Григорьев, в свое время сотворил несколько гениальных карт, Великим географическим открытиям посвященных, и в своем первозданном — романтическом — виде свет не увидевших. Маршруты отважных мореплавателей изображались пунктирами, на каждом был искусно прорисован мачтовый корабль с выгнутыми ветром парусами. Одна из карт повествовала об обнаружении Антарктиды. «Хоть тут мы были первыми», — и Сашка на радостях изобразил рядом с русским кораблем его капитана, с победным видом стоявшего по колено в воде. Прорисовка капитана

потребовала массы сил. На «Что это?» начальствовавшего в те времена Бобрякова Сашка сообщил, что-де это Беллинсгаузен, а в воде он, потому что ему море по колено. «Море по колено пьяному», — мрачно изрек Бобряков. Почувствовав, что дело пахнет керосином, Сашка возопил: «Не трогайте Беллинсгаузена!» С тех пор и повисло на нем прозвище... «Не трогайте Беллинсгаузена!» обязательно выкрикивал кто-нибудь, когда Александра пытались вырвать из творческого процесса, приглашая хряпнуть кофейку.

Беллинсгаузен уже давно карт не творил, а прозаически занимался бизнесом, в приступе ностальгии окрестив свою фирму «Каравелла».

Играли в игру «Угадай карту»: надо было без слов показать, например, «Русско-японскую войну». Марина (забыл фамилию) растянула пальцами глаза, затем встала в позицию каратиста, вооружившись воображаемым мечом. Ее напарница (незнакомы) схватила швабру и со свирепым видом ринулась на «врага». Карту угадали.

В восемь часов сорвался — поехал к Ольке. Сомневался до последней минуты — думал позвонить, сказать, что не получается. Но чутьем понял: это будет чересчур.

Олька не только казалась хрупкой — была. Такая какая-то... будто над обрывом замершая, руки назад отведены: обидите — прыгну! Это кого хочешь испугает. Ее можно было поставить в один ряд с фарфоровыми героинями Лоренсен — острая, вся какая-то надломленная. В этой надломленности есть профит: такая любит — кровать разваливается.

Но настоящей лоренсеновской героиней была не она. Слишком много огня: густые краски. Настоящей героиней была ее подружка.

29

— Вино захвати...

Он отрывается от созерцания фотографии: девушка в тонком светлом платье сидит на белой скамейке, в руках — сверток, из свертка видна спящая мордочка недавно притопавшего в мир че-

ловечка. Когда-то и его сынули такими же ангелками были... а теперь — обормоты, дерутся, что ни день.

У девушки на снимке странный взгляд. Она смотрит куда-то, но — он готов поспорить — не видит. Или, вернее, видит, но не то, что в зрачке отражается. Ну как сказать... Будто она не здесь. Или — более того: не отсюда.

В этом взгляде ничего нет. Но это не отталкивающая пустота: это пустота принимающая. Подойди к ней сейчас тихонько и возьми с рук сверток — не заметит. Это фотография человека, которого нет здесь. И еще — легкое кремовое платье, под которым угадывается... жизнь.

Жизнь, в которую он не вхож.

Оля ждала в спальне, держала в руках две пиалы. Сделала какой-то немыслимый фруктовый салат, а он сейчас с удовольствием мяска тяпнул бы.

Виноградины то и дело летят на простыню, а то и на пол — зачем она выбрала такие маленькие ложки, не чайные даже, а кофейные?

Перегнулся через нее, поднять ягоду: горячая девчонка, как печка. Захотелось взять — сразу же, без церемоний. Но церемонии нужны — иначе нельзя.

— Ну что? С ложечки тебя покормить?

Принял у нее из рук пиалу.

— Я так сыновей кормил когда-то.

— И... никого больше?

Вспышка: девушка на белой скамейке. Будь это не фотография, а картина, о чем бы она говорила? Стоп. Здесь что-то есть...

— ...Нет, больше никого.

Оля что-то спрашивает, и он даже отвечает ей. Но где-то внутри зреет новое знание, пока слов для него нет.

— ...ты меня не хочешь?

— Ну как ты могла... — он притягивает ее к себе, целует в губы, тянет платье вверх, отбрасывает. Внезапная мысль: сколько раз он уже делал это движение... И последующее — тоже: когда

вслепую воюешь с металлическим язычком, рьяно цепляющимся за свою скобочку, лифчики выдумал мужененавистник.

— Оставь.

Ну и черт с ним. Что же это было? Будто что-то, что слов не требует. Да! Белая девушка на скамейке в летнем платье — она ни о чем не сообщает тебе, ее нельзя «прочесть» — ее можно только выпить: принять в себя не раздумывая, просто принять.

— Николай...

Изображение... Изображение — это зелье.

Одним махом выпить горячее, пряное, доверившееся. Смотрит в глаза: она здесь, вся здесь, впитывает минуты, секунды — всё ее! А та, другая, между двух миров потерянная, — только фантазия, только акварель.

30

Алена вышла на «Смоленской»: так и есть — дождь. А ведь специально ехала пораньше, чтобы по Старому Арбату прогуляться, дуреха. Но дождь приятный, свежий. Хлопнула зонтом.

У метро продают цветы.

Точь-в-точь такие же розы, что Николай притащил в тот злополучный вечер: наверно, тут и покупал — у него же редакция на «Смоленке».

Три белые розы принес, а ведь повода ему не давала. Разговаривали. Приехал около десяти, а в начале двенадцатого в дверь поскреблись. Не иначе как Олька сбежала с работы, не высидев и часа без своего Нико.

— Ты хоть бы позво...

За дверью стоял Ося.

С тех пор все пошло под откос.

31

Последний раз она видела Иосифа в Шереметьеве, под Новый год — спустя без малого четыре месяца после осенней исто-

рии с этим его неожиданным приездом. Он пересаживался с одного самолета на другой — с того, что прилетел из Нижнего, на тот, что летел в Палангу. В гости не заехал — сказал, не получалось по времени; нет, просто не хотел. Поехала с Юлькой в аэропорт.

Попросил захватить из дома только одно — фотографию, где они с новорожденной Юлькой сидят на лавочке возле Чистых прудов. Она ездила в город по делу, не знала, с кем оставить Юльку. В эти ее первые месяцы в Москве все было новым и сочинялось легко. На Чистых прудах — белые лавочки, резные тени от листвы, белые же лебеди на зеленоватой воде, и отражения у них тоже белые... Лето, солнце.

Парнишка зачем-то сфотографировал ее, а она даже не заметила — пыталась поймать строчки, слетавшие, как стайка чирикавших воробышков, и бросавшиеся врассыпную — только руку протянешь.

— Эй! — Он сел рядом, тронул за локоть. — Эй...

Повернулась, вернулась:

— Что?

— Я тебя сфотографировал.

— Да? Зачем?

— Красивая... — пожал плечом.

Даже имени своего не сказал — да и ее не спросил: просто сидели, болтали.

— Я с любимой сегодня расстался. Вот так.

— Помиритесь...

— Нет.

— Грустно тебе?

— Не знаю. Забери у меня ее фотографии.

— Ну подумай, зачем мне...

Но он уже подцепил пальцем язычок на фотоаппарате, начал сматывать пленку.

— Они там. Недавние. Не хочу их видеть.

— Заведи себе цифровой фотик. Разлюбил девушку — стер.

— Я не разлюбил. И она не девушка. Она взрослая умная красивая женщина. Держи.

Положил катушку с пленкой на лавку.

— Только не оставляй здесь.

И пошел. Уже вдалеке — оглянулся, махнул рукой.

Ося почему-то особенно любил эту фотографию — рамочку притащил, поставил в комнате.

А та женщина... она так и осталась на проявленной пленке — не печатать же ее снимки. И это было, будто бы она навсегда остановилась на полдороге из небытия к реальности.

32

Это длилось, и длилось, и длилось. Иной раз даже такое случалось: часов в девять являлся Володя — садился, бурчал что-то житейское, потом, как бы невзначай, спрашивал: «Ну что там... у Оли?»; часам к одиннадцати ненадолго заруливал Николай, а ближе к полуночи ломилась Олька, у которой сил не было дотерпеть до утра. Соседи, наверно, думали, что тут сборища тайной секты.

Потом Олька отпустила Николая — отстала, что-то сломалось у нее внутри. И все стало ей неинтересно сразу же: и журнал, и интервью брать, и компания их развеселая. Это все — с Володиных слов, потому что ночные появления ее прекратились. Алена учинила Володе допрос, и тот сперва мямлил, а потом вздохнул тяжело, отвел глаза — как кот, которого сейчас ругать будут. Проговорился-таки.

— Ты сказал, у меня с Николаем — что?

— Ничего. Просто что он к тебе ходит.

— Ты меня ставишь в дурацкое положение, Володя.

— Сама же хотела ей рассказать.

Да, хотела — это вранье поперек горла стояло. Но с Олькой невозможно было слово вставить, невозможно было ее так огорошить...

«Алена! Он же со мной не спит! Ну почему?» — «Может, не

любит?» — «Ну что ты всегда все так примитивно толкуешь! У нас сложные отношения...»

Вообще-то она толком не знала, что там у них. С Николаем на разговоры об Ольге было наложено табу: «Иначе наше общение никогда не выберется с уровня сплетни».

«Таких женщин не бывает, — улыбался Николай. — Не могу поверить, что тебе этот сериал в реальном времени до лампочки».

Вот-вот. Этого она тоже не хотела — чтобы называли Олькины ненужные, но все же страдания «сериалом».

Меж тем уехал Ося — обидно уехал, на прощание чмокнул в щеку, а по другой ладонью так провел. Надо думать, что ему это все непросто далось, тем более что ведь отравил себя идеей, будто Николай ему конкурент. Даже смешно.

Ося: теплый, заботливый, принимающий ее — любою. Может, ей не хватало отца, или она просто недополучила тепла семейного, может, у нее эдипов комплекс — какая разница. С Осей — как ни с кем — она могла позволить себе быть безоружной, почти ребенком.

А Николай и не скрывал: его очаровала другая Алена; о той, другой, Ося, может, и не подозревал даже. Женщина мечты, которая кобылу голыми руками остановит, а потом ломанется в горящую избу горшки свои спасать. Николай не хотел быть сильнее — ему нравилось восхищаться ровней; он не думал защищать — ему хотелось биться спина к спине. Как-то сказал: «Женщина должна быть крепкой, как орех: уходишь на войну и знаешь — жизнь ее не раздавит». Вроде бы и прав — она сама всегда за храбрость ратовала, за то, чтобы о ней — ни слезинки, никто; за то, чтобы суметь выжить — без гримасы на лице, более того: с улыбкой. Но если с мужчиной нельзя быть слабой, зачем он тогда нужен? Иногда ей казалось — заплачь она, это его неприятно удивит.

Она переспала с ним первый раз в начале весны, в середине марта. Из Паланги не было никаких известий.

33

Никогда раньше у него не складывалось таких странных отношений с женщиной. Женщина его не любила; тайного или явного интереса у нее к нему не было (деньги, карьера, прочие прелести); порой казалось, что даже уважения и того нет. Спрашивал себя — почему она рядом, и не знал ответа.

«Рядом»... Когда воробышек слетит на лавку, на которой вы сидите, — он рядом? Чирик — и нет его.

И ведь все так любо-дорого со стороны выглядело: ни одной ссоры за весь тот год, что вместе... Вместе ли?

Прошлым летом она поехала в Палангу — сообщила накануне, как будто собиралась за хлебом сходить. Конечно, старпер не конкуренция, но ребенок-то его, и живет она на его деньги. Работу только сейчас начала искать, Юльке скоро три, в сад пойдет наконец-то. (На предложение помочь с работой — отказ: «сама».) Как работать начнет — от денег, сказала, откажется, только на ребенка брать станет. Говорил ей — давай я тебе давать буду — смеется: «А как же насчет ореха?» Это к идее, что женщина не должна присасываться к мужику. Сам предложил ведь, при чем тут присоски? Отказалась.

Вернулась из Паланги — никого видеть не желала. Звонил — трубку не берет. Поехал. Дверь не открыла. Стоял, как дурак, как оплеванный — тут лифт открывается, и нате — знакомые все лица. Первый и последний раз наблюдал его больше года назад, когда он в контору заявился: «Слушайте... я все знаю... я хотел бы...» Так и не понял, чего он хотел: лепетал что-то, глаза отводил. Это вместо потасовки-то. Как только убедился, что у него его Олю никто не отнимает, ожил, можно сказать, расцвел. Но все равно сморчок. И вот *это* выплыло из лифта.

Выплыло, деловито протопало к Алениной двери. Стукнуло кулачком. То ли не заметил, то ли ветошью прикинулся.

Вернуться от лифтов назад, в коридор, встать у сморчка за спиной: впустит она его?

— Извини, Володя, не могу...

Потоптался, повернулся, аж подпрыгнул от неожиданности.

— День добрый.

— Здрассьте...

— Что, не пускает?

— Нет...

По телефону сказала сморчковскому — ну поднимайся, а пока в лифте ехал — передумала.

— А если она не одна?

— Тогда с самого начала не согласилась бы...

Вошли в лифт, поехали. Ну что — так и уйти, несолоно хлебавши? Тут дело не только в гордости — соскучился ведь невероятно.

— Мм... Как там Оля?

— Нормально.

— Она сейчас где-то работает?

Ольга уволилась еще весной; на ее месте сидела хоть и сто раз грамотная, но безызюмная Галя, Светкой приведенная.

— Работает... — неопределенное. — В командировке она.

Лифт остановился на третьем, двери расползлись.

— Досвидань, — вот так, скороговоркой.

— Слушайте, Владимир...

Остановился. Медленно оглянулся.

— Владимир, у меня с собой бутылка французского вина...

34

Любила она, что ли, своего старикана — без малого неделю скрывалась ото всех. За это время с Володькой-сморчком ну не то чтобы сдружились, но друг друга поняли, можно сказать. В день, когда столкнулись, просидел у него часа три.

Бутылка вина быстро «улетела», но у Володьки «было». Нагрузившись, расхрабрился, глаз сощурил:

— И часто ты у нас бывал?

— Первый раз.

— Рассказывай... А где тогда...

Осекся: то ли сообразил «где», то ли слишком уж откровенно прозвучало.

— Куда Ольга пошла работать, если не секрет?

Из Алены ведь слова не вытащишь: «Если надо, сама тебе скажет». Интересно, как она скажет, если ее след простыл?

— Алена... зараза... — это Володька: похоже, сообразил «где».

— А ты не знал?

— Я думал, у тебя есть возможность гостей принимать...

— Вообще-то я женат, и даже двое пацанов имеются.

— Ах вот оно что!

— Судя по всему, тут никто никому ничего не сообщает.

— Да... Нетипичные у нас женщины... Вернее, у тебя.

Надулся вмиг, смотрит в окно. Пацан его прибежал — полез в холодильник. Один в один как на фотографии. Правда, больше года прошло с тех пор, как Олька ее показывала.

— Не хочешь говорить, где жена работает?

— Да почему, — проследил взглядом за пацаном, что-то сунувшим за щеку и ретировавшимся. — В «Гринпис» она ушла.

— Куда??

Олька увольнялась с таким видом, будто ее в советники президента пригласили.

— Слушай, Володь, ну там же не платят.

И тут Володька завелся.

— Вот-вот. А знаешь, что она мне на это отвечает? Что я зациклен на деньгах. А то, что ребенок растет, что кредит не выплачен, ей на это чихать. У нее же глобальные цели.

— Глобальные?

— Ну ты ж знаешь ее теорию — про Жизнь с большой буквы...

— А, да. Что-то слышал — Алена говорила. Только ничего не понял.

— Ну и ду... — Володька запнулся, но довел дело до конца. — ...дурак!

— Чего это я дурак вдруг? — смешно; ведь мог и поосновательней приложить, однако — вот оно, воспитание.

— Она ж тебя Мессией воображала...

И почему-то именно здесь что-то «щелкнуло»: начали ржать, как потерпевшие. Заражались хохотом друг от друга, Володька лупил кулаком по столу, повторял:

— Ваше святейшество!

При чем тут «святейшество», было непонятно, но раз уж на то пошло...

— Слушаю, сын мой!

Из комнаты прибежал пацан, серьезно так посмотрел и ушел.

Олька, как выяснилось, дунула на Байкал — там черт-те что творится: кладут трубопровод недалеко от берега, а ведь в тех краях землю потряхивает время от времени: прорвет трубопровод — прощайся с озером... Экологическую экспертизу проекта подтасовали. Пока строят, километрами вытаптывают все живое, сотни видов растений, многие из которых вписаны в Красную книгу. Да и прочие «прелести»: нерпа гибнет, берега мусором завалены — добрые люди лагеря разбивают, чтобы за теплые месяцы успеть убрать весь этот хлам.

— А Олька-то молодец.

Молчание. Потом — крик души:

— А *мне*-то что от этого?

35

Все это происходило прошлым летом — будто сто лет назад. За это время ушла Маша. Вернее, из дома выставила — когда сказал ей, что она ничего не добилась в жизни, зло, правда, сказал. Начинали вместе, вместе в экспедиции ездили, потом она притулилась в своем институтишке, до сих пор там шуршит, как ее с души не воротит, непонятно. Для нее главное — семья, может, это правильно, леший его знает. На самом деле она всегда была несобранной, Машка, и своей драгоценной семьей занималась так, что ничего не успевала — откармливали всегда любов-

ницы. А теперь получилось как бы, что «я жизнь вам посвятила», и обвинять ее в бездарности — подлость. Выставила вещи: глаза красные, жаль ее; но не пожалел — свободой запахло. Машка уже не первый раз этот трюк проделывает, потом унимается. Но на сей раз сам не вернулся.

Как и раньше, поселился у Генки — он один живет, ему только в радость соседство. Красота: возвращаешься домой когда хочешь, никакой отчетности. Сообщил новость Алене — реакции не последовало: совместное проживание не предложила.

И ведь подумать — ну что нашел в ней? Социальный статус — нулевой, про таланты тоже пока ничего неизвестно. Да, открытие сделал — тогда, когда с Володькой закиряли.

Пришел к нему второй раз спустя пять дней: Алена до сих пор к себе не пускала, наверно, даже дверь забаррикадировала.

— Слушай, Володь, а ты не думаешь, что у нее там кто-то есть?

— В смысле?

— Ну старца своего привезла из Паланги...

— А, нет. Она стихи пишет.

— Что, прости?

Не знал бы ничего, если бы Володька не просветил. Оказывается, Алена — поэтесса, и сейчас у нее приступ вдохновения от перемены обстановки и бурных чувств, потому и дверь на замке. Даже Олька ни строчки не видела — скрытничает Алена, чтобы в тридцать лет (через год) разослать стихи по журналам и стать немеркнущей звездой. Вот так любишь человека, доверяешь ему, восхищаешься, а он тебе о самом главном в своей жизни — молчок.

Обида сперва накатила, потом вспомнил Вику, как она говорила — картины... череда фантазий... мечтание длиною в жизнь... Разом отошло. Подумал: вот откуда — внезапно ускользающий взгляд, рассеянность, будто все ей тут чуждо, «ну ладно уже, иди». Такой прилив гордости испытал: талантлива наверняка!

С того времени прошло — сколько? — девять месяцев, так и

не показала ни строки, а ведь просил по-всякому. Один ответ: летом в журналы разошлю, если стихи чего-то стоят, прочтешь напечатанными.

Потом поссорились, из-за Генки. Послушал его, хотя никогда никого не слушал, у самого голова есть. А Генка все бубнил: ну зачем тебе эта молодая, ты же ей до фонаря, семью бросил, она тебя даже не приветила. Другая радовалась бы... И это совпало с началом ее постоянных созвонов с Палангой. Не выдержал, нагрубил. Заодно припомнил, что та самая фотография, с которой и началось все, почему-то была отдана старикашке. Сам не знал, зачем его так назвал. Со злости. Но ведь она даже не подумала, что ему, Николаю, эта фотография тоже дорога. Хмыкнула:

— Это та, которая — акварель Мари Лоренсен?

— Она самая.

— «Старикашка», говоришь...

— Ну, не юнец, ясно.

— Кстати, знаешь, почему Лоренсен с Аполлинером рассталась?

Пожал плечами.

— Потому что Аполлинер был слишком ревнив.

Она так спокойно говорила, невозможно было подумать, что последует *это*.

— Ревновал — значит, любил.

— Ревновал — значит, душил.

Помолчала.

— Ты помнишь, наверно, его самое знаменитое стихотворение — «Мост Мирабо»?

— Мм... Это что-то из Гребенщикова.

— Понятно.

— Ну прости. Я ж технарь.

— Не переживай. Это бездарное стихотворение, из-за которого почему-то все с ума посходили.

Она так спокойно говорила...

— Видишь ли, именно по мосту Мирабо он переходил Сену, когда шел к Мари. Потом она его бросила, и он часами торчал на

этом мосту, на воду смотрел. И в какой-то момент понял, что отношения — они как речная вода. Которую не удержишь. Она проходит мимо тебя, а ты стоишь на мосту и ничего не можешь поделать. *«Под мостом Мирабо движется Сена, с нею любовь...»*. Ну и дальше он всю дорогу ноет, мол, *«Любовь прошла, как вода речная, любовь прошла, только жизнь длинна и жестока Надежда шальная»*. И знаешь что? Там после каждого четверостишия такой рефрен: *«Слетает ночь, и с нею — грусть, уходят дни, я остаюсь»*. Все, что угодно пройдет, но ты останешься с самим собой, будешь пережевывать свои ощущения и сетовать, что в длинной жизни больше нечем заняться.

— Это ты про меня? Мне нечем заняться? Алена, не смеши.

— Я про отношения, которые не удержишь.

— Ты хочешь сказать...

— Я не хочу. Я уже сказала.

Из-за чего она взъелась? Из-за «старикашки»? Или ей показалось, что свободу у нее отбирают? Не привыкла жить в семье, не привыкла считаться с другими... Ушел.

Ну а потом — все по Аполлинеру: нытье (Генке), надежды, а еще гордость. Пускай сама позвонит.

И все как с цепи сорвались — жалеть бросились. Оказалось, все, буквально все знали, что это ничем не кончится, «возвращайся к Маше, не дури». Это потрясающе: лезут со своим видением счастья, и, если твоя жизнь в их понятия не укладывается, значит, ты «лузер».

Ты успешен, относительно молод, у тебя жена и двое пацанов, значит, автоматически счастлив.

Ты уходишь из семьи, живешь у друга, добиваешься внимания особы, которая сидит дома с ребенком, — ты идиот.

А то, что в первой позиции ты все время что-то искал, а во второй — нашел, никого не интересует. По тебе плач, как по безвременно ушедшему.

Где-то с месяц ждал звонка. Думал: не позвонит — ну что ж... Любить не заставишь. А вот если позвонит — значит, нужен. Значит, не зря все.

И в начале апреля она позвонила.

36

Кэтрин жила в старом доме, чем-то похожем на тот, из которого одним зимним днем Нина увезла маленькую Алену, — серая лестница со стертыми ступенями, запах старого каменного тела. Лифт поднимался, дребезжал. Проплывали этажи. Потом остановился, дернулся, затих. Выскочила из него: ей-богу, такое чувство, что сейчас сорвется.

Вжала кнопку звонка. Окна на лестничной клетке большие, до потолка почти, тусклые. Сквозь осевшую пыль пытается просочиться апрельское солнце.

— Здравствуйте, Алена.

Переступила порог: будто шагнула к кенгуру в карман — пол плюшевый, из светлого ковролина; кремовые стены, мебели никакой. Бросилась разуваться.

— Не боитесь, что натопчут?

— Да это же не я его клала, — мягко перебила Кэтрин. — Квартиру сдала и уехала. А жильцы уже делали что хотели. Я сама ахнула, когда вошла — мы две недели назад вернулись.

— Из Антарктиды?..

— Не верите? Фотографии покажу. Если бы вы видели эту халупу до моего отъезда — ее полгода до ума доводили...

И Кэтрин повела Алену по покоям: «Это гостиная, это комната брата была, вот тут — моя».

— А почему мебели почти нет?

— Ой, у нас такая была... Жильцы ее выбросили.

— И личные вещи тоже?

— Нет, ну почему. Антресоли все забиты. Брат кое-что забрал. Пойдемте кофе пить. Дэвид пошел по Москве побродить, скоро придет.

— Ваш муж?

Кэтрин отвела глаза:

— Ну... пока еще нет... Но...

— Понятно, — улыбнулась Алена. — А он по-русски говорит?

— Куда там, — Кэтрин безнадежно махнула рукой. — Сколько раз предлагала ему учиться...

— Американец?

— Австралиец. Сейчас сварю вам просто восхитительный кофе.

— Здорово...

С Кэтрин было не то чтобы легко, но — просто. На вопросы она отвечала с охотой; приятно перебрасываться пинг-понговым мячиком фраз.

— А у вас тоже есть какие-то нездешние корни...

— У меня? — удивление Кэтрин быстро растаяло. — А, вы про имя. Отцу так захотелось. Знаете, Алена, когда я родилась? Сразу после ледникового периода. А мамонтам запрещалось иметь контакты с иностранцами.

— Я-асно... — Алене вдруг стало радостно. Как замечательно все-таки выбираться куда-то, не киснуть дома. Давно пошла бы работать, если бы не Юлькины проблемы со здоровьем. Одно время Николай вытаскивал в люди, ну где ж он теперь. Гордый, не появляется. Какая мягкая квартира... Только запах немного странный. Ну, старый дом.

— Кэтрин?

— Да-а? — пропела, как сытая кошка. Она возилась на кухне, звенела чашками.

— Кэтрин, кстати... об Австралии. Знаете, что мне первым пришло в голову, когда я сюда зашла?

— Не-ет...

— Что похоже на карман кенгуру.

— Да вы поэт, Алена...

Радостно, радостно... Непонятно почему все-таки.

В ванной — в конце коридора — шум льющейся воды. Или показалось?

— Кстати, про кенгуру. Вычитала в Интернете...

— Расска-азывайте-расска-азывайте...

Наверно, от этого кошачьего мурра и радостно... Все хорошо, только запах... не очень.

— Скачет кенгуру по прерии. Останавливается, чешет живот, скачет дальше. Потом опять. И снова останавливается, чешет.

Вытаскивает из кармана кенгуренка: «Сколько раз тебе говорила — не ешь печеньки в постели!»

Кэтрин смеется — будто мурлычет.

— А можно вас звать Кэт?

— Зовите... Но тогда уж на «ты» давайте.

— Да? Но...

— Что, такая я древняя? Вот в английском — красота: «you» — а что за ним, сам выбираешь.

— А мы разве не выбираем?

— Нам общество навязывает. А мне эти общественные установки уже не интересны. Они для тех, кому иерархия по душе.

Все-таки странный запах в квартире.

— Но уважение...

— Оно не в словах. Верно?

Из кухни плеснула волна вареного кофе: густая, горьковатая; так и видишь коричневое зернышко с ложбинкой.

— Да.

Прошла по коридору к входной двери: там висела небольшая акварель — в рамочке, под стеклом. Весенний пейзаж: снег уже сошел, зелень пробивается. И еще — идет дождь. Нет, не хлипкий дождичек на дрожащих ножках, а — как из ведра. Такие косые потоки, гонимые ветром. Стояла, смотрела — в этой картине что-то было, вернее, что-то было за ней, будто присутствие какое-то. И столько воды... Протянула руку, тронула пальцем: нет, не влажная.

— Кэт, а что за акварель в коридоре? Жильцы повесили или твоя?

Кэтрин появилась с подносом:

— Готово. Пошли в гостиную. Нет, моя она. Так им понравилась, что оставили ее. Может, это было единственным, чего они не тронули.

Кэтрин расставляла чашки на столе: явно старинный сервиз. Рисунок — цветы с вывороченными лепестками, а ручка позолоченная и снизу у нее еще такой хвостик загнутый. Лепота.

Тишина. Звяканье расставляемых чашек, шелест воды.

— Опять, что ли, дождь пошел? Вроде кончился недавно, даже солнышко выглянуло.

Кэтрин улыбнулась.

— Нет, это Эрни под душем прохлаждается. Наверно, дверь в ванную открылась. Я сейчас.

Тот самый, капризный и вредный мальчишка, из-за которого не пришлось брать с собой Юльку. Сколько ему лет? Забыла.

Шум воды прекратился, Кэтрин что-то ласково приговаривала, вернулась быстро.

— Мы ведь квартиру продаем. Жильцы все свое забрали, оставили только самую малость — матрас, стол этот, стулья. И кофеварку. А посуду я с антресолей достала — между прочим, с риском для жизни!

Кэтрин говорила — Алена уже не слушала. Она оторопело смотрела туда, где гостиная переходила в коридор: створки дверей были распахнуты. На пороге с деловым видом стоял здоровенный пингвин в клетчатых тапках. Один в один каким его изображают в книжках для детей.

Кэтрин проследила за Алениным взглядом, усмехнулась:

— Познакомься. Это Эрни.

37

Известное дело: некоторые полярники тащат из экспедиций пингвинов. Экзотика; частичка *той* жизни. Потом иные бегут в зоопарк — в надежде сплавить птичку. Потому что птичка тоннами жрет мороженую рыбу (вот откуда запах!), гадит и совершенно не переносит жару. Поэтому дома постоянно включен кондиционер, а как хочется тепла...

— Мы кондишн не стали покупать: все равно жить здесь не будем. И как назло, эти обалдевшие жильцы выкинули нашу добрую чугунную ванну, поставили душевую кабину. Поскольку мы договаривались, что ремонт вычитается из платы за аренду, они резвились по полной. А я-то далеко уже была...

— Что же брат не проконтролировал?

Кэтрин махнула рукой:

— Алена, от него меньше толку, чем от козла.

Пингвин деловито прошел в комнату, встал рядом с Кэтрин: смотрит, что на столе лежит.

— Так вот, один наш знакомый, полярник, рассказывал, что у него ванна постоянно наполнена холодной водой и пингвин беды не знает. А Эрни приходится под душем стоять.

— Ледяным, — фыркнула Алена. — А можно его погладить?

Понятно, что если каждый лапы будет тянуть, от перьев ничего не останется. Или дело в том, что Эрни не просто пинґвин, а пингвин с характером.

— Не дается...

— А ты бы далась кому ни попадя?

Странно стоять рядом с этим — почти инопланетным — существом. Упитанный такой. Лоснится. Перышки — один к одному, как чешуя. Знаменитый «фрак»: рукава-крылья кажутся и вправду чешуйчатыми (снизу белые! — извини, Эрни, я только посмотреть), на молочную «рубашку», там, где «ворот», пролито желтое, такое же желтое — за ушами, будто память о солнышке, она ох как согревает полярной ночью... или это такой «шейный платок», в дополнение к костюмчику?

— Кэт, а он еще вырастет?

— Куда ему... И так — вчера измерялись — девяносто два сантиметра. Хотя бывают и по метр двадцать.

— Вот это да... Кис-кис-кис... Иди сюда... Не хочет. А почему он в тапках ходит?

— Привык.

Пингвин привык носить тапочки на Южном полюсе. Ничего удивительного. А когда пингвины прыгают в полынью (или что там?), то обувку на льду оставляют. Картина маслом: величественные ледяные горы, снега — куда хватит глаз, полоска воды и вдоль нее, в три ряда, пестрая шеренга тапок.

— Да нет, это на станции ему выдали. Чтобы лапу не поранил. Мало ли что на полу валяется. А теперь не отучишь. Да и не надо: у Дэйва полы не застелены.

— Уедешь в Австралию?

— Кенгурят «печеньками» кормить...

К кофе Кэт подала шоколадные конфеты и сухари с изюмом. С сухарем она проделывала фокус: быстро обмакивала в кофе, а потом откусывала сырое мест́о, но не передними зубами, а коренными. Смешная... Ей было, наверно, под полтинник, но выглядела она здорово — даже теплый свитер грубой вязки с высоким воротом (оттуда!) не мог скрыть, какая она изящная, ни капли жира. Такая... дикая кошка.

— Алена, я жуткая эгоистка. Даже не спросила, чем ты занимаешься.

Повела плечом:

— Стихи пишу.

— Правда? Можно будет почитать?

Непонятно, как оно вырвалось:

— Да.

38

Вспомнили об Ольге. Рассказ вкратце: малыш растет, серьезный такой; ушла из глянцевого мужского журнала, подалась в «Гринпис»; сейчас носится, планету спасает, она так долго искала... этот свой «смысл».

— Да? — Кэт разливала по второй чашке кофе, остановилась. — Она казалась мне вполне обыкновенной, Оля.

— Просто она тогда еще не нашла себя. Это же обыкновенно — себя не найти. Вот и была как многие.

По коридору важно протопал Эрни: в сторону ванной. Кэт поднялась:

— Сварился, бедненький, вон как дышит. Пойду душ ему включу.

Алена слышала, как Кэтрин приговаривала: «Не съем я твои тапки... Нельзя в них под воду, Эрни. Дай лапу...» Удивительно, как Олька умудрилась изменить свою жизнь. И все благодаря мальчику-кайтеру, у которого она двух слов для статьи не могла вытянуть. Ведь это он ее в «Гринпис» привел. А встретила она его благодаря Николаю. А вот кто Николаю ее телефон дал, история

умалчивает. Но именно этому кому-то Олька и должна «спасибо» сказать.

— Так где она сейчас?

Кэт вернулась, вытирая руки махровым полотенцем.

— В Мончегорске. Это на Кольском полуострове.

— С кем воюет?

— Не «с кем» — «с чем»... С ветром. Там огромное озеро — до мая подо льдом, — у подножия Хибин. У нее друг участвует в соревнованиях по кайтингу, ну и она с ним поехала — тоже уже неплохо с парусом управляется. Я не видела, но ее муж говорит...

— Она все с тем же?

— Ну как бы да.

— Бывает «да» или «нет». А «как бы» выдумали подростки, потому что сами еще не знают, чего хотят. А что, кайтер больше чем друг?

— Сложно там все. У нее все всегда сложно.

— Неужели? Я помню ее счастливой мамашей, — Кэт обмакнула в кофе сухарь.

— Думаю, она никогда ею вполне не была. Но я мало о ней сейчас знаю — почти не видимся.

— Некогда?

— Нет. Просто... — Алена себя не узнавала: вот так, легко и откровенно она только с Иосифом могла говорить. — Просто Олька думает, что мы мужика не поделили. А это не так.

Кэтрин улыбнулась:

— Ты сейчас с ним?

— Нет. Месяц назад за дверь выставила.

— Жалеешь?

— Не знаю... Но мне стало его не хватать.

39

И рассказала, сбиваясь, ничего не пряча: сильный и умный, любит, семью даже оставил — тут Кэт подняла бровь, — но женщину в женщине ценить не умеет — ему талант подавай, смелость, «позитив», как он говорит...

— Кэт, я не против этого всего, но ведь нельзя же постоянно ходить в доспехах, силу демонстрировать. Я так долго не могла позволить себе быть слабой — в детстве, и потом тоже...

— Как и я.

— Вот видишь... И теперь хочется быть просто...

— Женщиной. Только он этими «просто женщинами» сыт по горло, да?

Алена кивнула.

— Я одного такого типа знала... И что, не звонит он тебе?

— Нет. Гордость демонстрирует.

Алена задумалась.

— Знаешь, Кэт, даже не это меня останавливает. Ну, сильный человек хочет, чтобы рядом был такой же, не мямля. Не страшно. Но он... как тебе сказать... будто бы он живет только в реальности, понимаешь? Будто он не мечтает, а планирует. Ему прочти стихи — не услышит. Покажи картину — не увидит. Будет на рамку смотреть и — как сделано. Вот эта твоя акварель в коридоре, да? Я еще не знаю, что в ней, ведь нет ничего, за что можно зацепиться — ни одного живого существа, ничьих глаз, лиц, ничего. Просто земля оживающая и потоки воды, «хляби небесные». Но это... будто настроение. Будто глоток воды. Ее хочется выпить, эту акварель. А он бы не понял.

Кэтрин молчала, смотрела перед собой.

— Для меня когда-то она много значила... Я даже хотела взять ее с собой в Антарктиду. Но и так половину барахла пришлось оставить. И потом я очень боялась, что они ее выкинут, жильцы. И еще... еще я мечтала там именно о таком дожде, проливном, уже не холодном, но еще не теплом... Стоять под ним и мокнуть до нитки, чтобы рубашка пристала к телу, знаешь, как в кино. Почему-то я себе именно это и воображала: белая рубашка, длинные мокрые волосы. И чтобы это было как на картине — где-нибудь... в поле. И чтобы Дэйв рядом был.

— И Эрни, — улыбнулась Алена.

— Да... Ой, пойду погляжу, что там птюч делает.

Кэт упорхнула, Алена встала, прошла в коридор, остановилась у акварели.

40

— Кэт?

— Угу.

— А как она называется?

— Не знаю. Мне ее «так» подарили — без предисловий и послесловий. И что смешно — я в то время просто ненавидела дождь, это Антарктида научила меня его любить...

— А тот, кто дарил...

Кэтрин подошла, встала рядом.

— Он понятия не имел о моем «таракане». Думаю, ему эта акварелька недешево стоила, ты же видишь, как она сделана — будто живое все.

— Живое? Нет... Живое — когда каждую веточку тронуть хочется и листочки кажутся клейкими. А здесь до реализма далеко. Такая... изящная выдумка.

— Да нет, это из-за ливня контуры нечеткие.

— Кэт, ты рассуждаешь в точности как мой... бывший. Это мечтание, Кэт. Ненастоящая правда. Фантазия.

— Ну тебе, поэту, виднее, — сдалась Кэтрин. — Эрни, а ты что думаешь?

Пингвин с глубокомысленным видом стоял возле, влажный такой весь. Алена опустилась на корточки:

— Ух, какой у тебя клюв...

Загнутый на конце, с двумя оранжевыми полосками по бокам. Придумает же природа...

Протянутую руку Эрни попытался клюнуть, затем подскочил к Кэтрин и прижался к ноге.

— Он больно не клюется. Так, для острастки.

Алена поднялась:

— Я хотела расспросить тебя про Антарктиду...

Но Кэтрин не услышала. Она смотрела на Эрни, молчала.

— Знаешь, Алена, почему я собиралась взять эту акварель с собой, на станцию?

Кэтрин разом — не то чтобы постарела, но — как-то выцвела.

— Когда-то, давно... Это ведь такая давняя история — я по-

знакомилась с человеком, которому — ведь сразу это знала! — в подметки не годилась. Не потому, что он умнее был, или добрее, или успешнее, нет. Это была какая-то другая форма жизни, понимаешь? И у нас случился недолгий роман. Я пыталась как-то удержать эти отношения... быстро поняла, что ничем не кончатся, но надеялась на что-то. Ты говоришь, этот твой... друг из семьи ушел, а вот тот, он никогда ничего подобного не сделал бы. Есть такая порода мужчин — гуляет, но всегда домой возвращается. Как Эрни.

Кэтрин присела рядом с пингвином, обняла его. Эрни не сопротивлялся.

— Я его совсем маленьким забрала себе. Уходил рыбки половить — станция недалеко от берега, — но всегда прибегал назад.

— И тот человек на прощание тебе эту акварель подарил?

— Скажешь, «на прощание»... Как отступного дал. Будто за деньги, на которые купил ее, приобрел свободу от меня. А я потом столько лет не могла от него освободиться... Да бог с ним. Пойдем покажу фотографии — у меня их сотни. Хотела дождаться Дэйва, ну да ладно.

— Мобильный-то у него есть? Позвони...

— Во-первых, нет. Мы ведь всюду вместе, это я из-за тебя дома осталась. А во-вторых, — Кэтрин грустно улыбнулась, — я уже больше никого не преследую. Пусть чувствует себя свободным.

41

Снег! Белила, пролитые на Землю нерадивым художником: помешивал, добавляя по чуть-чуть синевы, столкнул нечаянно локтем гигантскую банку... Или нет — просто выстирали с синькой исполинское покрывало, укрыли планете ноги. В черной воде — осколок высотой с бутовскую высотку: как край накрахмаленного воротничка. Глубокое небо: синее, золотое, фиолетовое... Величественные картины — воздуха будто нет, он слишком прозрачен...

— Есть воздух, и еще какой! Я там курить бросила — рука не поднималась сигаретой затянуться.

Ледники — голубые, скользкие, как детские горки. Все такое бесконечное... Сознание отторгает, ищет знакомое, сравнивает с привычными картинками бытия.

— Пингвины!

— Это Эрнины дальние родственники, пингвины Адели.

— Кто такая Адель?

— Жена французского исследователя, открывшего землю, на которой они гнездились. Назвал в ее честь — и землю, и клювастых.

— А как звали исследователя?

— Дюмон-Дюрвиль.

— Не слышала...

— Французская станция его имя носит. — Кэтрин нетерпеливо дернула «мышку»: курсор все время укатывался на край экрана. — Это в санно-гусеничном походе, правда, не я снимала... Видишь — белым-бело вокруг. Заснуть легко: едешь — как на месте стоишь... А заснешь — погибнешь. — Щелкнула «мышка». — Это наши ребята...

— Ты туда переводчиком поехала?

Кэтрин хмыкнула:

— Кому переводить? Пингвинам? Нет... меня поварихой взяли.

— Кэт, но...

Кэтрин оторвалась от экрана ноутбука, посмотрела задумчиво:

— Ты ничего не понимаешь... Ничего.

42

Все началось с обыкновенного фильма. Не обыкновенного, конечно, нет. Вернее, так: может, для кого-то и обыкновенного.

Ну когда последний раз Кэтрин в кино ходила?

Да что она там не видела...

Просто домой возвращаться сил не было — любоваться на братца. Еле пристроила его на работу — удрал, опять дома тор-

чит. Ежей своих в гостиной перекладывает с места на место: раньше там папа жил, теперь нет папы, уже год как.

Вечером Марина должна прийти — английским заниматься. Ее недавно в «Жлобус» взяли, обложки рисует. Не москвичка, одиноко ей, наверно, — «Кэтрин, можно у вас уроки брать?» Согласилась, за символическую плату — ну что девчонка своими картинками зарабатывает? Все ж веселее, когда она приходит.

Стояла жара, самое начало июня.

На афише — снега, исполинский пингвин склонился над одетым в пух пингвиненком. Поперек синего неба — надпись: «Красивейшая из историй». Ну это они загнули — кто дал им право на такие слоганы?

Но пошла. В конце концов, может она себя в кино пригласить?

43

Ревела — жалея этих проклятых богом птиц, призванных в адском холоде, голодом снедаемых, прямо на льду — нет, не высиживать, — выстаивать месяцами одно-единственное яйцо: урони на лед с окоченевших лап — все, прахом пошли адовы муки.

Ревела — жалея себя.

Проклинала — эту жизнь, где нет места покою и радости.

Пыль, что летела на улице в лицо, когда она с опухшими от слез глазами вышла из кинотеатра, — ненавидела.

Работу свою, идиотских ежей, магазины. Музыку на двух аккордах, плеснувшую из палатки в подземном переходе. Безучастные лица в вагоне. Запах в подъезде. Щелканье открываемого замка.

Ненавидела все.

Брат никогда не выползет встретить, сумки с продуктами принять из рук.

И еще — эта квартира, логово, в котором живет мука. Мука не во имя чего — не ради жизни, в единственном яйце теплящейся. Просто страдание — долгое, бесцветное.

Увидеть бы тех несчастных отважных пернатых — хоть лапу пожать. Каждому пожать лапу. Пусть вечность на это уйдет — ей спешить абсолютно некуда.

44

В Российскую Антарктическую Экспедицию набирали метеорологов, радиоинженеров, врачей, механиков — в списке присутствовало полтора десятка профессий, и переводчиками не пахло. Но последняя строка пробуждала робкие надежды: «Повар: 6 человек».

Подать заявление успела; отбор проходил в начале осени.

— Вы же переводчик.

— Я работала поваром!

Шелест страниц трудовой книжки.

— Это когда было...

— Прошу вас! Я прошу вас...

Все еще в «Глобусе» тянула лямку. Пообещала Васильичу с переводом в срок уложиться — и укатила в Питер. Поселилась у старой знакомой: с утреца топала в Институт Арктики и Антарктики, воевала с вахтершей. Прорывалась внутрь: бродила по долгим коридорам, скреблась в кабинеты, вербовала покровителя. Надоела там всем до чертиков, до каления белого.

— Мы женщин предпочитаем не брать...

— Но я узнавала: на американских станциях зимуют женщины! И на австралийских...

Не взяли бы, нет. Запись в трудовой книжке допотопная. К тому же — тетка. Но чудо случилось.

Понятно: не чудо; она повесилась бы просто, если пришлось бы вернуться домой. И там, где чудеса для человеков творят, это знали.

Повар, отправлявшийся на станцию «Беллинсгаузен», прямо перед отъездом в Антарктиду вывихнул руку. Да так, что уже речи не шло об его отправке — а считаные дни оставались до отлета.

Медкомиссию прошла. Чего ж не пройти.

45

Понятно, братца Петю не оставишь вот так.

Больше полугода утекло от подачи заявления до того, как дали согласие — скрепя сердце и прочие органы. Было время подготовиться... сплавить сокровище в добрые руки.

Листала старинную записную книжку: страницы затерты, засалены, иные номера расплылись, раздулись — да и чьи они, уже не разберешь. Но Наташин телефон время пощадило.

Пятнадцать лет назад Наташу избегала, а та цеплялась, как репей в волосы, лезла в подружки, в «близкие души». Полагала, что проблемы с личной жизнью — лучший повод к сближению.

Кикимористая Наташа, обиженная на мужиков с колыбели, переводчица с итальянского.

За полтора десятка лет — хоть бы что у нее изменилось, ну хоть бы что. «Аллоо!!!» — орет в трубку, как малахольная. Не переехала, такие не переезжают.

— Это Кэтрин!!! — манера орать заразительна.

Наташа прискакала немедля.

Редкая помесь Шапокляк и Бабы-Яги; ныне еще ягее и шапоклячее. Все в девицах сидит (кто бы сомневался).

— Наташа, тебе сколько лет?

— А на сколько выгляжу?!

— На все сто!

— Спасибо!!!

Приняла за комплимент. На все сто лет, имелось в виду. Почему она постоянно орет?

— Наташа, я вот никак Петю, брата, не могу пристроить. Под сорок уже, а такое дите... Ему нужна женщина, жена, хозяйка. Знаешь что? Я думаю, он еще девственник.

Глаза у Наташи загорелись и погасли.

— Если хочешь знать, ты ему еще тогда нравилась...

Глядит недоверчиво.

— Ты мне ничего не говорила!!!

— Я боялась травмировать мальчика. Ты была взрослой состоявшейся женщиной.

— Разница в возрасте не имеет значения!!!

— Сейчас я его позову.

Вышла из комнаты.

— Петя, можешь сделать мне одолжение? Я тебе дам деньги. Сходи с Наташей в кино — прямо сейчас возьми и пригласи, на вечерний сеанс. Потом позови домой — меня не будет, я котлеты с овощами на плите оставлю, поешьте. Понял?

— Мне Наташа не очень.

— Прекрати капризничать. Она удивительный человек. Я тебе ежа куплю. Через пять минут зайди к нам и пригласи. Вот деньги. Все.

Королева интриги Кэтрин.

Вернулась в комнату.

— Наташка, влюблен.

— Правда?!!

— Очень стесняется, очень. Но хочет пригласить в кино. Меня вечером не будет, еда есть, не тратьтесь, приходите домой. Иначе — ты же знаешь, до чего мужики беспомощны, — не прикоснется ни к чему. Надо разогреть и положить на тарелку. Я на тебя рассчитываю.

— А он правда девственник?

— Дорогуша, откуда я знаю, но надо быть понастойчивей. К тому же он отличный парень. Просто в руки его взять некому.

Наташа забрала Петю в начале осени.

46

— Ты ничего не понимаешь... Ничего.

И Кэт начала рассказывать, будто сама с собой разговаривала:

— Я в себе не сразу это сломала — гонор. Десять раз на дню повторяла: приехала кашу варить — вари. И нечего тут строить из себя специалистку по Голдингу и Бротигану. Да и сдались они мне... Радости от них — ноль.

— Ты столько книг перевела...

Кэтрин улыбалась.

— Да не стоят они десятой доли того, что я нашла в Антарктиде.

— И что же ты там нашла? Подожди... Дай угадаю. Любовь? Или нет... Свободу?

Кэтрин продолжала улыбаться.

— Ну что ты... Свобода — понятие иллюзорное, а в Антарктиде о ней и думать забудь. Ты в плену. Более того, на тебя идет охота... Зазевался — мигом со льдом сровняет. Нет... не о том ты. Старая клюшка Кэтрин нашла там... Не маши руками, я знаю, что я старая клюшка. Только мне на это плевать. Я нашла там «то, что нельзя потерять».

47

— У Хемингуэя есть такой рассказ: «В чужой стране». Герой теряет молодую жену, она умирает от воспаления легких. В скобках замечу — у папы Хема то и дело кто-то умирает, для него это признак «настоящести» истории. И вот герой этот, раздавленный горем, говорит: раз уж человеку на роду написано лишаться всего, ему надо найти то, что нельзя потерять.

Алена слушала, поглядывала на экран ноутбука. Там застыла фотография: пятеро мужчин в теплых куртках, с поднятыми капюшонами, выстроились в ряд на фоне чудовищных размеров сугроба. Ослепительное солнце.

Кэтрин поймала взгляд и сразу упустила «нить».

— Намело... Такой ураган был. Вот ты сейчас видела уже десятка три фотографий, и всюду солнце. Наверно, думаешь, в Антарктиде курорт, только прохладно. Черта лысого. Такой погоды — считаные часы. А вот когда при температуре минус двадцать тебе в лицо летят десятки килограммов ледяной пудры на скорости сто километров в час — это обычное дело. Глаз не открыть. А ты по авралу свой квадрат обыскиваешь — ищешь заплутавшего. Правда, повар от авралов был освобожден...

— Как женщина? К тому же единственная?

— Да... Незабываемые ощущения. — Кэт расплылась в улыбке. — Но освобождена была, скорее, как единственный повар, дюжину человек откармливающий. Вот это — морские котики...

— Ух ты, столбик с расстояниями до городов... Далеко ты забралась.

— А это церковь деревянную выстроили недалеко от станции.

— Кэт? Ты так и не сказала — что ж ты там нашла такое «нетерябельное»?

Кэтрин ответила не сразу.

— Знаешь, Алена, я на самом деле очень волнуюсь. Я это никому не говорила — раз. Два — трудно сформулировать. Давай так: покажу тебе сперва фотографии, оно само придет.

И пошли мелькать странные, невиданные картины. Алена смотрела — проваливалась в какой-то иной, совершенно немыслимый мир. Неужели Кэтрин — это все — своими глазами?

— Ночное небо над станцией.

Звезды — белые, зеленые, красные. Мириады звезд. Зачерпни рукой — сияющая горка образуется в ладони.

— Почему — так?

— Воздух прозрачный. Я первый раз подумала — огни судов...

Солнце, по-воровски крадущееся низко над горизонтом, кидающее неопрятный желтый отблеск на снежную равнину.

— На «Беллинсгаузене» не бывает полной полярной ночи. Станция ведь на острове, не в глубине континента. И ее, между прочим, — Кэт подняла вверх палец, — посетила в свое время вдова Хемингуэя.

Синь небесная — такая, что в нее упасть хочется, распахнув руки.

— Это повезло. Небо обычно затянуто...

Огромный камень, изрытый, будто оспой переболевший. Глубокие выбоины рисуют узор — как древнерусской вязью написано.

— Ветер поработал...

Потом опять пошли — лица.

— А где Дэвид? Я даже не спросила, он что, с вами зимовал?

— Да, — Кэтрин листала фотографии. — Он биолог, по об-

мену приехал. Рыб изучал, опыты ставил... Кстати, это благодаря ему Эрни так разъелся. Дэйв ловил для него ледянку в неимоверных количествах. И вот результат. Эрни! Ты где?

— Тляк! Тляк!

Кэтрин пощелкала «мышкой»:

— Эрни, смотри, узнаешь папу?

Дэйв: высокий человек в красной куртке и джинсах на фоне залива. Широкие темные очки — чтобы не ослепнуть от снега без грязи и, может быть, даже жизни без вранья.

— Если бы ты знала, как его родственники отговаривали: «Заснешь в снегу, замерзнешь!»

Алена улыбнулась:

— *«Кто не верил в дурные пророчества,*

В снег не лег ни на миг отдохнуть...»

Кэтрин подхватила:

— *«Тем наградою за одиночество*

Должен встретиться кто-нибудь».

Ну, это она не о себе. У Кэт наверняка с личной жизнью все в порядке всегда было.

Кэтрин хитро прищурилась:

— Знала бы ты, Алена, как на меня Дэвид поначалу смотрел! — Кэтрин задрала подбородок, изображая важничанье. — Мол, он — «наука», а я «обслуга». «Миссис Кастрюля». Потом оказалось, что на станции он только с «Кастрюлей» может свободно по-английски разговаривать. За зимовку наговорились.

— Судя по всему, пока еще нет...

— А кое-кто, — Кэтрин распирало от гордости, — даже ревновал!

Оказалось, Дэвид появился только на второй год пребывания Кэтрин на станции. И они как пить дать разминулись бы, если бы опять чудо не случилось...

— Зимовать два года подряд запрещено: считается, крыша может съехать. Вот англичане заключают контракты по два с половиной года, а у наших, видите ли, крыша без тормозов. Я умоляла начальника станции оставить меня, угрожала, что пойду и

назло всем замерзну, потому что не желаю возвращаться, и все. Никто меня не ждет! Но решал-то не он, а Питер. И в Питере сказали «нет». Повара на смену привезли на последнем корабле, который должен был меня забрать. Показываю ему поварешкины владения, а сердце в комочек сжато. К тому времени Дэйв уже приехал, но мы еще не общались. А повар — новичок в Антарктиде. И такой хлипкий немножко. Вышли с ним на улицу — хотела ему теплый склад продуктов показать, — смотрю, поземка побежала. Та-а-ак, думаю, интересно. Спрашиваю наших ребят: быть урагану? Быть! И тут я начинаю расписывать кашевару ужасы проживания. Холод, голод, дикие звери, да и коллективчик непростой каждый раз подбирается. А ветер тем временем крепчает. «Тут как в тюрьме, — заключаю я. — Только тюрьма эта добровольная». Скис парень, говорит: «У меня дома жена беременная...» Я с пониманием вздыхаю и продолжаю «страшилки» излагать. Но если серьезно, Антарктида не шутит, и люди гибнут не понарошку. Да, еще сурово так его спросила: «Хлеб выпекать умеешь?» — кивает, но не очень уверенно. А ведь там булочной нет, повару самому с дрожжами воевать приходится. Потом такой ураган поднялся... Будто Антарктида за меня заступается. Согласовали с Питером — уплыл парнишка тем же кораблем, нафоткавшись вдоволь. Но до того природа три дня бушевала, и кашевар мой с утра до вечера драил сковородки, все равно делать ему нечего было. Я его к плите так и не подпустила.

— Кэт, ты интриганка!

— Еще какая... Так ты спрашивала, что я там нашла?

48

Кэт гладила Эрни. Птюч стоял неподвижно, черным глазом без зрачка смотрел — не поймешь куда.

— Знаешь, откуда слово «пингвин» пошло? «Pin» — шпилька и «wing» — крыло. Шпилькокрыл. — Кэтрин помолчала. — Когда я только приехала, меня поразила тишина. Такая полная, будто ее можно тронуть пальцем, и она вокруг, всюду... Сердце свое слышишь. И — воздух. И — ощущение новой жизни. Еще

было восхищение — не восхищение даже, а — да — потрясение. Я не могла оформить это в слова: внезапно понимаешь, как мир огромен, как он великолепен. Смотришь на махину айсберга — и от этого величия дыхание срывается. А там, откуда меня принесло, — пыль, грязь, насилие, борьба за выживание. И ты уже начинаешь нащупывать что-то в себе, но еще не знаешь, что это. А это ты, подлинный. Ты, спокойный. Ты, гордый. И потом все время приходило что-то. Уверенность какая-то появилась, вроде даже осанка. Если у кого-то на станции и были депрессии, то у меня — нет. Вот знаешь, что такое «белая мгла»? Это когда тени исчезают и уже не соображаешь, где снег, а где небо. И расстояний не чувствуешь. Спичку, воткнутую в ближайший сугроб, принимаешь за далекий телеграфный столб. Даже чувство времени куда-то девается. И уже не знаешь, на каком ты свете и сколько ты так протянешь... Или ураган... Я тебе говорила — глаз не открыть. И вот если ты себя не потерял в этом урагане, в этой мгле, нюни не распустил — все, отношение уже к себе другое.

— Кажется, Шекспир сказал, что из всех низких чувств страх — самое низкое...

Кэт покачала головой:

— Нет, я не храбрая, Алена, что ты. Я никогда не была храброй. И не буду — какое бы зверское лицо ни делала. Но даже дрожа, как лист, можно не терять достоинства. Самой себе не признаться, что дрожишь. И не сдаваться. Банальности я тебе какие-то говорю. Так и знала, что не получится ничего объяснить. Но я ее уже не потеряю — ту Кэтрин, что ты сейчас видишь. И тот величественный мир — он есть, я знаю. Его тоже трудновато потерять...

— Тляк! Тляк!

Эрни сорвался с места и бросился в коридор — за секунду до того, как раздался звонок в дверь.

49

На пороге стоял высокий брюнет: волосы зачесаны назад. Вот непонятно почему, но — видно: иностранец.

— Hi!

Они подходили друг другу — будто даже похожи были, чуть-чуть совсем.

Знакомство; Кэт ускользает на кухню: варить кофе. Время к вечеру, дома малышка, да и что стеснять — Алена посидит еще полчасика и поедет.

— Не останешься ужинать? Уверена? — Голос из кухни.

— Нет, спасибо, Кэт!

Дэйв повторяет:

— Ниэт, спасыба, Кат...

Смех.

Эрни не отходит от «папы». Понятное дело, от него можно жирную рыбешку ожидать. Разве папа не ходил лунку сверлить?

Дэйв говорит по-английски с акцентом — видимо, австралийским: «акает» так, что уши сворачиваются.

— Знаешь, почему Эрни двухцветный? Спиной встречает солнечные лучи — в Антарктиде солнце очень злое — и нагревается. А грудкой свет отражает и охлаждается. Вращаясь, поддерживает нужную температуру.

— Тляк! Тляк!

— Прости, Эрни... Я выпустил кота из сумки...

Ничего не понятно! Какой кот? Какая сумка?..

Кэт (он говорит «Кат», «Катти») заходит в комнату с чашками.

— Понимаешь, что он говорит?

— Из последних сил... — Алена делает страшные глаза: — А что за кот с сумкой?

Кэт хихикает:

— Это у нас игра такая. Дэйв котам покоя не дает,´я же как бы «cat». Выпустить кота из сумки — значит проговориться, секрет чей-то раскрыть. Выражение такое.

— А!

Он немножко болтлив, Дэйв, но это приятно. Рассказывает всякие любопытности. Нормально: наполовину понимаешь, наполовину догадываешься. Развивает воображение.

— Знаешь про Гондвану и Лавразию?

— Ноу.

— О! В очень, очень, очень глубокой древности на Земле существовало только два континента, но гигантских, — Гондвана в Южном полушарии и Лавразия — в Северном. Да-да! Потом они распались на части. — Дэйв сделал движение руками: будто яблоко разломил. — Гондвана породила Австралию, Африку, Южную Америку, Антарктиду. А Лавразия — Северную Америку и Евразию. Они долго двигались, континенты, пока мы получили то, что имеем. Это было очень давно, — даже с какой-то грустью заключил.

Кэт смотрела на него мягко-мягко.

— Алена, а что, если нам съездить за город? Всем вместе? Только машины у нас нет...

— У меня тоже.

— Я хотела показать Дэйву наш дом в деревне...

Помолчали.

— А твой друг? Он наверняка водит...

— Да. Но...

— Если соскучилась, ну что ты комедию ломаешь. Вот тебе вполне достойный повод позвонить.

50

Когда уходила, бросила взгляд на акварель у двери.

— Кэт, я поняла, что меня в ней тревожит. Присутствие. Там никто не изображен, а будто бы есть кто-то. Какая-то жизнь.

— Я же тебе говорила — жизнь. Уж мне-то теперь не знать, где она есть, а где ее...

— Ты не понимаешь. Я не это хотела... Ладно. Забудь. Значит, завтра, в одиннадцать, у вас? Я позвоню, если он не согласится.

— Согласится.

51

В субботу работали. Светка вывела полосы с Пикассо — теперь в каждом номере идет материал о каком-нибудь художнике

& его музах. Пишет девчонка-искусствовед, об искусстве там, правда, ни слова. Но резво пишет, это главное. Зазвонил телефон, и на нем высветилось: «Алена». Все-таки.

Ей понадобилось за город ехать с подругой. «Что за подруга? Не Ольга ли часом?» — «Ты ее не знаешь».

В одиннадцать надо у подруги быть. «Где?» — «На Смоленской». — «Неплохо девушка устроилась».

Значит, в десять — в Бутово; чайку хлебнуть, забросить дите к Володьке — не хочет Алена Юльку с собой брать, — и можно двигать.

Даже не спросил, куда двигать-то.

Какая разница.

Позвонила-таки.

52

Пили чай. Спряталась за пиалой, одни глаза видать. Но глаза улыбаются. Встать, забрать у нее пиалу эту.

Обнять — чтобы косточки тихонько хрустнули. Каждый раз смеялась: ты меня сломаешь. Такую сломаешь, отвечал.

Обнять: запах волос, коротких светлых лохматушек; этот забытый горьковатый запах.

Рано — обнимать. Уже улыбается, но еще дичится.

Такая же дикая, что и поначалу была.

— Куда ехать-то?

— В Тучково.

Раскрыл атлас, пока она собирала Юльку. Да, не ближний свет, ну и ладно.

Спустились на третий этаж, сдали с рук на руки Юльку и Свинтуса — чего ему одному скучать. Пацан Володькин вышел — не улыбается, но вежливый. Такой... профессор. Через полторы недели ему семь стукнет, сказал Володька. Когда Алена уже к лифту пошла, Володька подмигнул и рукой так: но пасаран.

53

Сказала: подожди тут. Пока ждал, развернулся. Неудобно, улочка такая, что еле две машины разъедутся.

Когда-то в этом доме жила Кэтрин — вот совпадение. Психопатка Кэтрин, угрожавшая суицидом. Сейчас, наверно, давно уже... Оп-ля. Кэтрин. Спасибо, Алена. Не ожидал.

Дальше — до смешного. Кэтрин добегает до машины, скрючившись в три погибели — с неба закапало, — бухается на заднее сиденье. Одновременно Алена садится вперед. А дальше — поворачиваешься и говоришь как ни в чем не бывало (не возьмете, девчонки, на пушку!):

— Здравствуй, Кэтрин.

А затем наблюдаешь, как оплывает лицо напротив: края губ опрокидываются, роняют улыбку, глаза подергиваются льдом, один в один лужицы после морозной ночи. Радость стекает, как свежая акварелька под проливным дождем. И ей на смену — негодование. Негодование обращено на Алену.

Значит...

Но у Алены — слишком уравновешенна — только спокойное удивление: «Как, вы знакомы?»

Перевести взгляд на Кэтрин и за секунду сказать ей все — вернее, только одно: молчи. И Кэтрин — не стерва, что есть, то есть — рот на замок, лишь вежливое в ответ:

— Здравствуй, Коля. — И Алене: — Мы когда-то работали вместе.

Алена явно ничего не понимает.

И смех уже пляшет в горле, вот-вот вырвется, какая чушь, какая идиотская чушь. Кэтрин, похоже, тоже сейчас не выдержит. Но внезапно происходит что-то из ряда вон.

А именно — из подъезда выходит приличных размеров пингвин. За ним следует высокий бородач и кричит на безобразном английском: «Нагадил в лифте!» Он о себе или о пингвине?

Да, еще. Пингвин — в шлепанцах.

Подумал: а не сорвало ли башню?

54

Когда за город выехали, дождь усилился. Австралиец, представившийся Дайвом (наверно, он все-таки Дэйв), пошутил: «It's raining cats and cats!» Поправил его: «cats and dogs». Странный народ англичане. Кому из них в голову пришло пустить в обиход это дурацкое выражение о ливне: «Дождит котами и собаками»? И ведь подхватил народ. А Дайв-Дэйв уперся, про собак слышать не желает, повторил: «No! It's cats and cats!» — и Кэтрин захихикала, ну у них игра, видно, такая.

В зеркале заднего вида покачивается индифферентная физиономия, увенчанная загнутым клювом. Да, выдала номер Кэтрин... А Дэйв, кстати, похож на полярника: их как раз такими и изображают — с бородищей а-ля Хемингуэй.

В салоне странный запашок.

— Слушайте, я потом сиденье не отмою...

Оказывается, пингвин Эрнест никогда в жизни не позволит себе нагадить в машине, у него это на клюве написано. А душок — от рыбы: сквозь пять полиэтиленовых мешков.

Алена лезет в сумку, чтобы показать Кэтрин Юлькину фотографию. Но вытаскивает что-то другое.

— Смотри, Кэт, что у меня есть.

И кладет на протянутую ладонь массивное янтарное кольцо.

— Amber! — щелкает языком Дэйв, у него получается «Амба!».

Алена говорит:

— Пролежало в земле полвека.

Какая-то женщина в Паланге, еще ребенком, завернула кольцо в тряпочку, вырыла ямку у дома и положила в нее свое сокровище, прикрыла стеклышком. На этом месте крыльцо смастерили. Потом она выросла и уехала. Дом продали. И вот ничего у нее от детства не осталось, даже фотографий, — а Алена тут как тут, пошли, говорит, крыльцо ломать новым хозяевам дома, детство искать. И хозяева — видать, пора было крылечко менять, — дали согласие, сами и гвозди из ступенек повыдергивали.

— Она была очень взволнованна, когда нашли.

Хотел прокомментировать, что загнать колечко можно будет только зоопарковому гиппопотаму, ввиду размеров, но сдержался.

— А потом мне подарила.

55

До Тучкова оставалось всего ничего, когда дождь стеной пошел — дворники гоняли воду: останови машину, будет слышно, как они отдуваются. Вдоль дороги шел парень: голова — в плечи, руки чуть ли не по локоть в карманы засунуты, ссутулился, идет нога за ногу. Услышал шум автомобиля, когда уже в паре метров от него были — оглянулся, руками замахал. Тут только стало видно — обдолбанный. Увидел в салоне пингвина — замер, глаза квашней из орбит полезли. Будет потом рассказывать, как глюкануло.

Вспомнил Ольку. Она как-то рассказывала про своего приятеля-наркошу: у них было нечто вроде большой любви со взаимным пониманием, а она струсила и выскочила за Володьку, которому ее не понять. А наркоша, тот понимал, весь был тонкий и чувствительный, когда не под кайфом. Потом, уже позже, от передоза назад не вернулся. И она повесила его смерть на себя, добровольная мученица — никому не говорила, какая-то старая подруга знала да мама. Ни Володьке, ни Алене — ни слова, таскала в себе. И тут прорвало — со слезами и соплями, «почему ты не можешь быть таким, как он» — во дает.

Ехали: слева редкие деревца, справа поле, черная земля. А за ней — Москва-река. И пингвиныч вдруг растлякался, завозился, крыльями взмахивает — типа, летит. Ему явно неудобно портить сиденье, совестливое пернатое.

— Я тебе гарантирую... Коля, он никогда...

— Он в который раз едет в машине?

— В первый.

Тормознул, Кэтрин открыла дверцу, уступила дорогу. Пингвин вырвался наружу и дунул по полю к разлившейся реке, как оглашенный. Кэтрин забралась обратно, растерялась:

— What do I have to do? — и кольцо янтарное Алене сует.

А Алена смотрит сквозь стекло, как переваливается черная тушка, оторваться не может. Принял у Кэтрин кольцо, тяжеленькое.

Первым Дэвид очнулся:

— To catch up to him!

И они все трое разом сорвались, похлопали дверцами.

— Куда! Ливень!

Не слышат.

Бегут по черному полю: Дэйв впереди, дамы следом. А еще раньше всех — пингвин.

Достал зонт из багажника, раскрыл. Пошел за ними по полю — не поле, болото какое-то.

Возвращаются: поймал Дэйв птичку. А птичка уже стояла в позе пловца, готового к заплыву.

Бегут вдвоем назад — промокли до нитки.

— Ныряйте! — и зонтом тряхнул, с него стена воды обрушилась.

И была секунда-другая, когда они не решались, каждая по своей причине. Но потом ломанулись под зонт, прижались — мокрые, дрожат.

Ждали Дэйва — он медленно шел, выбирая, куда ступать, тащил пингвина на руках. Тот не сопротивлялся, лежал клювом кверху, лапы покачивались при каждом шаге.

56

Никто не говорил ни слова.

И в этом молчании вдруг стало отчетливо слышно — все: барабанная дробь дождя по шляпке зонта, и то, как в земле, под ногами, просыпаются травы, как пичуга ругает сырость на чем стоит свет — под редкими деревцами через дорогу. И все — эти деревца, и дорога, и река за сетью дождя, — показалось таким нереальным, размытым — всплыли в памяти Викины акварели, ее сырые пейзажи, бесконечно похожие друг на друга и бесконечно разные, как девушки на картинах Мари Лоренсен. И —

странная штука память — вспомнилась та злосчастная акварель, которую Вика подарила в знак первой нежности, а он — всучил Кэтрин в качестве последней благодарности, и потом, когда Вика делала выставку и попросила принести картину... Словом, расстались из-за такой ерунды. Уже не помнил, что там было — как обычно, пейзаж, дождь, *фантазия*, *мечтание* — Викины словечки. К чему помнить? — он всегда предпочитал то, что «здесь» и «сейчас». И здесь, стоя едва ли не по щиколотку в чавкающем месиве упивающейся влагой земли, прорастая в нее; сливая свое дыхание с быстрыми вдохами промокшей пичуги; щекой чувствуя влагу сырых волос стоящей рядом женщины, — здесь и сейчас он понял: это все, что требуется. Они — частица гигантской акварели, и только издалека, с головокружительной высоты, она смотрится такой размытой, такой нереальной. Она выглядит — мечтанием, фантазией. На ней не видать тающей под дождем полоски грязного снега — там, где начинаются деревца; не видать пузырей на глади разлившейся реки; не видать бородатого человека, несущего на руках двадцать клювастых килограммов, как не видать и двух насквозь промокших женщин и с ними мужчины, держащего зонт, мужчины, отдающего зонт одной из женщин, делающего шаг вперед, под потоки воды, мужчины, становящегося частью пейзажа. С головокружительной высоты — он лишь едва различимая крапинка, фантазия, мечтание с золотым пятнышком в руке, позабытым в ладони янтарным кольцом. Но он есть. И он здесь. Ему так надо.

Кэтрин как очнулась — сорвалась, бросилась навстречу Дэвиду.

Алена улыбалась.

Только за то, что он вышел из-под зонта и стоял, смеясь, раскинув руки, она, верно, его полюбит. «Присутствие», — произнесла она, провожая Кэтрин взглядом.

Кэтрин бежала, увязая в пропитанной водою земле. Алена заметила, как это красиво: легкая белая рубашка, приставшая к тонкому телу.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Энн Секстон

ХРАБРОСТЬ

Она в любом ничтожном пустяке.
Гляди, она в твоем,
ребенка, первом шаге. В том,
как ты садишься на велосипед,
едва поднявшись с тротуара;
как, познакомившись с ремнем,
ты сердце зло опустошаешь.
Или когда тебя назвали плаксой,
жирнюгой, психом или бедным,
ты стал чужим им, этот яд
сглотнув и не ответив.

Позже,
ты, может быть, увидел смерть,
средь бомб и пуль, и чтоб прикрыться,
чтоб сердце спрятать, у тебя была
всего лишь шляпа.
Ты тогда не потакал себе, хотя
внутри такая слабость растекалась!
Ты знал, что храбрость, жаркий уголек,
с тобой повсюду.
И когда любимый человек
ценою жизни спас тебя, та храбрость
не храбростью была, а лишь любовью.
Любовь проста, как мыльце.

Позже,
ты, может быть, отчаянье познал,
ты был один тогда, и пламя жгло,
обугливало сердце, превращая
живое в пепел, ты ж его сжимал
рукой, пока не задушил последний всполох.
Затем, мой милый, это пепелище
засыпал ты, лицо припудрив горю,
покрыл все это плотным одеялом
и дал уснуть. Когда ж оно проснулось,
не горе это было, а цветок,
цветок из лепестков, как крылья.

Однажды осмелиться...

Позже,
когда со старостью сведешь знакомство,
та храбрость, что с тобой была повсюду,
с тобой пребудет; каждая весна
подобна станет острому мечу,
любовь подобна будет лихорадке.
Ты сделку совершишь с календарем,
и в миг последний,
когда откроет смерть свой черный ход,
ты сунешь ноги в шлепанцы и просто
шагнешь вперед.

Гийом Аполлинер
МОСТ МИРАБО

Под мостом Мирабо движется Сена
С нею любовь
Я помню на смену
Страданью радость идет непременно

Слетает ночь и с нею грусть
Уходят дни я остаюсь

Встанем в ладони ладонь над водою
Как под мостом
У нас под рукою
Волны усталой пойдут чередою

Слетает ночь и с нею грусть
Уходят дни я остаюсь

Любовь прошла как вода речная
Любовь прошла
Только жизнь длинна и
Жестока Надежда шальная

Слетает ночь и с нею грусть
Уходят дни я остаюсь

Минуют дни недели время
Все что любил
Растает как пена
Под мостом Мирабо движется Сена

Слетает ночь и с нею грусть
Уходят дни я остаюсь

Перевод Ирины Кудесовой

Литературно-художественное издание

Ирина Кудесова

ОДНАЖДЫ ОСМЕЛИТЬСЯ...

Издано в авторской редакции
Ответственный редактор *О. Аминова*
Художественный редактор *А. Марычев*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Е. Попова*
Корректор *Г. Киселева*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.
Home page: **www.eksmo.ru** E-mail: **info@eksmo.ru**

Подписано в печать 22.02.2008.
Формат 84×108 $^{1}/_{32}$. Гарнитура «Гелиос».
Печать офсетная. Бумага тип. Усл. печ. л. 16,8.
Тираж 5000 экз. Заказ № 2174.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: **reception@eksmo-sale.ru**

***По вопросам приобретения книг «Эксмо»
зарубежными оптовыми покупателями*** *обращаться в ООО «Дип покет»*
E-mail: **foreignseller@eksmo-sale.ru**

International Sales:
International wholesale customers should contact «Deep Pocket» Pvt. Ltd. for their orders.
foreignseller@eksmo-sale.ru

***По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении,***
обращаться в ООО «Форум»: тел. 411-73-58 доб. 2598.
E-mail: **vipzakaz@eksmo.ru**

***Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:***
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: **kanc@eksmo-sale.ru**, сайт: **www.kanc-eksmo.ru**

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (843) 570-40-45/46.
В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.
Тел. (863) 268-83-59/60.
В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел. (846) 269-66-70.
В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел./факс: (044) 501-91-19.
Во Львове: ТП ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.
В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым» ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и канцтоварами «Канц-Эксмо»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 780-58-34.

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:
В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.
Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12, тел. 346-99-95.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.
В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

***По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.***

Анна Берсенева



ПО РОМАНАМ АВТОРА СНЯТЫ СЕРИАЛЫ –
«Капитанские дети»,
«Слабости сильной женщины»,
«Ермоловы»

Книги Анны Берсеневой –
истории сильных чувств

Под знаком любви
романы А. Берсеневой

Татьяна ТРОНИНА

Она входит в пятёрку самых популярных авторов современного женского романа.

Её книги рассказывают о той любви, что не часто случается и бывает настоящим подарком судьбы.

Такая любовь похожа на солнечный удар...



Романы о хрупком и нежданном счастье

"Золотая женщина"

"Страсти по рыжей фурии"

Сбереги своё счастье!

www.eksmo.ru

ШОК – *от парадоксального решения вечной темы.*
УДИВЛЕНИЕ – *от провокационного сюжета.*
ВОСТОРГ – *от фактурного, яркого стиля.*

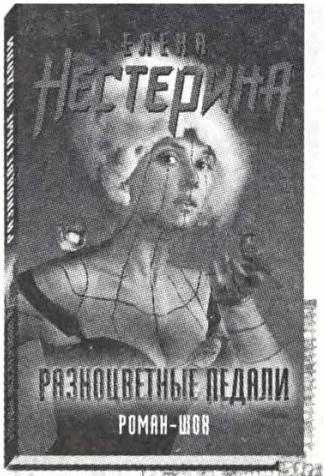
Такие чувства испытываешь, читая прозу Елены Нестериной.

ЕЛЕНА НЕСТЕРИНА



Женщина-трансформер

Бросить всё – столицу, карьеру, обеспеченную жизнь – и рвануть в глушь ради любви и свободы? Думаете, это невозможно?!



Разноцветные педали

Рядом с владелицей клуба "Разноцветные педали" секретарю Валере трудно поддерживать имидж героя. Может, доказать, что шик хозяйки – просто PR-легенда?

РОМАН-ШОК

www.eksmo.ru



Ирина Кудесова живет во Франции, работает на телеканале «Россия». Журналист, писатель и переводчик. Переводила с французского языка произведения Александра Дюма, Франсуазы Саган, Поля Элюара и Натали Саррот. Первая публикация ее прозы, повесть «Циники», состоялась в журнале «Знамя» в 2001 году. Из недавно изданного – повесть «Zoo» в антологии «Современное русское зарубежье».

Основа мироздания – пара. ОН и ОНА. Именно поэтому мы все стремимся найти свою «вторую половинку». Однако как понять, что она – именно твоя, только для тебя и предназначена? Кто-то, связав свою судьбу с судьбой другого, лишь через некоторое время начинает понимать, что их союз – ошибка... Как часто мы промахиваемся с выбором. И наше заблуждение оказывается фатальным для нас самих и наших близких. Но как быть тому, кому довелось избежать роковых ошибок... потому что он никогда не отважился на поиск? И что делать тем, у кого судьба вообще ни с кем не «связывается»? Вообще...

Ответы на все эти вопросы – в увлекательном любовно-психологическом романе Ирины Кудесовой.

ISBN 978-5-699-26324-0

